



Дария Беляева

Дурак

В мире, где в период существования Римской Империи неизвестная болезнь уничтожила большую часть человечества, оставшиеся в живых призвали древних богов, вера в которых разделила людей и подчинила их жизнь исполнению божественной воли. Спустя тысячелетия после катастрофы император страны совершает великий грех, и его сын Марциан пытается спасти отца от безумия и смерти.

---



Чем подсчитывать убытки, прикинем лучше, что осталось в целости и сохранности. Семь пьес Эсхила, семь — Софокла, девятнадцать — Еврипида. Миледи! Об остальных и горевать не стоит, они нужны вам не больше пряжки, которая оторвалась от вашей туфельки в раннем детстве, не больше, чем этот учебник, который наверняка потеряется к вашей глубокой старости. Мы подбираем и, одновременно, роняем. Мы — путники, которые должны удерживать весь свой скарб в руках. Выроним — подберут те, кто идет следом. Наш путь долог, а жизнь коротка. Мы умираем в дороге. И на этой дороге скапливается весь скарб человечества. Ничто не пропадает бесследно. Все потерянные пьесы Софокла обнаружатся — до последнего слова. Или будут написаны заново, на другом языке. Люди снова откроют древние способы исцеления недугов. Настанет час и для математических открытий, тех, которые лишь померещились гениям — сверкнули и скрылись во тьме веков. Надеюсь, миледи, вы не считаете, что, стори все наследие Архимеда в Александрийской библиотеке, мы бы сейчас не имели... да хоть штопора для бутылок? У меня, кстати, нет ни малейших сомнений, что усовершенствованная паровая машина, которая приводит в такой экстаз господина Ноукса, была впервые начерчена на папирусе. И пар, и медные сплавы были изобретены не в Глазго.

**(Т. Стоппард «Аркадия»)**

Когда я смотрю в окно, то вижу Вечный Город. Он простоял сколько-то там лет, и когда я однажды умру, тоже будет стоять. Рекламные щиты будут говорить о другом, другие люди будут ходить по асфальту и по камням мостовых, прилаженным друг к другу в такой близости, что непонятно где и какой, будут еще новые здания и, наверное, какие-то другие машины, которых я и представить себе не могу, будут носиться по магистралям.

Многое изменится, но от города останутся эти камни и древние постройки с их культурной ценностью. В общем, останется такой городской скелет, который будут фотографировать туристы из года в год. Он обрастет другой плотью, то есть будет бесконечно обновляться, как медуза. Или умирать и воскресать, как во всяких историях про то, как люди боятся смерти.

Мне сложно представить, что такое вечность — слово это большое и страшное, оно останется после меня.

А от меня ничего не останется, потому что я дурак.

То есть, останется скелет, как от города, но он только мхом обрастет и всякими насекомыми, и вряд ли кто-то его будет фотографировать и показывать потом с гордостью всем знакомым. Впечатления как бы незабываемые, но наоборот. Забываемые, то есть.

Я начинаю смеяться, потому что представляю как я умру и стану вечным, а под вечными вещами подразумевают обычно достопримечательности. Женщина, которая сидит рядом со мной вкусно пахнет духами — у них такой янтарный запах, тяжелый и сладкий. Она смотрит на меня и от этого запах становится сильнее, я вижу, как на ее щеке бьется, распространяя жар, жилка под тонкой кожей.

— Извините, — быстро говорю я и натягиваю капюшон. — Я не хотел вам мешать.

У нее такие темные глаза, надменные губы, и она выглядит моложе, чем ее взгляд, так

что я думаю — одна из принципов. Они спаслись чтобы править, когда была великая болезнь, и до сих пор этим очень гордятся. Теперь из-за этого у них обостренное чувство стыда за других. Кто-то делает что-то странное, а неловко всегда им, как будто они за все ответственны. Неприятное чувство, от него тесно в груди, поэтому я всегда жалею людей у которых такие взгляды, и мне хочется, чтобы им было не так неловко. Так что я замолкаю, разворачиваюсь к окну и жду, когда будет моя остановка.

Я живу в центре Вечного Города, так что я могу из окна смотреть на туристов. На самом деле давным-давно у нашего города было название, но сейчас его все забыли, потому что оно хранилось в тайне, а когда тайну хорошо хранят, то вскоре уже никто ничего про нее не знает. Было еще одно название, но его теперь используют только в книжках по истории, потому что оно ассоциируется со смертью. Так что мы называем наш Город Вечным, потому что он живет много лет или просто Городом, потому что мы здесь живем.

В салоне автобуса пахнет жвачкой, печеньем и чемоданами — такой резиново-тканевый запах, запах путешествий. Я мог бы и такси вызвать, но мне нравится ездить в автобусах, потому что я люблю смотреть на людей и люблю запах чемоданов.

У меня чемодана нет, все мои вещи в Анцио, я туда скоро вернусь. Там сейчас море из синего становится черным, потому что начинается вечер.

В Вечном Городе тоже вечер, даже чуть темнее из-за сияния многочисленных фар и окон, как будто они поедают остатки света с неба. Наконец, автобус останавливается, и все выходят. Я люблю, когда ехать нужно до конечной остановки — тогда я чувствую со всеми людьми солидарность. Это как однажды мы всем умрем, у нас один пункт назначения, и если мы ни в чем другом не похожи, то в этом всегда родные друг другу.

Я выхожу из автобуса, люди начинают расходиться, растекаются в разные стороны, как если пролить воду, и дорожки от нее разметаются вокруг. Я остаюсь стоять, запрокинув голову смотрю в небо. В Анцио было много звезд, к которым я привык, а тут никаких нет и небо низкое, вроде как плотное, и воздух не пахнет йодом и солью.

Туристы щебечут на языках, которых я не знаю, так что я слушаю их как музыку. Не спеша я иду вслед за ними, зная, что даже если я потеряю память, туристы приведут меня к дому безошибочно, это мои поводыри с фотоаппаратами.

Мама сказала, что мне нужно быть дома, что все это очень важно. Я решил, что раз это так важно, то нужно приехать быстрее и сел в автобус сразу же, не забрав из Анцио никаких вещей. Мы разговаривали, а я уже шел к остановке. А когда мама положила трубку, я уже оплатил билет.

Я подумал, она обрадуется, если я прямо вечером приеду, и вот я здесь. Я снова ищу звезды на небе, но они не появляются. Мне от этого было нехорошо, некомфортно, я уже и забыл, насколько. У нашего с папой и сестрой народа многое связано со звездами, вся жизнь строится по их движению на небе. У нашего бога много глаз, у него целая бездна глаз, и от того какими глазами он смотрит на нас, когда мы рождаемся, зависит, какими мы рождаемся. Я родился, когда на меня смотрел глаз Отверженных и глаз Милосердия, а еще Глупый глаз, вот почему я дурак. А когда родилась моя сестра Атилия, на нее смотрели глаза Тьмы и Грязи, оттого она думает, что она тьма и грязь, и моет руки, пока они не станут обнаженной плотью.

Вот как. А когда родился мой папа, сверху смотрел Глаз Устойчивости, глаз Страх и Один глаз. Один глаз бывает на небесах раз в сто лет. У нашего бога всего Один глаз, который видит мир так, как другие его видят, которые не безумны. Вот почему мой папа —

великий человек. Он на треть нормальный.

Мой папа привел Безумный Легион в наш Город. Прежде сюда не пускали никого из нашего народа, а теперь мой папа — император. Я о нем в учебниках читал, там было написано, что папа вел освободительную войну. Это правда, потому что прежде наш народ отовсюду гнали, но о том, что папа лил много крови никто писать не стал. Папа был первым не из принцепсов, кто стал императором. Он тем самым нарушил закон маминого народа и обидел ее бога, а вот наш бог любит, когда мы нарушаем законы.

Кстати, в Вечном Городе мало кто из нас живет, потому что мы хотим смотреть в глаза нашему богу. Но в других городах мы живем, смотрим на звезды, и все лучше, чем как раньше. Мне наш народ жалко, но мне и все другие народы жалко, и мамин жалко. И жалко, что у нас с мамой не один бог.

Я вдыхаю воздух, он соленый не от моря, а от машин. Путешествует электричество по проводам, и если замереть, его можно даже услышать — с мерным гудением течет оно в дома и магазины, и там сияют лампочки и работают телевизоры, греют всякую жизнь.

Мои туристы, наверное, из Кемета. Александрия — красивый город, тоже вечный, я там ходил, как они здесь ходят — с раскрытым ртом и фотоаппаратом. Я следую за ними на некотором расстоянии, рассматриваю камни на мостовой. Палантин все особенно любят, потому что здесь живет императорская семья и озлобленная вспышками фотоаппаратов, угрюмая охрана. Мама, папа и сестра здесь, вообще-то, только осенью и зимой тут живут, а я и вовсе здесь уже три года совсем не живу. У меня голова болит от шума, поэтому я живу в Анцио.

Дворец огорожен, ограда высокая и проволока над ней колючая. Это вроде как портит культурный вид, а вроде как часть нашей культуры. Тут сталкиваются два времени, у них происходит авария и получается месиво из металла и камня. Много машин, серьезные люди и их серьезные собаки ходят вокруг, это преторианцы. Стекла пуленепробиваемые, а глаза камер следят за всем, как глаза нашего бога (только они все нормальные). Все это, как кожа, окружает каменную сердцевину — длинный, навалившийся на колонны дворец, такой большой, что по крыше можно совершить послеобеденную прогулку, а арки у него как зубы, повернутые не в ту сторону.

Туристы держатся подальше — всюду таблички на всех языках, предупреждения о том, что проникновение на территорию ведет за собой стрельбу на поражение для желающего узреть, что внутри. Я подхожу ближе, жму на блестящую, металлическую кнопку. Она, наверное, такая тугая потому, что даже тем, кто имеет полное право здесь бывать, папа стремится чинить препятствия. Есть и другой вход (и соответственно выход), он ведет во дворец через подземную крипту. Но им никто никогда не пользуется, чтобы о нем никому не было известно. Так что сомнительная от него польза.

Глаза камер поворачиваются на меня с этим зудящим, стоматологическим звуком, придирчиво осматривают. Наконец, к воротам выходят двое преторианцев, без собак и с оружием наготове. И не с табельными автоматами, а с тем самым, настоящим оружием, с собственной горячей душой, благодаря которой они здесь и работают. У одного пылает кинжал — небольшой и горит, как охваченный красным огнем, а у другого меч блестит, как покрытый инеем и весь прозрачный, будто не металл, а призрак металла. Мне в детстве их оружие очень нравилось, но мама говорила не трогать. Мама говорила, что бог преторианцев, когда они умоляли его спасти их от великой болезни, отщипнул куски от их душ и превратил в оружие. Пока это оружие у них горит, ни одна пуля их не убьет, хоть

голову ему разнеси — не умрет. И оружие у них жжется, как раскаленное и плоть оно режет, как масло. Только если они долго свое оружие будут держать, то с ним в руках и умрут. Так от температуры мозг сваривается, а у них — душа. Их бог сделал своими псами, учит их защищать и убивать. Я никогда их обрядов не видел, но слышал, что они друг друга так называют, и бога своего называют Хозяином.

Как ворота за мной закрывают, так сразу все понимают — я тут свой или к тому близок. Тогда начинаются вспышки, фотоаппараты спешат выхватить хоть что-то за воротами, жадно глотают колонны и арки. Потом ворота с лязгом закрываются, сомкнули челюсти и все. Гул туристов становится разочарованный. Я говорю:

— Привет!

Я этих ребят не знаю, они, наверное, новые уже. Я здесь три года не живу и год не бываю, многое за это время меняется. А ребята молодые, крепкие, с неулыбчивыми лицами. Мне интересно про них больше узнать, но они как будто не хотят, так что и мне как будто не надо. Иду молча, с достоинством.

На самом деле дворец вроде как снаружи из камня, но внутри там все металл, он обволакивает всю эту древность, всю эту вечность, поддерживает дряхлые кости истории. Снаружи как будто только дверь железная, а внутри видно, что папин дворец — бронированный. Такой вот папа там след оставил. Каждый император достраивал здесь что-то свое, а папа ничего не достраивал, но все укрепил.

Кодовый замок издает атональный писк, затем всхрапывает, как конь, и я слышу знакомый голос. Кассий говорит:

— Семь-один.

Семь, это я. Один, это впустить. Если бы Кассий сказал «семь-пятнадцать», это значило бы, что меня нужно убить. Но до этого были еще четырнадцать вещей, которые со мной можно сделать. У всех во дворце есть свои кодовые цифры, они сочетаются с цифрами, маркирующими действия. Вот как все просто. Папа любит порядок и цифры, ему нравится, когда чего-то не нужно говорить вслух.

Если папа скажет «шесть-пятнадцать», его растерзает собственная гвардия. Была какая-то такая легенда, даже не одна.

Я оказываюсь внутри, а мои спутники остаются снаружи. Коридор длинный, как звериная плотка, поэтому когда по нему проходишь, кажется, что съели тебя и идешь к смерти. Камеры тоже везде, папа как наш бог — всегда смотрит.

Только сейчас я понимаю, как соскучился по родителям, как мне хочется их обнять. Но меня встречает Кассий, а его не обнимешь — он неприветливый. Кассий один остался из тех, кто здесь был до того, как папа пришел. Ему тогда было шестнадцать, а сейчас стало тридцать восемь. Папе преторианцев было не победить, потому что их никому не победить. Он тогда рассудил, что если кто и сможет ему помочь, так они сами. Папа молил нашего бога, и он сделал ядовитой его кровь. Папины шпионы плеснули ее в воду, она была красной, стала розовой, когда упала в воду, а потом и совсем потеряла цвет, но суть у нее осталась. Эта кровь заставила их бросаться на всех без разбору, и друг на друга и на повелителей своих. Кассий тоже пил и тоже резал, Кассий зарезал бывшего императора, а жена его с собой покончила. И самого Кассия едва не зарезали, у него остался длинный шрам на шее и до сих пор есть. Только его папа спас. Он тогда вошел в залитый кровью зал, в тот самый, куда мы сейчас идем с Кассием. Он мог Кассия и не спасать, но спас. Выдернул его из-под пылающего ножа. Он Кассия едва коснулся, но от такого оружия шрам приходит с

легчайшим касанием. А тот преторианец — он сварился. Он бы все равно сварился, он близок был. Поэтому злые люди называют преторианцев бешеными собаками — они идеальные убийцы с высокой температурой. Как папа к Кассию прикоснулся, так он в себя пришел. Ему страшно стало от всего, и некуда было идти после убийства императора. Так что он даже рад был, что папа победил. Так Кассий стал верной папиной собакой. Он тогда еще был щенком, а сейчас вырос в здорового пса, жуткого.

Я это все знаю от Кассия — он обожает свои военные истории. А я их не люблю, меня от них тошнит. Потому что почти всех их участники — умерли. Хотя, если задуматься, участники всех историй на свете умерли или умрут.

В общем, Кассий начальник преторианской гвардии, самый верный папин пес. Их бог требует от них, чтобы они избрали себе хозяина. Он их небесный Хозяин, и когда они умирают, то отправляются к нему, и, говорят, там в собак обращаются и охотятся для него, и лежат у ног его. А здесь, в этой жизни, они по его подобию выбирают себе хозяина земного. У всех преторианцев здесь это папа, но только Кассий всем сердцем служит ему, потому что папа подобрал его, а не купил. Кассий мне говорит:

— Чего, вернуться надумал? Не справился с микроволновкой? Засунул руку в тостер, чтобы сделать бутерброд? Завернулся в штору и три дня провалялся неподвижно?

Вроде как Кассий папин подчиненный, но он со всеми такой злобный, будто член семьи. Я хмурюсь, пожимаю плечами. Он про нас ничего не знает и про меня думает, что я глупее, чем есть. Я не глупый, я люблю читать и много знаю, просто я как будто в тумане. Когда я на других смотрю, мне кажется, что у них все ясное, а я расфокусирован как бы. Я по-другому глупый, чем он думает, но ему этого объяснить нельзя. Он о нас ничего не поймет, как я о преторианцах.

У Кассия глумливое лицо и светлые, всегда серьезные глаза. Он все время кривляется, и мимика у него подвижная, но глаза остаются замершими, как будто они уже мертвые. Вроде как частично Кассий той войны не пережил.

А частично он и по ныне здоровствует, улыбается.

— Нет, — говорю я. — Мама позвала. Она сказала, что важное тут.

— Важное тут! Ты говорить вообще нормально умеешь? Я бы твоему учителю башку отрезал.

— Но ты на ней женился.

— Ну, точно.

Он смеется, а потом вдруг мгновенно делается серьезным. Я от него тепло чувствую, потому что от многих горестей его жизни наш бог обратил на него внимание и смотрит на него с небес. В глубине души и он чокнутый.

— Там правда все серьезно. Ничего хорошего.

— Что случилось? Заболел кто-то?

— Сам скоро увидишь.

Мне становится неуютно и больно как бы заранее, как будто Кассий все уже сообщил, но на незнакомом мне языке. Я спрашиваю:

— Война?

— Тут спокойно все пока. Ты же знаешь, народ твоего отца любит.

Народ не что-то однородное, так что смотря кого за народ принять. Папа впустил в Вечный Город народ воровства и народ ведьмовства на которых принцепсы и преторианцы всегда смотрели свысока. Теперь всякий стал гражданином Империи, у всех были права



жить, где хотят и заниматься, чем хотят. Люди благодарны папе за то, что теперь у них есть дом. Споры обо всем этом не утихают и не утихнут никогда, я думаю. Потому что народ воровства, к примеру, пройдя по Апиевой дороге, божился, что не будет брать чужого. Но брать чужое велела им их богиня. Как ей отказать? Папа сказал им брать чужое по договоренности, ненужное или за что заплатят. Так они выполняют свои обряды или делают вид, что так. Папа — защитник отверженных, отверженные любят его, он их вел за собой, эти несчастные народы.

— А почему тогда только пока спокойно? А что потом? Народ папу разлюбит?

— Как по мне, так местные диаспоры ругаются, как только съехавшиеся влюбленные. А двадцать лет прошло.

— Двадцать два. У народов другое время, чем у отдельных людей. Может это для них как два месяца.

Я еще что-то хочу сказать, а потом понимаю — она рядом. Она распахивает дверь прежде, чем Кассий прикасается к ручке. Она прижимает руку к моей щеке, тыльной стороной, рука у нее холодная, даже пластинки ногтей.

— Марциан!

— Мама, — говорю я.

У нее за спиной зал, куда папа вошел двадцать два года назад, пока все по телевизору смотрели старую постановку "Орестей".

Тогда здесь тоже все было покрыто кровью.

Мамины губы тоже холодные, она целует меня в щеку, крепко обнимает. Она ниже меня, и ей приходится вставать на цыпочки, чтобы дотянуться. У нее цепкие руки и тихий голос. Она говорит:

— Я не ожидала, что ты приедешь так скоро!

— Автобус быстро пришел, — я говорю. У мамы грустные глаза, и хотя у меня не было времени ее рассмотреть, я точно знаю — когда у нее такой голос, у нее всегда грустные глаза. Я давно ее не видел, а сейчас она здесь, и связь между нами, которая будто была натянута, как струна между Городом и Анцио, наконец перестает немного, на самой грани реального, болеть.

— Нам нужно поговорить, мой милый, — шепчет она. Глаза у нее не только грустные, но и испуганные. Мне хочется ее утешить, но я не знаю, как. Мама говорит:

— Спасибо, Кассий.

Она говорит с нажимом, едва заметным и не особенно успешным. У Кассия здесь один хозяин, остальных в императорской семье он слушается с неохотой, как нахальный пес. Я уже ожидаю, что он начнет упрямиться, но Кассий только кивает, вталкивает меня в зал и дверь закрывает. Я решительно ничего не понимаю и говорю:

— Кассий серьезно заболел и меня позвали его хоронить?

Она смеется, но в ее смехе чего-то не достает. Мы оказываемся в зале, здесь стоит длинный стол за которым сидят обычно сенаторы, ученые, главы других государств, и все они решают огромные вопросы, от которых зависит все на свете. Мы с мамой садимся за этот же стол, но нас только двое, никаких вопросов мы не решаем и, наверное, от этого у нас за этим столом получается очень одинокий вид. Я смотрю на мраморный пол, блестящий, с черными, похожими на сосудистую сетку, прожилками. Хочется уронить что-нибудь на пол, чтобы услышать, какой гулкий будет звук. Но я не должен мешать маме. Она всегда нервничает, сколько я ее помню, и оттого ей всякий раз тяжело собраться и говорить.

Моя мама темноволосая, темноглазая и невероятно бледная. И хотя она не истощенная и не какая-то особенно хрупкая, эта бледность всегда придает ей больной вид. Я думаю: надо же, через пять лет мне будет двадцать шесть, и тогда я буду выглядеть старше моей мамы. Я мог бы, как и папа, выпить слезы маминого бога, но ее бог больше не плачет, потому что злится. Хорошо, что я и не хочу быть всегда молодым. Мне интересно, как это становится старше и даже старым.

Когда мамин бог спас их народ, он поручил им править всеми иными. В дар от своего бога они получили вечную юность. Бог принцепсов любит их, он оплакивает кровавую историю их правления и дарует каждой семье свои слезы. Если один раз попробуешь — никогда не постареешь. Папа совершил богохульство, когда пришел в императорский храм и взял слезы. Папа говорил, что это было просто — он прикоснулся губами к статуе, и во всем теле стало легко и холодно. Те, кто были с ним тоже могли получить вечную молодость и долгую жизнь, многие императоры доживали до ста или даже ста пятидесяти лет, и в землю ложились молодыми. Папа рассказывал, его соратники стояли в немом восторге от совершенного им святотатства. Они не решились. Я бы решился, но мне бы не хотелось обижать чужого бога и неинтересно быть всегда молодым. Но, наверное, с возрастом, когда смерть становится ближе, все меняется. И все же я думаю, что лучше умереть старым и уставшим, чем молодым, здоровым и обиженным тем, что жизнь тебя совсем не утомила. Так еще говорят: всему свое время.

Мама сидит за столом, а хрустальные сережки люстры отбрасывают вниз свои длинные тени. Они немного качаются, и я вожу по ним пальцем. Я ей не мешаю, я могу долго молчать и думать о чем-нибудь или гладить тени, приятные, как стол на который они легли. Мамины руки как бы живут своей, отдельной жизнью. Лицо ее неподвижно, большие глаза кажутся еще больше от того, как падает на ее лицо свет и оттого, что они влажные от слез. Глаза ее кажутся вишневого цвета от их тоски и от розовой яркости белков в них. Я тогда думаю: ей ужасно плохо. Я ловлю ее руку, накручивающую строгий воротник платья, будто он маму душит. Я глажу ее руку, осторожно, чтобы не отвлечь ее от того, что она собиралась сказать, и тогда вижу, что на ее бледном запястье, как браслет, только некрасивый, улеглись по кругу синяки. Они переливаются, из желтого в сиреневый, потому что там, под маминой тонкой кожей, гниет кровь. Я обнимаю ее, и она вдруг плачет, горько-горько и бессловесно, так что я ничего не могу понять и остается только гладить ее по голове. Несколько минут мы так и сидим, несерьезные люди в зале для серьезных людей. В вазе напротив стоят камелии. Они белые, как снег или молоко, или даже как облака, потому что белее облаков я ничего не видел, а у молока и снега всегда есть оттенки. У камелий нет запаха, мама их любит, потому что ароматы других цветов напоминают ей о сестре. Мама плачет, дрожит, и я ничего ей не говорю, потому что в одной книге я читал, что слезы очищают душу и выводят из организма гормоны стресса. Я не уверен ни насчет первого, ни насчет второго, но слезы это естественно, когда кому-то плохо, надо дать им шанс. Наконец, мама успокаивается. Я протягиваю руку и большим пальцем стираю прозрачную, толстую слезу, замершую на ее щеке. Мама вдруг выпрямляется, начинает ожесточенно тереть глаза, а потом становится прямой и смотрит куда-то в окно, взгляд у нее блуждает волнами, то вверх, то вниз.

Она говорит:

— Прости меня, Марциан. Я не должна была тебя так встречать.

— Я могу представить, что ты очень по мне скучала.

Она улыбается, потом смеется, и на этот раз в ее смехе всего хватает. Я говорю:

— В Анцио хорошо и большое море. Оно синее к полудню, в него ныряют чайки и туристы. Еще там вкусная еда и много безделушек. Мне нравится жить в курортном городе. Я целыми днями читаю на пляже, а вечером покупаю дурацкие вещи и занимаюсь сексом с иностранками, потому что они думают, что я красивый и не знают моего языка. Я хочу завести животное, но не знаю какое, и в Анцио только один зоомагазин, но мне всегда лень туда ехать, хотя я ничего не делаю. Там на улицах пахнет сахаром из-за орешков в глазури и сладкой ваты и солью из-за моря. Я тебе много ненужных вещей купил, но ничего не взял, потому что ты сказала, что это важно, и я решил сразу к тебе приехать.

Она слушает внимательно, ни слова не пропускает, я это по ней вижу. Потом берет меня за запястье своей расцвеченной рукой, гладит.

— Я очень скучала, милый. Обязательно хочу, чтобы мы с тобой съездили туда, и ты мне все показал. То есть, все, что не связано с твоей любовной дипломатией.

Ее рука отпускает меня, потом гладит по голове, и вот мама снова сцепляет пальцы, смотрит, будто что-то из того, что беспокоило ее, промелькнуло в окне.

— А у тебя как дела? — спрашиваю я осторожно. Она бледнеет еще больше, становится по цвету неотличимая от камелий в вазе.

— Да, конечно. Я ведь не просто так тебя позвала, ты взрослый мальчик, Марциан, и я бы не хотела отвлекать тебя от твоей собственной жизни.

— Ты не отвлекала меня год, — я пожимаю плечами. Глаза у нее снова становятся вишнево-заплаканные. Наконец, она шепчет:

— Папа очень болел.

У меня становится пусто в груди, потому что я ожидаю услышать еще одно слово, очень конкретное, и тогда все будет на местах — рыдающая мама, неожиданный телефонный звонок, Кассий, проявляющий тактичность. Но мама говорит быстро, словно чтобы я не успел додумать страшные мысли до конца:

— Он поправился, но не совсем. Он болел две недели, мы выхаживали его, как могли.

— Почему вы не вызвали меня раньше?

— Потому что я была уверена, что он поправится. Я не хотела тебя волновать. Я и Атилия ухаживали за ним сами.

— Если он заболел, это значит, что...

— Что мой бог не забыл его преступлений.

Сердце у меня бьется болезненно быстро, я хочу побыстрее увидеть папу и то же время я переживаю, что увижу его бледного, умирающего, а потом никакого не вижу. Я знаю, что такое болезнь, но я никогда не видел больных людей. Прежде люди могли умереть множеством способов, исходящих из их собственного организма, но после великой болезни боги избавили нас не только от нее, но и ото всех ее родичей, ото всех болезней вообще. Конечно, у стариков слабеют сердца, и они быстро устают. Конечно, можно проломить себе голову, не слишком удачно покатавшись на машине. Можно быть отмеченным своим богом, как я, и тогда будет что-то болеть, как у меня болит голова, но это не опасно. Разные вещи случаются.

Но чтобы молодой, не травмированный человек чем-то просто так заболел — такие вещи давно были редкостью и означали гнев богов. Уже не одну тысячу лет люди не болели, как скот. А если болели, то никто не знал, это великая болезнь или какая-то другая, малая, потому что все уже забылось.

Большинство людей после болезней не выживали, а кто выживал, то, наверное, чтобы об

ужасах рассказать. Папа богохульник и варварский император, нарушивший завет принцев с их богом, вот почему папу наказали.

— Он жив, да? — переспрашиваю я. Она уже сказала, что папа поправился, но суть от меня словно ускользает, мне нужно услышать это опять. Мама снова прижимает холодную руку к моей щеке, как будто это я болею, и у меня жар, который она хочет остудить. Мама меня любит и боится за меня.

— Он жив, — говорит она с нажимом, будто хочет эти слова отпечатать у меня в голове. — Но еще не совсем здоров. У него помутился разум. Он два дня, как в сознании. Но он отличается от прежнего себя, как...

Я говорю:

— Как олень от перчаток для яхтсменов?

Мама осторожно кивает.

— Очень точно передан масштаб, — говорит она, наконец. — Настолько отличается, что даже не единосущен предыдущему себе.

Она смеется, а потом вдруг снова рыдает, и я тогда понимаю, что да — очень папа теперь отличается.

— Я могу его увидеть?

Мама кивает. Мы с ней совсем не похожи, я — папина копия, я светловолосый, как он, и светлоглазый, мне от него и бог достался, и цвет глаз, и кажется, будто я не могу ее понять, и она меня не может, но на самом деле если любишь человека, тогда даже дурной головы хватит, чтобы его понять.

Мама очень напугана, не только так, как люди пугаются горя и будущего после горя, а так, как люди пугаются, когда что-то причиняет им боль. Я смотрю на синяк, сопоставляю в голове две двойки и получаю, как меня в школе учили, четыре.

— Где он? — уже мягче повторяю я. Наверное, такой напуганной мама была, когда ее мир рухнул и был в крови, а папа обращался к народу, назвав ее своей женой, и говорил, что все мы равны.

С тех пор почти двадцать два года прошло, что даже несколько больше, чем моя жизнь. Мама открывает рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь распахивается.

— Мама, он проснулся.

Я оборачиваюсь и вижу Атилию. Она стоит, прислонившись к двери, на ней бархатное платье, длинное и вульгарное одновременно, слишком обтягивающее и вырез в нем слишком глубокий, напоминающий о злых преступницах, приходящих плакаться к детективам о смерти мужа в старых фильмах. Атилия высокая. Ниже, меня и папы, конечно, но все равно выше мамы. У нее темные, как у мамы волосы и бледная она, как мама, но глаза у Атии папины, и в целом черты папины, резкие. У мамы все дети внешне ей как чужие. Атилия всегда хотела быть на папу похожей, она и говорит, как он — с его интонациями, холодно и словно обрубает конец фразы, потому что всякая фраза небезопасна. Хотя Атилия, в отличие от папы, не боится речи.

Она стоит, кричаще вульгарная, как персонаж мультфильма, демонстративно ухоженная, и смотрит на меня. Мы странно друг к другу относимся. Между нами два года разницы, то есть мы вроде как с одной планеты (это дурацкая фраза, потому что мы все с одной планеты, на которой завелись когда-то углеродные соединения такие сложные, что стали бегать, плавать, летать и создавать государства), но очень разные. Атилия умная, а я нет, Атилия несчастная, а я нет. Мне хочется ей помочь, и я в то же время ревную, это она

царапает себя, кричит и плачет, ненавидит и хочет не существовать, поэтому это ее мама укачивала целыми ночами после приступов, и это от ее слез пап делался всегда таким растерянным. Зато она мыслит ясно, а я в тумане, и поэтому могу оставаться ребенком сколько мне вздумается, хотя мне и хотелось этого совсем недолго.

— Марциан, — говорит она и улыбается. Улыбка у нее выходит всегда хищная, словно она ищет кого бы съесть. Но она так улыбается не потому, что она — злая, хотя и доброй ее не назовешь.

— Привет, — говорю я и рукой ей махаю.

Мама поднимается, и я тогда тоже.

— Не думала, что ты будешь здесь так быстро.

— Автобусы нужны, чтобы ездить быстро, — я пожимаю плечами. Идеальные стрелки у нее на глазах указывают вверх, и она возводит взгляд к потолку.

— О, прости, Марциан, я несколько отвыкла от общения с тобой.

— Да, за год я тоже перестал уметь воспроизводить твой голос в голове.

Она разворачивается, и я слышу, как в коридоре стучат ее каблук. Мы с мамой идем за этим стуком, как за звуками флейты, уводящими нас за собой, как крыс. Родители любят нас с Атилией одинаково сильно. Когда я спросил у папы, что такое любовь, он сказал, что это страх за кого-нибудь, кроме тебя самого. Я боюсь за папу так, что не могу обратно в грудную клетку протолкнуть свое сердце, оно замерло где-то в горле и душит меня. Я люблю папу.

Мы поднимаемся по лестнице, впереди моя независимая сестра, и ее браслеты с бриллиантами блестят сверху, как звезды с неба. Лестницы каменные, по ним много людей ходило, теперь они все мертвые. Потолок становится ближе, когда мы поднимаемся, и вот мы на втором этаже. В комнате родителей прежде жили мамина сестра и ее муж, а мама не имела права на мужа и детей, и хотя комната у нее была такая же большая, счастлива она там не была.

В комнате потолок отделан слоновой костью, из кости получился какой-то орнамент, который у большинства людей не вызывает почему-то жалости к слонам, а только ощущение гармонии. Мне и слонов жалко, и с детства хотелось потрогать эти выступы, похожие на буквы неизвестного алфавита. Но потолки в комнате очень высокие, даже если бы меня было два, и мы бы договорились, и один я встал бы другому мне на плечи, до потолка бы дотянуться не получилось.

Пахнет благовониями, розовым маслом, так вьевшимся в эти стены за столетия, что теперь запах ничем не вывести. Комната странная, даже при искусственном освещении тут словно меньше теней, чем должно быть. Что не белое, то бежевое, и даже монитор, на который папа выводит записи с камер, обрамлен белым, только экран его чернеет, как провал, как зрачок в глазу.

В этом белизне я сразу замечаю Кассия в его красной форме. Он стоит у стены, прямой, вышколенный, но вид у него все равно остается наглый.

А вот папу я замечаю не сразу. Вернее, я его вообще не замечаю. Тогда я спрашиваю:

— А где папа?

Кассий вдруг начинает смеяться и сквозь смех выдавливает из себя:

— Ты его предупредила, Октавия?

Мама не смотрит в его сторону, кивает, напряженно глядя под кровать, будто оттуда может выползти монстр, а она — маленькая девочка, которой некого позвать на помощь. Вдруг я слышу папин голос, но будто принадлежащий кому-то другому.

— Мне надоело! Никто меня не ищет! Вы вообще когда-нибудь играли в прятки? Вас никто не учил развлекаться, правда?

Он высовывается из-под кровати, громко чихает, на его носу танцует пыльный зайчик, потом срывается вниз. Мимика у папы совсем другая, детская, капризная, и глаза светятся чем-то жестоким, синим и мальчишечьим.

— А это кто? Эй, парень, я вижу, что ты дурак! Может, хоть ты со мной поиграешь? Мне здесь запрещают веселиться, как будто они тираны, а не я тиран!

Он смеется, смех у него громкий, развязный, словно он дразнится. У меня внутри будто стекло крошится, потому что папа смеется, и я понимаю — смеется не папа. В голове раскрывается боль. Я прижимаю пальцы к виску, чувствую ритм.

Папа говорит:

— Что кислый такой? Приуныл так, будто я твою семью уже вырезал.

Папа не говорит. Папа умер, и его больше нет.

Вместо него есть этот чужой, веселый человек. Наш бог смотрит на него другими глазами. Мама не поняла, что папа мертв, потому что мама не знает, как живет наш народ. Мама думает, что папа сошел с ума, но папа родился безумным.

А тот, который под кроватью, смеется в пыли, это просто другой, он теперь живет в папином теле.

А папы у меня, Атилии, мамы и Империи больше нет.

Я выхожу в коридор прежде, чем понимаю, что это, наверное, дурно так реагировать. В голове бьется, кусается, и я прижимаю пальцы к вискам. Я слышу мамин голос, она говорит: — Аэций, любовь моя, ты не помнишь Марциана?

Но я не слышу, что папа отвечает. Потому что папа и не может ответить, конечно. Атилия выходит за мной, закрывает дверь.

— Много же от тебя пользы, старший брат.

У меня в глазах две Атилии, потом снова одна, я через силу ей улыбаюсь, не совсем понимая, что она хочет сказать. Она говорит:

— Соберись.

— Я не разобрался.

Потом я смотрю на дверь, розовый запах под нее забирается, как запах гнили. Потом я говорю:

— Папа умер.

Язык у меня ватный, ворочается с трудом. Атилия замахивается, чтобы дать мне пощечину, но я, в последний момент, успеваю перехватить ее руку. Тогда я вижу, что три ногтя у нее сломаны, подушечки пальцев испачканы кровью — неаккуратная, израненная рука, запрятанная в блестящий бархат. Дорогие украшения на ее длинных пальцах смотрятся ужасно странно, сорванные ногти, кайма крови, все это должно быть на руках у какой-нибудь другой девушки.

— Прости, — говорю я быстро, осторожно отстраняю ее руку. — Я не хотел сказать плохие вещи.

Глаза у нее блестят, масляные от злости, кажутся еще светлее, чем обычно. Она шепчет:

— Мама не знает.

— Маме я не скажу.

Но мы с ней все хорошо понимаем, знаем, как устроена жизнь и смерть нашего народа. Она говорит:

— Он перестал дышать, когда мы с мамой сидели с ним ночью, три дня назад. Врач сказал, что ничего сделать не может, что остается только снимать симптоматику и ждать. Мы сидели рядом с ним, он был горячий, потом затрясся, потом расслабился, и я подумала, что он заснул, но мама поняла, что он не дышит. Я набирала номер, звонила врачу, мама пыталась сделать ему искусственное дыхание, все ужасно быстро происходило. А потом он вдруг вдохнул, с хрипом, как будто воздух ему легкие резал.

Я слушаю ее внимательно. Ей очень плохо, как и маме. Она не говорит, что рвала ногти о стены от отчаяния, думая, что это она во всем виновата, но я ее слишком хорошо знаю, чтобы про это не подумать. Она сцепляет пальцы, нарочно делая себе больно.

— Атилия, — говорю я. — Тут никто ничего не мог сделать.

— Я не хочу жить в мире, где папы больше нет!

Атилия всегда была больше папиной дочкой, как я больше маминым сыном, хотя мы и любили обоих родителей. Ее преданность папе никогда не казалась мне странной. Это она — его продолжение, и она однажды должна будет стать императрицей, а не я. Она лучше подходит на эту роль, по крайней мере у нее в голове чисто.

— Но папа бы хотел, чтобы ты тут жила. Он был ради этого на все готов. Еще, наверное, папа хотел бы, чтобы мама лучше думала, что он сошел с ума, чем что он...

Второй раз я этого произнести не могу, сердце опять подкатывает к горлу, такое горькое, что язык замирает. В голове уже совсем плохо, все разноцветное перед глазами.

— Что теперь делать с...ним?

Глаза Атилии перед моими глазами отчаянно-фиолетовые, а у нее ведь серые глаза. Я давлю себе на виски, чтобы прекратилось, но становится сильнее — тук-тук-тук-тук-тук, будто внутри кто-то дурно играет на барабане. У него нет чувства ритма и слуха, удары негармоничные, от них я шатаюсь.

— Я не знаю.

Она толкает меня к стене, скалится, как будто укусить хочет, и в то же время глаза у нее остаются незащищенные, мокрые.

— Ты мой проклятый старший брат, ты должен помочь нам! Думаешь, сделал великое одолжение, свалив от нас в Анцио?

Я хочу помочь, еще как хочу. Она ругается очень тихо, не хочет тревожить маму и папу, то есть то, что осталось от папы. Там, за дверью, он швыряет вещи, слышно голос Кассия, он ругается, а мама плачет. Мне жалко их всех, и я не знаю, как жить без папы. Атилия смотрит на меня, и мысли у нее те же, мы как в зеркало друг в друга смотримся.

Тогда я вдруг прижимаю руки к ее лицу, касаюсь пальцами ее скул и тяну к себе, как в детстве делал, когда хотел ей что-то рассказать. У нее и глаза становятся, как когда она маленькой была — грустные, будто и надеется на что-то, и боится оттого, что надеется. Она смотрит на меня, как маленькая девочка, которой она была, когда я был маленьким мальчиком. Я склоняюсь к ней, и мы почти соприкасаемся носами. Она сначала очень напряженная, потом просто нервная, потом даже расслабляется чуть-чуть и ждет.

— Пожалуйста, Марциан, — говорит она. — Мы очень устали. Если бы ты только мог помочь.

Голос у нее совсем тихий, будто только выдыхает слова, не вкладывая в них совсем никакой силы. Я держу ее некоторое время, в голове теперь барабанщик сменил профессию, там ведутся подрывные работы.

— Скажи мне что-нибудь, — просит она. Я говорю:

— У меня сейчас голова взорвется.

И я говорю абсолютную правду и, казалось бы, на правду не обижаются, но она шипит:

— Проклятый придурок!

Она даже не особенно ругается, скорее факт констатирует. Но ее слова съедает вата, которой от боли в голове стало много-много. Мне нужно на воздух, чтобы им дышать. Чтобы он был холодный и остудил мне все, что под черепом пылает. Я сбегая вниз по лестнице, не слышу стука ее каблуков — значит стоит, смотрит. Но мне сейчас только вдохнуть хочется и, может быть, еще в море или в Тибр, или куда-то в очень холодное место. От боли я то ли слепну, то ли нет, не понимаю, мои это воспоминания о лестнице или сама лестница.

Выпускают меня быстро — выйти проще, чем зайти, особенно если ты сын императора и про тебя это уже вспомнили.

Что нам теперь делать, вправду? Как скрывать то, что папы больше нет, он сошел с ума или умер, как бы это ни называлось. Что будет, когда народ потеряет своего императора? Кто займет его место? Я и Атилия единственные наследники. Род мамы не прерывался с самого конца великой болезни. Папа изменил жизнь в Империи, теперь она пронизана



диаспорами тех, кто прежде никому не нравился и здесь не жил. Все рванет, опять будет много крови. Я хочу об этом волноваться, но в голове уместается только слово "папа", а остальное вытеснила боль. Воздух оказывается горячее, чем я представлял. Я жадно вдыхаю, смотрю на беззвездное небо. У луны глаз с поволокой, это глаз одной из чужих богинь — я вижу только его. За полночь, и туристы разошлись по барам, на Палантине тихо. Папа давным-давно, только став императором, распорядился переместить круглосуточные термополиумы и бары подальше от его резиденции. Папа не любил шум.

А теперь кто его знает, что он любит, кроме как в прятки играть.

Позади меня во дворце горят окна, а еще прожектора, высвечивающие движение на площади. А я иду в темноту, здесь пусто, как пусто, просто на всякий случай, и в ближайших кварталах, только к вокзалу город немного смелеет, оживляется. Я к вокзалу не иду. Ныряю между домами. Здесь в основном офисные здания и музеи, жилых домов исчезающе мало. Кое-какие дома с широкими террасами, заросшими зеленью, снимают туристы, но все больше летом, а сейчас для этой роскоши холодновато.

Я пытаюсь смотреть по сторонам, замечать всякие вещи, чтобы не слепнуть от боли. Здесь почти совершенно темно, дворец, как маяк, сияет своими огнями, слишком яркими, ревущими в голове. Я закрываю глаза, плутаю в темноте, натыкаясь на стены. Под руками у меня то и дело оказываются стекло и камень. Небо не испускает никакого света, и даже луна снова скрылась, недовольная этой ночью. Пахнет камнем и пылью из-под машин.

Вот бы, думаю я, найти здесь море и в него шагнуть. Я представляю, как следующий же мой шаг обнаружит не камень, воду, но чистая, синяя вода в Анцио, а здесь только палочки от мороженого, использованные билетики и мой мертвый папа.

Горечь на языке и шум в голове не становятся слабее. Я открываю глаза. Кое-где горит свет. Начались жилые кварталы. Узкая улица идет вверх, и подниматься тяжело. Здесь едва проскочит мотоцикл, так что машин я не боюсь. В окнах иногда снуют тени — там люди делают всякие вещи, которые совершаются вечером — едят, целуются, слушают музыку, занимаются любовью, смотрят телевизор, читают и мечтают. Я бы хотел быть в Анцио и тоже чем-то таким заниматься. Кровь в голове идет пулеметной очередью, и я понимаю, что сейчас потеряю сознание. Тогда я ложусь прямо на камни, тесно прижавшиеся друг к другу, будто им холодно. Один из них впивается мне в шею, но это уже не важно. Небо Вечного Города плавает надо мной, и я вспоминаю море в Анцио и, кажется, слышу его шум.

Небо становится еще темнее, а затем черным.

Когда я открываю глаза, я чувствую себя свежим и отдохнувшим, в голове все тихо. Концерт окончен, музыканты расходятся, зрители прекратили аплодисменты, и только я остаюсь, чтобы убирать бардак. Даже в собственной голове мне отведено место уборщика, но это смешно, а не обидно, потому что уж у себя в черепе я все сам решаю.

Я думаю: есть ведь такой зверь, он розовый как червь, похож на змею и лапы у него две — как он там называется? Это меня занимает пару минут, пока боль в шее не отвлекает меня. Тогда я вспоминаю, почему я здесь, что это за небо и что с моим папой. Но вместе с болью и отчаяние уходит, я вдруг думаю: нет-нет-нет. Мой папа не лежит неподвижно, дышит, его кожа теплая, а глаза блестят. Это значит, что он живет тех, кого закапывают и сжигают. У него живое сердце.

Вот что я думаю: папа был мертв, а потом очнулся, и хотя это все еще было его тело, он снова получил жизнь, а вместе с ней и совсем иные божественные глаза.

Но это тело папы, голова папы и в ней мозг папы, который все еще хранит папину

жизнь. Нужно вернуть в эту голову самого папу, и все встанет на свои места. А чтобы был сам папа, бог должен смотреть на него правильными глазами.

Я переворачиваюсь, ухом прижимаюсь к камню, пытаюсь почувствовать, как пульсирует под его скорлупой земля. Вижу, свет включили, стоят на балконах, смотрят. Я говорю:

— Я в порядке!

Поднимаю руку, чтобы показать, что двигаюсь, и снова слушаю, как пульсирует земля и из самых недр ее доходят до меня песни огня внутри. Это я тоже в книжке читал: там в глубине пылает земляное сердце, наполненное лавой, как мое сердце кровью.

А может я себе это все только представляю. Еще минуту спустя я понимаю, это не моей судьбой так озабочены граждане Империи, не на меня смотрят. Там, в конце улицы, с трудом протискиваясь в узком промежутке между двумя домами, спускаются вниз тени. Они что-то несут, и оттого кажутся сгорбленными, большими. Я слышу, как кто-то причитает:

— Добрые люди! Подскажите, как добраться до ближайшего кладбища! Несем дочку хоронить, мы устали, денег нет! Швырните, кто сколько может! Или, может, вызовите машину, если вы не без сердца!

Кричит человек, идущий впереди. Я уверен, что он еще и кривляется, есть в его голосе нечто отвратительное, какая-то сытая и глумливая наглость, и причитает он так нарочито бездарно, что даже жутковато. Я приподнимаюсь. Обе фигуры одеты в плащи, отсюда теперь, благодаря свету, который зажигается везде, распространяясь от одного окна к другому, видно даже многочисленные складки на ткани, а вот лиц не видно никак. Эти люди несут гроб, простой, бедный, криво сколоченный из досок, словно бы на скорую руку. Я, кажется, вижу даже щепки на нем, не знаю, как называются эти огрехи в дереве, но это — зародыши заноз.

Человек, идущий впереди и принимающий на себя основной вес домовины, продолжает, нараспев почти, просить о помощи. Все это похоже на какой-то жуткий ритуал, где двое исполняют какие-то непонятные, жалкие роли, а кто-то третий в гробу ждет.

Но если там правда ждет мертвый человек, то его скорее надо прижать земле. Я поднимаюсь, отряхиваюсь.

— Здравствуйте! — говорю я. — У меня есть деньги и телефон. Я могу вызвать вам машину.

Они останавливаются, словно бы даже чуть раздраженно. Я стою у них на пути. Люди уходят с балконов, теперь смотрят из окон. Их головы, как воздушные шары над нами. Я думаю, что люди, наверное, будут рады, если один странный парень уведет еще двоих странных людей и одного потенциально мертвого человека.

Я повторяю:

— Здравствуйте.

И говоривший, и его спутник остаются неподвижны. Кажется, под капюшонами у них не блестят глаза, поэтому я думаю, может и нет там ничего. Стоят они долго, даже переживаю, что их сломал. Я делаю шаг к ним. У меня хорошее настроение, потому что есть надежда спасти папу. Если они свою дочку в гроб положили, ее уже не спасешь, поэтому мне хочется им хоть как-то помочь.

Наконец, тот который и до того говорил, снова говорит:

— О, юноша, это чудесно! Да воздаст тебе твой бог, и боги твоих родителей да им воздадут, и пусть дети твои примут твоего бога.

— Да, — говорю я. — Только у меня нет детей.

И тут же добавляю:

— То есть, если у вас теперь тоже совсем нет, вы простите меня, пожалуйста. Я сочувствую вашему горю.

Теперь я вижу, что под капюшонами у них черные платки и черные очки, оттого и кажется, что там темнота одна. Я скольжу вниз по улице, по гладким камням, достаю телефон и набираю номер.

Долгое время я выясняю, какая это улица и кажусь еще более глупым. Наконец, мне удается вызвать машину, тогда я становлюсь суматошным, не понимая, где ее ждать. Наконец, я и они, то есть мы, замираем у фонаря. Они кладут домовину на скамейку, и ее витая спинка — облешее железо в розах, кажется красивее, чем гроб, похожий на ящик, в каком перевозят бананы. Может, там и есть бананы, думаю я. Здорово было бы, если бы люди возили не мертвых, а фрукты. Я смотрю на гроб, считаю потенциальные занозы и актуальные доски.

Я впервые слышу голос второго человека. Под бесформенным плащом даже не было понятно мужчина это или женщина, а теперь — понятно, потому что голос мягкий, мурлыкающий, звонкий. Она говорит:

— Посмотри на него, он же имбецил.

На самом деле она не права — для имбецила у меня слишком хороший речевой функционал (я специально этой мыслью его себе демонстрирую, чтобы поддержать себя). Мужчина вдруг притягивает ее за шею к себе, тесно прижимает руку в кожаной перчатке к ее рту под платком — это у него выходит грубо и выглядит, как будто он так занялся с ней любовью, совсем не ассоциируется с его подобострастной речью.

— Зато он красавчик, моя любовь.

Тогда я уже решаю обидеться, потому что они меня без меня обсуждают совсем нагло. Говорю:

— Мне с вами детей не растить, я вам только гроб в машину положу.

Я даже увидеть не успеваю, как этот мужчина ко мне метнулся, и вот он уже на коленях передо мной. Он снимает очки, сует их в карман. Теперь я вижу его глаза — они желтоватые, как глаза кота, который поймал в них солнце.

Позади него его женщина гладит пальцами гроб, они скользят, тоже в черной коже, минуя все занозы.

— Дело в том, юный господин, что у нашего народа есть традиция. Добрый человек должен согласиться помочь, проводить нашу девочку в последний путь, и тогда наша богиня примет ее и с поцелуем прильнет к ее устам.

— О, — говорю я, потому что это все странно звучит. — Ну понятно. Наверное.

— Ты добрый человек! Ты согласился нам помочь, теперь закопай ее вместе с нами! Земля будет мягкой для нее, если у тебя доброе сердце. Наша мать — земля, она дает жизнь и забирает, поглощает мертвых, чтобы дать пищу живым. Питается смертью и дает жизнь. Проводи нашу девочку в последний путь, будь к ней добр, и тебе воздастся от нашей богини — земля не забывает тех, кто ее вспахал.

Вспахать землю, похоронить мертвеца, я понимаю, что тут общего. Нужно посадить семя в землю, и оно взойдет.

Я пожимаю плечами.

— Я сегодня слушал землю.

Он вдруг обнимает мои колени, так что я вздрагиваю.

— Ты ведь говоришь — да? Ты говоришь нам, что согласен?

Я неторопливо киваю. Никогда таких фанатиков не видел. И хотя все люди стараются соблюдать заповеди своих богов, мало кто говорит о них со страстью, а тем более как о любовниках. Говорят, на востоке люди стремятся слиться со своими богами, но я такого не понимаю. Я и есть мой бог, у меня его глаза, чего мне еще может быть от него надо?

Мужчина отстраняется от меня, но остается на коленях, а его женщина смотрит, и глаза у нее тоже поблескивают, пшенично-золотые. Может, горе сделало их такими, но выглядят они жутко. У них пугающие, хотя и очень разные движения. Она — плавная, ленивая, он — резкий, экзальтированный.

И в них еще что-то есть, только не понимаю, что. Или чего-то нет.

Только дочку мне их жалко. Человек должен встретиться со своим богом, он для этого появляется на свет.

Так что, когда подъезжает машина, я, после споров с водителем, помогаю им погрузить гроб на заднее сиденье и плачу водителю сверх таксы, чтобы он не расстроился проигрышу.

— Прошу прощения, — я говорю.

У разных народов разные обычаи. Многие хоронят только ночью, так что ничего удивительного. Правда, обычно люди более организованные, и водителям не приходится возить гробы без предупреждения. От гроба не пахнет ничем, только свежим деревом и, немного, восточными благовониями. Ничего противного, но лицо водителя в зеркале заднего вида ужасно мучительное. Я думаю, надо ему еще заплатить.

Мужчина и женщина сидят на заднем сиденье, в черном с ног до головы, полностью закрытые от чужих глаз. У них на коленях гроб с дочерью, и они синхронно глядят его. Их руки не встречаются, словно у каждого движения есть своя граница.

Я говорю таксисту:

— Мне ужасно жаль, что так получилось.

Он сплевывает в открытое окно. Мужчина и женщина молчат. А я все гадаю, что это за народ, чья богиня — земля.

Гроб мы едва сумели засунуть на заднее сиденье, они ни при каких условиях не хотели с ним расставаться. Все, в принципе, получилось, но теперь гроб упирается в спинку моего сиденья, и это не слишком приятно. Огней становится все больше, фонари на темной дороге похожи на упавших в реку светлячков. Мы проезжаем мимо вокзала, на котором толпятся желающие приехать, уехать и просто любители ночного образа жизни. Здесь пахнет едой, в основном хлебом и сыром, немного медом и еще меньше вином — запахи доносятся из многочисленных патриотических термополиумов с вывесками яркими, как будто в глаза плеснули кислоты. Я думаю, что не против был бы что-нибудь съесть, тем более что-нибудь с сыром, но мне в спину упирается гроб с чьей-то дочкой, поэтому я глотаю слюну и стараюсь потерять аппетит.

Вскоре мы вокзал проезжаем, теперь огни медленные, равномерные. Фонари и разрозненные полуночники, может работающие, а может борющиеся с бессонницей с помощью книжек и телевизора — вот что греет Вечный Город Ночью. Иногда попадаются круглосуточные магазины с цифрой двадцать четыре, смотрящей в темноту. Еще мы проезжаем пару пьяных компаний, семь одиноких людей на семи разных остановках, которые, наверное, тоже ждут машину, одну пьяную девушку, которая несет в руках свои туфли — у нее высокий хвост бледных волос и длинные ноги, и, наконец, одного усталого от жизни человека с маленькой собачкой.

А потом начинается кладбище. Кладбище у нас занимает практически целый район, это собственный город мертвых. Тут есть и богатые кварталы, где на уважительном расстоянии друг от друга стоят гробницы, есть и многоэтажные семейные здания, в которых оказывается пепел знатных людей. Есть районы, где и после смерти бедные остаются бедными, там общие ямы, где они, как при жизни, ютятся вместе. Кладбище, как и все в мире, разделено и для народов. У всех разные обычаи в жизни и в смерти. Мой бог, к примеру, хочет посмотреть на меня и после того, как я уже не буду представлять ничего интересного и стану лежать в земле, так что я не смогу лежать в гробнице с мамой и ее родственниками, а останусь под открытым небом, вместе с папой и Атилией. Преторианцы, я знаю, никакими указаниями свои могилы не снабжают, поэтому когда ходишь по кладбищу, ходишь по ним — никто толком не знает, сколько их похоронено и где. У народа ведьмовства принято сжигать своих сестер, потому что их богиня не живет на земле, так что и их на земле не должно остаться. Для пришлых народов, вроде моего и ведьмовского, места, конечно, меньше. Преторианцы и принцепсы были тут всегда, и когда они умирают, тоже остаются здесь навсегда, а других иногда приходится хранить за городом.

Но вообще-то наш Город и дружелюбный тоже — есть уголок и для иностранцев, для тех чьи обычаи велят сразу хоронить своих мертвых, иногда и сутки не подождешь. Иные верят, что мертвые это скверна. Мертвые невкусно пахнут, как сладости из мяса, но в остальном, нужно стараться относиться к ним с уважением, вот как я думаю.

Я думаю, может гроб такой плохой, потому что девочка сегодня умерла, а за ночь ее нужно похоронить непременно? Какой успели, такой и сколотили, и куда идти не знают.

Водитель останавливается, и я вручаю ему деньги.

— Подождать? — спрашивает он с неохотой, а потом демонстративно зевает. Я качаю головой, я и сам могу дойти. Мужчина и женщина не возражают, значит, наверное, им тоже не надо.

— А вы? — спрашиваю я на всякий случай.

— У нас ночное бдение, юный господин, мы прощаемся навсегда с нашей девочкой. Водитель явно вздыхает с облегчением и даже помогает нам вытащить гроб. Он вроде как застревает, и мы с трудом вытаскиваем его, так что еще и за поврежденную обивку машины приходится дать денег. Я не против, тем более водитель сразу веселеет, даже кажется бодрее. Бодрым быть хорошо, особенно за рулем — безопаснее доедет.

Гроб маленький, у них была компактная дочь. Я не уверен, что ребенок, но, может, подросток.

Машина срывается с места и впадает в течение других машин на шоссе, а мы идем к ограде. Две колонны как кости белеют в темноте, отмечая ворота, в остальном ограда кованная, тонкие редкие прутья скорее для красоты, чем вправду кого-то от чего-то ограждают. Наряду с прутьями вниз тянутся, иногда покачиваясь от ветра, серебряные цепочки. К ним и до сих пор привязаны личные вещи мертвых людей. Я вижу розовый детский ботиночек, которым оканчивается одна из цепочек, еще вижу чью-то шариковую ручку, брелок для ключей в виде фиолетовой акулы, зажигалку, белый ежедневник. Обычные вещи, ничуть не жуткие, они как приманки на серебряной нити. Вообще-то это приманки и есть. Традиция старая, живущая и здравствующая по непонятным мне причинам. В эпоху великой болезни на месте кладбища был район Города, куда впервые пришла смерть. Никого не осталось (вообще-то после великой болезни не выживал тогда никто, а спаслись только разрозненные группки обратившихся совсем к иным богам чем те, в которых они прежде

верили). В общем, здесь были дома, кипела жизнь, люди работали, развлекались, термополиумы подвали еду, еще, наверное, лошади ржали тогда, их в городах раньше было много. А потом все взяли и умерли.

Люди оградили весь район, чтобы болезнь не шла дальше. Они вешали серебряные цепочки, потому что верили, что серебро обеззараживает, а на них, как приманку, помещали вещи умерших людей. Злые духи должны были ринуться к этим вещам, как ко всему человеческому, и попасться на серебряный крючок, как рыбки. Сейчас в злых духов уже никто не верит, потому что злые духи это чужие боги, которых случайно разозлили. Но почему-то люди не перестали считать, что это хорошая примета — вешать на кладбище вещи умершего, чтобы защитить живых и отвести сглаз.

Этот обычай придумали в эпоху великой болезни, она давным-давно прошла, а он и поныне с нами. Наши предки очень боялись сглаза и берегли своих умерших, но когда умирать стали все вокруг, пришлось жертвовать достоинством мертвых ради живых.

На самом деле я неправильно думаю про то, что это были мои предки. Мои предки в это время умирали где-то за Рейном, в таком же отчаянии придумывая новые ритуалы, и кое-то из них, от кого я произошел, случайно обратился к тому, кто вправду смог помочь. Наша прародительница разбудила нашего бога сама того не желая.

Так я слышал, по крайней мере. А как там на самом деле было уже никто знать не может.

Мы идем молча, поэтому я и могу думать о серебряных цепочках с болтающимися на них безделушками, о болезни и обо всем другом. Я помогаю мужчине нести гроб, а женщина идет позади нас, у нее совсем бесшумные шаги.

У ворот, прямо на колонне, устроился жирный квадрат терминала, принимающего купюры. Терминал работает только ночью, так что желающим посетить своих родственников или в спешке придать их земле, приходится платить неустойку за то, что не дают спать сторожу. Я оборачиваюсь. Пальцы у меня уже в занозах, а от неловкого движения гроб чуть не выскальзывает у меня из рук, оставляя мне новых маленьких друзей. Я несу его заднюю часть, над моей головой, наверняка, ее стопы.

В темноте кажется, будто купюра в пятьсот сестерциев как бы сама по себе проникает в пасть автомата. Женщина в своем черном плаще, перчатках и платке, кажется, и вовсе не существует, и ее мужчина не существует, а есть только я и гроб, и парящая в темноте купюра. Я все думаю, кто они? Может быть, нумидийцы. Я слышал, что они всегда ходят только в черном и поклоняются богу целиком из металла. Замок на воротах, недовольно щелкнув, уступает нам право войти.

В будке сторожа зажигается свет. Он выходит, недовольный тем, что бесчувственная машина и мы, ее соучастники, его разбудили. На нем ночной халат, тапочки и смотреть на него холодно. Женщина оплачивает две лопаты, показывает какие-то бумаги и спрашивает, куда идти. Мне ужасно интересно к ней подойти и послушать, но у меня гроб, связывающий меня обязательствами. Охранник довольно быстро указывает ей влево, и я удивляюсь. Он должен был, по-хорошему, подойти к нам, посмотреть, похож ли тот, кто в гробу на того, чей номер свидетельства о смерти женщина ввела в терминале. Папа бы не понравилась такая безответственность. А вдруг, мы какие-нибудь убийцы или другие злодеи?

Женщина возвращается к нам, и мы идем по аллее, где вместо деревьев вокруг нас вырастают памятники, гробницы и таблички.

Есть на кладбище и настоящий сад. У народа воровства принято вместо имен и

табличек выращивать на могилах цветы. Так им велит их богиня, любящая красивые вещи. В детстве я и Атилия иногда прятались на кладбище. Когда хоронили кого-то из сенаторов, нас брали сюда, нам здесь было скучно, и мы играли. Один раз Атилия спряталась в разрытой могиле, потому что наш бог не считает, что в смерти есть что-то дурное. Мама с трудом вытащила ее, измазалась в земле и порвала чулки, а потом еще месяц переживала, что Атилия умрет из-за какой-то дурной приметы маминого народа.

А я тогда съел какой-то цветок, но маме об этом не сказал, потому что она еще больше бы волновалась.

У меня приятные воспоминания про кладбище. Некоторое время мужчина и женщина продолжают молчать, а потом вдруг мужчина говорит нарочито весело:

— Юный господин, а вы почему решили нам помочь?

— Я думал у вас денег нет, — говорю. — А оказалось есть. Но мне все равно вас жалко. Мужчина смеется, смех у него переливается, как бутылочное стекло на солнце — остро и ярко.

— Ты не спросил нас, откуда мы.

— Не отсюда, раз не знаете, где кладбище.

Я некоторое время молчу, а потом добавляю:

— А все-таки откуда вы?

— Из страны на востоке.

Это я понимаю — у него характерный, мягкий акцент, делающий его и так странные слова совсем нездешними.

— А как вас зовут?

Мужчина вздыхает, хлопает ладонью по гробу, будто хочет утешить ребенка, который устал от долгого пути.

— Наверное, меня зовут Грациниан, — говорит мужчина. — Да, определенно на вашем языке это будет так. А имя моей благословенной супруги, получи она жизнь на этих землях, наверное, звучало бы как Санктина.

— Так звали мою тетю.

— Потрясающе!

— Но она умерла.

— В этом и состоит жизнь, юный господин.

Мы идем сквозь темноту, по дорожке из белого камня, которая не дает нам осквернить чью-нибудь могилу своим шествием. Вроде как камень — шумный собеседник для ботинок, но я по-прежнему не слышу их шагов, будто они и не шагают вовсе.

— Неужели ты не испугался идти ночью на кладбище с незнакомыми тебе людьми? — спрашивает Санктина. Голос у нее нежный, в холодном воздухе он звучит, как звучат запахи ночных цветов — естественно и ненавязчиво.

— Нет, — говорю я. — Меня же попросили помочь.

— О, ты, наверное, из ослепленного народа.

Нас иногда так называют, потому что первых наших вождей, пришедших к нему, наш бог ослепил. И еще, потому что говорят, что безумие не дает тебе видеть мир.

— Да, — отвечаю я. Она смеется чему-то своему, а Грациниан говорит:

— Я о вас много читал! Всегда мечтал увидеть вживую! У нас в стране тоже много народов, но подобных вашему нет...

А потом он вдруг останавливается, говорит:

— Здесь! Я чувствую, моя ненаглядная, это должно быть здесь.

Я тоже останавливаюсь, в конце концов, его гроб и правила тоже его. Мы смещаемся с дороги. Здесь могилы, как ряды морковок, тесно прижаты друг к другу, но в середине есть круг, который никто почему-то не тронул. Трава на нем растет будто спиралью.

— Спираль, моя дорогая, древний символ бесконечного бытия, что может быть лучше?

— Только то, что трава — восходящая жизнь, мой родной.

Мы с Грацинианом кладем гроб на землю. Он и его жена входят в круг, с благостным любопытством осматриваются, будто выбирают себе квартиру. А потом, наконец, они оба скидывают сначала капюшоны, а затем платки. Я смотрю на них во все глаза. Из-за туч снова выходит луна, темнота перестает быть почти абсолютной и видно мне их хорошо.

Они не похожи просто ничем, настолько разные, насколько можно. Она белокожая, с гладкими, светлыми волосами, какие, я думал, бывают только у моего народа. У нее большие, желтые глаза, они не как у меня или сестры, или папы — не прозрачные, как вода, а наполненные цветом, как будто кто-то взял краску и щедро украсил ее радужку. У нее и изгиб губ такой, будто его художник нарисовал. Она такая идеальная, что я даже не думаю о ней, как о женщине. Она то ли произведение искусства, то ли кукла, то ли богиня — этого я понять не могу.

И она вроде как совсем не похожа на женщин востока, которых я прежде видел.

У него намного более стереотипная внешность — большие миндалевидные глаза, острые скулы, темные, растрепанные волосы и смуглая, в лунном свете почти золотым отливающая кожа. Он высокий и тощий, изможденный практически. Наверное, долго болел. Глаза и у него — желтые, того же яркого, как у кошек, цвета.

Но он меня даже еще больше удивляет, чем она. Потому что отчасти он тоже немножко она. Его красивые глаза подведены черным, отчего кажутся еще больше, скулы украшены золотой пудрой, которую я часто в фильмах о востоке вижу на женщинах, а в ушах у него длинные, золотые сережки. И хотя его жена накрашена еще ярче, он сам тоже, вроде как, выглядит как женщина, хотя и не притворяется ей. Волосы у него хоть и короткие, но как-то по-женски растрепанные. То есть, он вроде как не скрывает, что он мужчина, но при этом использует женские вещи, чтобы стать красивее. Тогда-то я понимаю, кто они, потому что я много читаю.

У многих восточных народов мужчины стремятся познать свою богиню и вообще женскую сущность в самих себе. Это странно, потому что женщины моего народа не хотят стать мужчинами, прославляя нашего бога.

В общем, такое у многих восточных культов есть, но особенно — в Парфии. Хотя многие думают, что это поклеп. Мы с Парфией много воевали, у них там теократия, и мы идеологические враги, хотя у нас принцепсы тоже правят по велению своего бога. Вроде как мирный договор с Парфией мы до сих пор не заключили, гости оттуда у нас редки и мало кто ездит туда, поэтому никто и не знает, правда ли что парфянские аристократы одеваются, как женщины.

То есть, я теперь, наверное, знаю.

Я говорю:

— Вы, наверное, из Парфии.

Санктина смеется, а Грациниан цокает пару раз языком, так что я не понимаю, то ли я ошибся, то ли оказался сногсшибательно прав. Грациниан воздевает руки к небу. Перчатки он уже снял, и я вижу, что у него золотые кольца на каждом пальце. Я не жадничаю, но



могли бы и сами за себя заплатить в таком случае. Грациниан вдруг тянет меня за руку, и я понимаю — пальцы у него беспримерно холодные.

В своей жизни я сталкиваюсь с холодными пальцами часто, но эти совершенно ледяные, как будто он предмет, а не существо. Он обнимает меня, горячо шепчет на ухо:

— Это просто чудо, что мы нашли здесь такое подходящее место! И пусть наша мать, земля, всюду, не всякая ее часть там природно хороша для того, чтобы посадить в нее наше семя!

— Странно это все звучит, — говорю я, наверное, не в первый раз за сегодня. Дыхание у Грациниана не жаркое, а холодное, совсем не согревается от его тела. Тогда я думаю, может он дышит только чтобы говорить?

Семя опускают в землю, а дальше-то что? Может передо мной пшеничные колосья? Я очень близок к какому-то пусть туманному, но выводу. В этот момент Санктина вручает мне лопату.

— Поторопись, мой дорогой, не расходуя ночь. Она короче, чем ты думаешь.

Ее руки, не менее холодные, гладят меня от затылка к макушке, как котенка. Это приятно. Я еще раз смотрю на гроб, а потом Грациниан указывает в самый центр круга, и мы начинаем копать. Наши лопаты то и дело с лязгом вгрызаются друг в друга, потому что я не очень привык к такой работе и Грациниан, кажется тоже. Движения у него странные, экзальтированные, вроде как больше подходящие женщине, чем мужчине, но руки сильные.

Санктина стоит над гробом, у нее по-тигриному прекрасное лицо. А копать мне даже нравится. Такое же ощущение, как когда разрезаешь пирог, только больше и еще приятнее. Земля уступает лезвию лопаты, и каждая победа над ней делает все сильнее ее влажный запах, как будто мы вскрываем землю, как скотину. Вот это не совсем приятно. Я смотрю в небо, которое толком не прояснилось, из всего что там должно быть — есть только луна. И само небо распухшее, как перед дождем, так что непонятно, когда окончится ночь.

Наконец, яма оказывается достаточно глубока. Я разгорячен, а вот в Грациниане никаких перемен не происходит — словно он все это время тоже стоял не двигаясь, как Санктина.

Когда я оборачиваюсь, вижу, что Санктина открыла крышку гроба. Мертвой плотью не пахнет, зловещее предчувствие меня не одолевает, вообще ничего особенно не меняется, но я вижу девушку, как две капли воды похожую на Санктину, но блестяще-черноволосую.

— Все готово, — говорит Санктина, голос ее полон восторга, теперь он не мурлычущий, а будто сейчас она зарычит.

Грациниан на коленях подползает к ней, лицо у него скорбное, мне хочется отвернуться, и в то же время я не могу — слишком любопытно.

— О, сокровище сердца моего, дочка, скоро, уже скоро, мы встретимся.

Наверное, не стоит лезть не в свое дело, но может посоветовать ему обратиться к психотерапевту? Вдруг он хочет покончить с собой после смерти дочери. Грациниан целует ее в обе, лишенные краски, щеки, потом в лоб, с горячечной скорбью, которая представляется скорее театрально женской, чем собственно женской. И все-таки мне кажется, что он говорит вполне искренне.

Санктина стоит над ними, скорее уж она скучает, чем скорбит. Иногда ее бледно-розовый язык скользит по губам, а потом возвращается в темноту за ее тесно сжатыми зубами.

Я слышу голос Грациниана:

— О, моя милая, она примет тебя, тепло укроет тебя, и ты будешь набираться сил в ее объятиях.

Тогда я решаю отвернуться, чтобы не смущать его. В конце концов, он прощается со своей дочкой, они увидятся только в чертогах их богини, это все и без меня грустно.

Я слышу, как он подвывает:

— Золото мое, золото, я так не хочу с тобой расставаться. Она отдаст тебя нам, как дает пищу зверям земным.

Я смотрю в раскрывшую свою голодную пасть могилу, у нее черная, грязная глотка полная мелких камушков, похожих на торопливо прожеванные кости. Я думаю о папе. Я не хочу, чтобы он оказался здесь, в холоде и темноте, и мне за него страшно.

Он ведь окажется тут, если не придет в себя. Его убьют, и мы не сможем его защитить. Так делается политика, она состоит из таких, как папа. Вернее таких, каким он был. Маму не тронут, как и нас, потому что одна из частей завета Империи с богами — одна династия императоров на троне, бесконечная линия крови, тянущаяся из древности, которую всем давно пора забыть. А вот папу во дворце держит только любовь народа. Так что они убьют его тело, и папиной душе некуда будет вернуться.

Я смотрю в яму, черную, масляную от влаги и червей внутри, и мне кажется, что это папино будущее, а от этого в горле встает густой комок моего сердца.

Я все думаю и думаю, не обращая внимание на происходящее, так что все, кроме ямы как бы перестает для меня быть. И я очень удивляюсь, когда слышу:

— Спасибо, юный господин. Как бы мы справились без тебя! Это доброе дело, на которое не всякий способен.

Я хочу сказать, что копать не так уж сложно и на это способны многие, но ничего не говорится. Сначала я думаю, это потому что вернулась боль — саднит в затылке.

А потом оказывается, что это не боль вернулась, а все ушло. Я вроде как падаю в яму, но это не особенно важно, потому что все и так становится чернее земли передо мной.

Я думаю: наверное, я умер, и именно оттого понимаю, что все-таки не умер, а просто мне очень плохо. Открыть глаза это подвиг, который пусть сделает кто-нибудь после меня, а я буду лежать в душном холоде вечно и чего-то ждать.

Потом ко мне приходят два вопроса: где я и почему именно здесь? Вместе с пробуждающимся любопытством приходит желание вдохнуть. Так я понимаю, что все это время не дышал, поэтому я и невероятно вялый, и мир вокруг меня весь в аморфной темноте под веками. Я не знаю, сколько у меня не получалось дышать, вряд ли больше минуты, а то мне в голову не пришло бы что-нибудь с этим сделать и вообще мне в голову бы уже никогда ничего не пришло.

Кто-то надо мной ругается на непонятном языке, а может я просто не могу совместить звуки в слова. А потом я чувствую, как в горло мне врывается холодный воздух.

— Дыши! Давай же! Ты не можешь меня здесь оставить! — шипит кто-то, и я слышу мягкий восточный акцент между потоками воздуха,рывающимися мне в легкие. Наконец, когда у меня достает сил вдохнуть самому, я открываю глаза. Она сидит на мне, вцепившись в воротник моей рубашки. У нее удивительно красные губы, она пахнет землей и так бледна в свете луны, что я ни секунды и не думаю, что она живая. Я ее не сразу вспоминаю, но зато сразу понимаю, что вокруг меня всюду влажная земля, а сверху луна и мертвая девушка, обе очень красивые и очень пугающие. Только когда у меня получается сфокусировать взгляд на ее пшенично-золотых глазах, блестящих, как золото, кое-что всплывает в памяти.

Девушка из гроба, чья-то дочка, любимая девочка. Я рыл для этой девочки могилу, а теперь мы оба в ней. Она открывает рот, и я вижу два клыка, острых, тонких, похожих на кошачьи. Они такие белые, будто кто-то сделал их из фарфора и вставил ей в рот. Я думаю, что она сейчас вгрызется мне в горло — страх этот он вроде инстинкта — а что еще можно делать с такими зубами, кроме того, что делают дикие звери?

Но она говорит:

— Ты в порядке? Ты жив? Скажи что-нибудь, пожалуйста!

И в голосе у нее вовсе не издевка, она правда беспокоится. А я от удивления даже сказать ничего не могу.

— Пожалуйста! Ты понимаешь, что я говорю? Ты ведь говоришь на латинском?

К последнему слову ее длинные зубы упираются в ее пухлые губы, и на них выступают две блестящих бусины крови. Она говорит что-то непонятное, досадливое, утирает губы, а потом как замороженная смотрит на кровь, слизывает ее бледным, розовым языком, и снова переводит взгляд на меня.

Я говорю:

— Ты не собираешься меня убивать?

Она отчаянно мотает головой. Тогда я говорю еще:

— Тогда слезь с меня, иначе я сейчас умру.

Она с неестественной быстротой подается назад, и я делаю то же самое, места в могиле мало, мы оба прижимаемся к двум ее противоположным краям, но между нами все равно не больше пяти сантиметров. Мы смотрим друг на друга, и я не могу придумать, что сказать, и она не может. Ее губы алые вовсе не от помады, по ним размазана кровь, как вишневое

варенье или клубничный сироп, когда ешь с аппетитом, ни на что не обращая внимания. Я отвожу взгляд и смотрю, как копошится в земле червяк, не понимающий, почему большая часть его мира вдруг исчезла, и он остался совершенно один под незнакомой ему луной.

Примерно так и я себя чувствую. И она, наверное, тоже. Тогда я говорю:

— Твои родители сказали, что ты умерла.

Она быстро кивает.

Я говорю:

— Оближи, пожалуйста, губы.

Она облизывается и перед тем, как отвести взгляд смотрит куда-то пониже моего лица. Только тогда я ощущаю что-то по-особенному липкое на шее, прижимаю к ней руку и понимаю, что это кровь еще прежде, чем вижу, как она темнеет на ладони в свете луны.

Она говорит:

— Как ты?

— Не знаю, — я отвечаю. — Наверное, не умираю. Ты много крови выпила?

— Не знаю, — повторяет она. — Я не помню себя до определенного момента. Я была очень голодна.

Так что мы с ней ничего не знаем и оба ужасно напуганы. Я смотрю на нее, на ее израненные губы, белые клыки и блестящие глаза, и мне вдруг становится ее жалко. Она, с ее мягким акцентом и испачканными землей волосами, совсем одна в чужой стране. Она явно кровоядная, но кровожадной не кажется. Тогда я спрашиваю, очень осторожно, как будто она зверек, которого я могу спугнуть:

— Как тебя зовут?

Она сдергивает с шеи черный платок, под ним оказывается длинная рана, будто ей перерезали горло кинжалом. Платок она дергает вниз, как дети снимают надоевшие варежки.

— Ниса! — говорит она почти с вызовом, хотя я и не понимаю, почему вопрос ее так разозлил. На ней строгое, черное платье, оно и сейчас закрывает коленки.

— Я — Марциан. Приятно познакомиться. Давай отсюда выбираться?

— Ты что вообще ничего не хочешь спросить?

Я приподнимаюсь, меня изрядно шатает, и я не уверен, что смогу выбраться из могилы. Я говорю:

— Ну, не знаю. Я не очень умный. Давай я подумаю немного.

Ниса вдруг начинает смеяться, да так громко и жутко, что меня передергивает. Она распахивает зубастый рот и запрокидывает голову так, что луна делает ее зубы еще белее.

— Вот, — говорю. — Я придумал. А эти зубы у тебя как-нибудь убираются? Неудобно будет тебе в Империи, если нет. У твоих родителей я их не видел.

Она в секунду замолкает, потом говорит:

— Да.

Я думаю, что это, наверное, не весь ответ, поэтому жду. От земли исходит холод, будто она дышит. Я вспоминаю, что Грациниан говорил про их богиню, которая им еще и мать. Некоторое время Ниса молчит, потом неохотно договаривает:

— Когда я сыта.

Я снова трогаю шею, кровь уже запеклась, образовала приятную на ощупь корочку.

— А когда ты будешь сыта?

— Я не знаю. Я никогда не...не была в этом состоянии прежде.

Я думаю, как было бы надежнее отсюда выбраться. Пару раз подпрыгиваю, но пальцы скользят по земле и мокрой от росы траве. Зато я вижу, что в зоне досягаемости гроб. Деревянная коробка, встав на которую выбраться будет, наверное, легче. Я говорю:

— Сейчас будем втаскивать гроб.

Она кивает снова. Мы справляемся, хотя ставить гроб оказывается мучением, могила хоть и достаточно длинная для него, но тесная для нас троих. Успев отдавить себе ноги и отбить коленки я, наконец, встаю на гроб и легко выбираюсь из могилы. Грациниан и Санктина не оставили нас совсем безо всякой заботы. Я протягиваю руку Нисе, она намного ниже меня и ей, наверняка, нужна помощь. Она вцепляется в меня с такой силой и цепкостью, что на секунду меня одолевает страх — сейчас затянет меня вниз, вгрызется мне в горло со звериной жадой.

Я вытаскиваю ее из могилы, и мы снова оказываемся перед необходимостью диалога, как сказала бы моя учительница. Я глажу себя по затылку, натыкаюсь на шишку, которая тут же отзывается болью.

— Твои родители ударили меня лопатой.

— Прости.

— Ничего.

Я еще некоторое время молчу, смотрю на лопаты, валяющиеся рядом с ямой. Хорошо бы ее закопать вместе с гробом, а лопаты вернуть охраннику. Так бы в кино сделали. Но мне ужасно лень этим заниматься, наверное от плохого самочувствия.

— Сколько тебе лет? — спрашиваю я.

— Девятнадцать.

— Моей сестре тоже девятнадцать. Она ниже тебя.

Ниса смотрит на меня, чуть щурится, в сочетании с клыками выражение лица у нее выходит потешное и жуткое одновременно.

— Ты очень необычный человек.

— Да, мне все говорят.

Я смотрю в сторону ограды, ее видно в темноте, потому что луна снова яркая, она придает серебру жизнь и блеск.

— Давай-ка перелезем. Не хочу, чтобы охранник нас увидел. Мы выглядим плохо.

— Станет задавать вопросы?

— Ну, не знаю, если только ему интересно...

— Хорошо, Марциан, — говорит она быстро.

Мы идем к ограде с трудом обходя частые, жмущиеся друг к другу надгробия. Здесь, наверное, лежат люди моего народа, потому что у преторианцев нет надгробий, а у принцепсов есть гробницы. А у моего народа даже названия нет, и мы лежим под открытым небом. Я думаю, что у нас за спиной могла остаться и моя могила.

Надо будет запомнить место и попросить похоронить меня там, если я умру. Еще надо вернуться домой и думать, как помочь папе.

У ограды лежит, в лунном свете надпись легко различить, ребенок. Мы никогда не виделись и не увидимся никогда, но теперь я о ней знаю, что имя ее было Агриппина и что родители выбили на холодном камне самые теплые слова "не забудем тебя, малыш, пусть за тобой присмотрят среди звезд".

Люди пишут имена своих мертвых, чтобы пока хоть кто-то на свете есть, мы узнавали тех, с кем никогда не увидимся, кто больше не живет с нами на земле. Без этого совсем

тоскливо.

— Ты в детстве представляла себя скалолазом? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит Ниса. — Я представляла себя воином пустыни.

— Это тоже хорошо. Но все-таки жаль.

Я хватаюсь за цепочки потолще, в каждой руке держу по четыре сразу. Забираться так не слишком-то удобно. Цепочки норовят вырваться, ноги все равно некуда поставить, все скользит, даже небо надо мной. Я кое-как перелезаю на другую сторону и точно так же, в сопровождении цепочек, спускаюсь. Когда я оказываюсь за пределами кладбища, Ниса говорит:

— Ты нелепый.

— Попробуй сама, — я пожимаю плечами.

И она пробует. Так пробует, что уже секунды через три оказывается рядом со мной. Она будто тень, мне кажется, что у нее не две руки и две ноги, а минимум шесть конечностей, как у паука. Она спрыгивает вниз с высоты и приземляется на ноги, как кошка.

— Ничего себе, — говорю я.

Она, кажется, не меньше удивлена.

— Я видела, как мама и папа это делают, но не думала, что это так просто!

Я вспоминаю, что у нее есть мама и папа, говорю:

— Тебя, наверное, не сопровождали в последний путь телефоном. Но не переживай, у меня есть телефон. Ты можешь позвонить родителям?

Она мотает головой.

— Хорошо, — говорю я. — А ты знаешь как их найти?

— Нет, — отвечает Ниса. Она скрещивает руки на груди с самым недовольным видом, и я вдруг понимаю, что обычно она далеко не такая эмоциональная. Флегматичное, нагловатое выражение лица ей очень идет.

— Ты мне нужен, — бросает она как бы между делом. — Я без тебя не выживу.

— Не переживай, только кажется, что в метро ужасно сложно разобраться.

— Я серьезно.

У меня не находится лучшего ответа, чем "я тоже", поэтому я молчу. Она смотрит на меня, блестит пшеничными глазами.

— Ты мой, как это сказать...

Она щелкает пальцами, потом выпаливает:

— Донатор.

— То есть, я должен тебе просто так денег давать?

— Нет. Просто я могу питаться только тобой. Только твоей кровью. Некоторое время, пока завершается мое воплощение. Если тебя не будет, я от голода снова стану мертвой. Но вроде как это не особо долго. У всех по-разному. Мама питалась своим донатором год, папа — четыре месяца.

Голос у нее становится все спокойнее и спокойнее, так что к концу фразы она уже совершенно не нервная, зато полная скепсиса.

— По-моему это долго.

Она закатывает глаза.

— Давай-ка мы разберемся с моим прикусом, и тогда я тебе все-все объясню, ладно?

— Разберемся с твоим прикусом, это значит, что ты будешь мной питаться, пока у тебя зубы не исчезнут?

Она кивает. Мы стоим и смотрим друг на друга. Наконец, я разворачиваюсь и иду к шоссе.

— У тебя очень хороший латинский, — говорю я, чтобы поддержать беседу.

— У меня отличное образование. И что? Это все?

Она нагоняет меня, заглядывает в глаза.

— Где твои вопли? Почему ты не хочешь от меня избавиться? Или ты от меня уже избавляешься? Не бросай меня, я не хочу умирать окончательно!

— Нам нужно найти какую-нибудь заправку с термополиумом. Я буду пить вино, клубничную газировку и есть еду, как доноры.

— То есть, ты согласен?

Яжимаю плечами. Мне ее жаль, и я не способен дать человеку умереть, даже если он уже холодный, как мертвые. И даже если в каком-то смысле он и есть мертвый.

— А почему твои родители такие предатели? — спрашиваю я.

— У нас так принято.

Некоторое время мы идем молча. Когда она слышит шум машин, то снова срывает с плеч платок, повязывает, так что лицо теперь не видно, как у ее родителей. И тогда я вижу, что глаза у нее становятся влажные — она плачет. Как мертвые могут плакать? Я хочу ее спросить, но не решаюсь, потому что если она плачет так, чтобы я видел как можно меньше ее слез, значит ей совсем не хочется слушать мои вопросы.

Сегодня меня окружают плачущие женщины, и только одной из них я на самом деле могу помочь.

Мы доходим до заправки за полчаса. Плакать Ниса перестает где-то за десять минут до того, как красный свет вывески нарушает черное небо. Когда мы заходим в ослепляющее меня после ночной темноты помещение, я понимаю, что мы не лучшая пара на свете — испачканные в земле и, немного, в крови, жалкие и подозрительные личности. Свет ламп в уютных плафонах тонет в начищенной до блеска кафельной плитке, на которой то и дело спотыкается сонная официантка, и это хоть как-то ее бодрит. В термополиуме почти пусто, двое мужчин сидят в разных концах зала, поглядывая в окно, видимо, решили передохнуть после долгой езды. Вид у обоих помятый, какой-то похожий, хотя они и вряд ли знакомы. Прежде, чем официантка успевает заметить нас, мы проскальзываем в уборную. Она общая, и я рад, ведь в противном случае, мы оказались бы перед нерешаемой дилеммой.

Ниса нервно дергает щеколду, железный штырь не сразу проходит в предназначенное ему место, и Ниса снова ругается на парфянском. По крайней мере, я думаю, что она ругается.

— Сними рубашку, — шепчет она.

— Мы будем заниматься любовью!

У нее делаются такие глаза, как будто она должна покраснеть, но ее кожа не меняет цвет.

— Конечно, нет! Просто если твоя рубашка еще сильнее испачкается, мы будем вызывать еще больше подозрений.

Я включаю воду, Ниса смотрит на меня непонимающе.

— На случай, если ты будешь чавкать. Или если я буду кричать.

— Постарайся не кричать, ладно?

— Тогда постарайся меня не убивать.

Я снимаю рубашку, кладу ее в раковину, и пятна крови из красных становятся

розоватыми, а пятна земли из черных — серыми.

— Ты что... — начинает было Ниса, а потом снимает платок, и я снова вижу ее зубы. Она не договаривает, подается ко мне, тесно прижимается. Иногда девушки, с которыми у меня был секс, делали точно так же — тесно, близко, и дальше тоже следовало прикосновение к шее. Но Ниса прикасается ко мне совсем в другом качестве, в качестве хищника. И на поцелуй то, что она делает совсем не похоже. Больше всего ощущение в шее, которое следует за ее приближением, напоминает укол. Только иглы две. И доктор позволяет себе вольности. Ее язык скользит по шее, кажется шершавым, как у кошки. Она лакает кровь, прильнув ко мне, питается от меня. Обычно такая близость заставляет меня хотеть девушку, и это я всегда был тем, кто первым целовал и тем, кто лез под одежду, я не очень терпеливый, но сейчас я думаю только о том, как ее язык путешествует от одной ранки, похожей на точку, к другой.

Я не знаю, сколько времени проходит. Вода уже выбирается из раковины, потому что ткань заткнула сток, а на воротнике, как парус раздуваемомся от тока воды, остается только намек на розовый — такой можно и помадой оставить. Наконец, две иглы пропадают, Ниса отстраняется. Зубы у нее розовые от крови, но вполне человеческие. Я с трудом, невероятно медленно, оборачиваюсь и смотрю на нас в зеркало. Мы оба одинаково бледные. Я выключаю кран, набираю в ладонь воды, которой в избытке в раковине, и отмываю кровь с шеи. Ранки на самом деле крохотные и кровить перестают быстро. Зубы Нисы устроены хорошо.

Она умывает рот, пока я выжимаю рубашку.

— И как это? — спрашиваю я. Здесь тесно, но я не чувствую ее тепла, она холодная, как кафельная плитка.

— Невероятно, — говорит она. Один ее зрачок кажется больше другого. — Как будто я снова живу.

И мне становится грустно, так что больше я ничего не говорю, выжимаю рубашку так хорошо, как только могу и надеваю. Она все равно влажная, но я надеюсь, что успею высохнуть. Мы выходим из уборной, официантка подмигивает нам, выдувает толстый, розовый пузырь из жвачки.

— Что? — спрашивает. — Трахаться негде?

Голос у нее дружелюбный, так что мне стыдно за воду, оставленную нами в уборной.

— У меня строгие родители, — говорит Ниса. Мы садимся за столик у окна, Ниса даже не смотрит на меню. Я заказываю себе кофе, и это смешно, потому что одна из войн Парфии и Империи называлась Кофейной и велась за территории на далеком Западе, где росла всякая интересная еда, которая теперь кажется всем привычной. Картошка, например, или тыква.

Я решаю, что самым смешным будет заказать картошку фри, тыквенный суп и жареную индейку, чтобы совершенно соответствовать тематике. Когда мне приносят кофе, я насыпаю туда половину сахарницы, так что сквозь водянисто-рыжую жидкость видно будто бы морское дно.

— И вина! — говорю я. — И клубничной газировки!

Официантка сонно кивает, а я делаю первый глоток кофе, не обращая внимания на не до конца размешанный сахар и жар.

— Рассказывай, — говорю я Нисе. — Тебе заказать что-нибудь? Я просто не подумал, что ты тоже голодная. Ты же только что ела меня.



Она мотает головой.

Я пью попеременно невероятно сладкий кофе, очень сладкую газировку и полусладкое, дешевое вино. Постепенно мне становится будто бы лучше и даже веселее. Ниса говорит медленно, теперь я замечаю, что голос у нее чуть гнусавый, а еще она не надела платок, но раны на шее больше нет. Наверное, она затянулась, когда Ниса стала сытой.

Она говорит про их богиню, богиню жизни и плодородия, землю. Она говорит, что когда народ Нисы заключил с ней завет, они были всего лишь кучкой отчаявшихся земледельцев, но теперь они в Парфии главные, аристократия.

— Дело в том, что нас как бы много. И меньше не становится.

— У вас принято иметь много детей?

— Нет. Мы не умираем сами. То есть, убить нас можно.

— Как?

Она некоторое время молчит, потом подается ко мне и шепчет на ухо:

— Золотой нож в сердце.

Жест доверия выходит какой-то даже отчаянный.

— Мы можем жить вечно, то есть пока нас не убьют. Поэтому у нас строго с рождаемостью. И со сменой должностей. Как бы со всем у нас строго. Будущее должно принадлежать молодым, а у нас все наоборот. У нас время повернулось вспять, всем управляют старики за триста.

Старики за триста это какая-то кладбищенская характеристика, но я ее не перебиваю. В мире есть много разных народов, народ Нисы удивительный, но — один из многих. Моя мама тоже вечно молодая, но она не будет жить триста лет.

— Я такого никогда не слышал про вас.

— Потому что ты о нас вообще ничего не знаешь, — говорит она. — В общем, у нас сложно выбить себе право завести ребенка, пока ты жив, а потом сложно выбить себе право стать, ну, не окончательно мертвым.

Она рассказывает про свою семью, и мне странно это слушать. Грациниан, носящий женские сережки и косметику на лице, оказывается, верховный жрец Матери Парфии, как ее называют в стране Нисы. Для меня странно и то, что кто-то вроде Грациниана может представлять богиню на земле и то, что богиню вообще можно представлять. Мы говорим с нашим богом на небе, это личное, и нам не нужен никто, чтобы его представлять. Тот, кто хочет искать бога, конечно, говорит с теми, кто уже говорил с ним, но жрецов у нас нет, как и одного способа благодарить нашего бога. Смотри на небо и читай его знаки, вот и все.

Мать Нисы, Санктина, вроде как советница царя, Ниса назвала какое-то слово, оно показалось мне странным, и Ниса сказала, что это примерно переводится, как советник. Им разрешили завести ребенка, то есть Нису, перед их первой смертью, только за их заслуги перед царством. А теперь царь издал указ о том, чтобы все дети знатных господ стали семенем богини, то есть мертвецами, восставшими из могил.

— Это потому, — говорит Ниса. — Что нас стало слишком много. Каждый может найти себе донатора и заплатить ему, получив таким образом вечную жизнь. Можно, конечно, убивать, чтобы освободить место, но царь умнее. Он хочет прервать наш род. То есть, у меня уже не может быть детей. И у других. Сколько нас есть, столько и будет. Больше Парфия не выдержит.

— То есть, у вас кризис? — спрашиваю я. Учительница всегда говорила произносить умные фразы с умным видом, тогда никто, ничего про меня не заметит.

Ниса вскидывает бровь, потом усмехается.

— Ну, вроде того.

Приносят мою еду, она жирная и ароматная. Я редко получаю удовольствие от пищи, но сейчас как будто бы я был создан исключительно для того, чтобы что-нибудь поесть. Все соленое и масляное, исключительно вкусное. Ниса смотрит на золотистые бока картошки и на топь тыквенного супа с жадностью, а индейка вызывает у нее отчетливую грусть.

— Я любила есть, — говорит она.

— А теперь не можешь?

Она берет картошину, медленно разжевывает ее, без энтузиазма глотает.

— Не чувствую вкуса, как родители и предупреждали.

Я решаю быстро перевести тему.

— А почему вы приехали в Империю?

— Мама и папа говорят, что приходить к богине дома небезопасно, там могут быть вроде как случайности. Ну, знаешь, донатор внезапно умрет. Царь хочет, чтобы нас было меньше, так-то. Папа и мама вымолили у царя поездку сюда, вроде так будет наиболее правильно для богини. Раньше мы ездили по всему свету. Мы должны быть изворотливыми, хитрыми. Нас оставляли одних с донаторами, и мы должны были крутиться как хотим. Хочешь — купи его, хочешь дави на жалость, хочешь обещай, что сделаешь его бессмертным.

— А это можно?

— Только для тех, кто нашего народа. Но врать-то можно. А мой папа вообще держал своего донатора в пыточной и пил его кровь насильно.

— А ты что думаешь делать?

— Я говорю тебе правду.

Я отправляю в рот последний кусок картошки, допиваю газировку и говорю:

— Честность — лучшая политика.

Ниса смотрит в окно, за стеклом небо становится чище, как будто кто-то его помыл. Она говорит:

— Так! Только скажи мне, что нам есть, где поспать.

— Есть. Ты хочешь спать?

— Да не особо. Просто на солнце я, как бы так сказать, буду выглядеть очень мертвой. И чем дальше, тем мертвее. Один мой дальний предок был похож на мумию, когда я видела его во время семейных обедов.

Я даже представлять не хочу, как выглядят обеды в семье, где половина кровоядна. Я расплачиваюсь за еду, беру с собой вино, и мы выходим в рассеивающуюся ночь. За нашей спиной официантка, видимо, войдя в уборную, ругается на вполне понятном мне языке. Ниса тянет меня за собой, мы проходим через пахнущую бензином заправку.

— А почему ваша богиня хочет видеть вас мертвыми? — спрашиваю я.

— Потому что она есть жизнь, — говорит Ниса. — Жизнь неистребимая. Она может мертвое сделать снова живым. Когда к ней обратились мои предки, они уже были заражены, они умирали. Все, кроме одного. Именно от него и пошла вся порода. А остальным она дала...другую жизнь. Как у меня сейчас. Она богиня, поэтому она может все. Даже такие вещи.

И я вдруг, уже набирая номер, чтобы вызвать машину, замираю. Потом сую телефон в карман и обнимаю Нису. Она холодная и удивленная.

— Ты чего, Марциан?

— Ты мой гений, Ниса!

— О.

— Мой папа умер! Вместо него теперь другой папа! Я думал, как его вернуть! А теперь я знаю! Я все знаю! Я поговорю с богом! Мой бог вернет мне папу, потому что мы — его народ, а он — наш бог. Он сделает это, если я попрошу!

Я достаю телефон из кармана, снова набираю номер и вызываю машину. Я даю какие-то не очень ясные указания, поэтому мы с Нисой долго сидим у дороги, в пыли. Она спрашивает:

— А ты, ну... Ты такой, потому что у тебя такой народ?

— Ага.

— У вас все, ну, такие как ты?

Я пожимаю плечами.

— Очень по-разному. Кто-то видит галлюцинации, кто-то бредит, у кого-то всякие идеи, а кто-то, да, такой как я.

— Я не имела в виду, что ты...

— Дурак. Все нормально. Я не заканчивал школу. Моя учительница научила меня читать, считать, писать и к месту употреблять умные слова. Она сказала, что этого в жизни достаточно.

— Зато у тебя хорошая память.

— Память — способ организации информации в сознании.

— Что?

— Я это запомнил. Я много читаю, чтобы запоминать умные фразы, так меня учили.

Она нащупывает камушек в пыли и пускает его по асфальту, как по воде. Он прыгает, пляшет и плюхается в редкую траву на другой стороне шоссе. Мне холодно во влажной рубашке, но я стараюсь не обращать на это внимание. Нисе, наверное, всегда холодно.

— Я так всего этого не хотела.

— Ты же будешь жить вечно.

— Это клёво. Но я хотела завести семью, детей. Для меня это важно. Я не хотела становиться такой в девятнадцать лет. Я никогда не увижу себя в будущем, представляешь?

— Я тоже никогда увижу себя в будущем, потому что я всегда буду смотреть на себя в настоящем.

Она смеется. В этот момент, наконец, подъезжает некрасивая, давно немытая машинка, чьи фары похожи на грустные глаза. Она поднимает облако пыли, я чихаю, а Ниса нет.

В машине я понимаю, что очень пьян, а Ниса напряженно смотрит в окно на незнакомый ей город. Интересно, ее здесь убили или еще в Парфии? Наверное, уже здесь. Она казалась почти живой, когда я увидел ее в гробу. Но она была мертвой.

Она и сейчас мертвая.

Чтобы нас пропустили домой приходится звонить Кассию. Он выходит, сонный, но готовый убивать. Еще в машине, видя, что рассвет уже льет золото на красные крыши городских домов, Ниса повязывает платок. Когда мы выходим, она кажется очень бледной. Я думаю, что через неделю она уже не будет производить такого положительного впечатления. Пока ее можно принять за больную.

Кассий кивает на нее, спрашивает:

— Это чего?

— Это моя девушка из Анцио. Приехала ко мне.

Кассий вдруг начинает смеяться, да так что я думаю, он сейчас умрет от смеха. Кассий все смеется и смеется, будит голубей на площади перед дворцом, и они кидаются вверх, как брошенные в небо камни.

— Твоя! Девушка! У тебя, значит девушка есть!

А потом он оттягивает меня за воротник в сторону и безо всякого смеха, очень серьезно, шипит:

— Ты понимаешь, что здесь сейчас происходит? Конечно, ему плевать, будет тут жить твоя баба или нет, ему сейчас на все плевать, кроме сладостей. Но если она что-то увидит, если она проболтается.

— Она не проболтается, — говорю я. — Обещаю.

— Я убью ее.

Скорее всего, нет, думаю я, но вслух говорю:

— Но она не даст тебе повода. И ничего не увидит.

— Будет жить в твоей комнате. И следи за ней, как будто она иностранный шпион.

Она и есть, в каком-то смысле. Хорошо, что Кассий еще не слышал ее акцент.

Он все-таки нас пропускает, я провожаю Нису в мою комнату, говорю ей располагаться. В моей комнате пахнет ровно так, как и должно — прохладой нежилого помещения. Я оставляю Нису там, а сам поднимаюсь к папе и маме. Теперь я верну папу. Я улыбаюсь, еще пошатываюсь от вина. Пустая бутылка осталась на обочине, и я думаю, что нужно было ее выбросить — нехорошо все-таки мусорить.

Мама сидит у папиной постели. Рассвет делает ее похожей на тень, она выхвачена из пространства вокруг, словно ее вырезали из бумаги. Ее ладонь путешествует по папиному лбу, будто он — болеющий ребенок. Когда она замечает меня, прикладывает палец к губам.

— Он еще слаб, — шепчет она. — Может, это и хорошо.

Я смотрю на папу. Его красивое, изумительно царственное лицо абсолютно спокойно, и не скажешь, что теперь вместо него кто-то другой. Папа похож на древнего вождя нашего народа, мертвого, ждущего погребения и все такого же величественного. Я всегда хотел быть как папа, пока не понял, что значит быть мной.

Я опускаюсь на пол перед мамой, на твердый мрамор, холодный и блестящий, а потом, когда меня затапливает волна винной нежности, я кладу голову на ее теплые колени. Теперь одной рукой мама гладит папу, а другой — меня.

— Все будет хорошо, милый. Мы справимся, — говорит она. Потом долго смотрит на папу и вдруг говорит.

— Знаешь, как я его ненавидела?

Я утыкаюсь носом ей в колени, запах у ее кожи легкий, фиалковый, потом чуть отстраняюсь, смотрю ей в глаза.

— Ненавидела?

Она продолжает меня гладить, я снова прижимаюсь щекой к ее коленям и смотрю, как за окном расхаживают два голубя.

— Он был убийцей, насильником, одно его присутствие напоминало мне о моем позоре и позоре всего моего рода, — говорит мама. Голос у нее печальный, и в то же время она будто не о себе говорит.

— Я каждый день думала о том, что воткну нож ему в горло и буду смотреть, как умирает спаситель народов и убийца моей сестры. Я думала, как заберу его жизнь, жизнь великого человека, пришедшего в мой дом. И он окажется таким же как все. Но я не

решалась.

— Ты жалеешь?

Она качает головой. Мне не странно слышать это от нее. Она никогда не говорила об этом, но вряд ли мама и папа сразу полюбили друг друга. Ее слова немного режут мне слух, но не потому, что они неожиданные — скорее потому, что очень грустные.

— А потом я впервые увидела тебя. Когда я узнала, что ты у меня будешь, я не думала, что смогу тебя полюбить. Но когда увидела тебя, поняла, что не могла не любить. Я и его полюбила, когда нашла в тебе его черты. Обычно бывает наоборот, женщина любит ребенка, потому что он похож на ее возлюбленного.

Она улыбается мне, нежно и грустно, ее рука замирает у папиного лба.

— Но когда я полюбила его, о, как я его полюбила. У меня сердце разрывалось от этой любви. И сейчас разрывается. И мне безумно страшно, что я прежде желала его смерти, молилась богу, чтобы поразил его. А теперь, когда я люблю его, так невероятно люблю, когда я боюсь его потерять...

Она замолкает, так и не договорив. Я обнимаю ее колени, и мы молчим.

— Я люблю тебя, мама.

— И я люблю тебя, Марциан. Спасибо, что ты здесь.

Я улыбаюсь ей, и она ловит мой взгляд.

— Я все исправлю, — шепчу я. — Все будет хорошо, будь уверена! Я верну его!

Она улыбается, но грустно.

— Атилия сказала, ты ушел спать. Но в комнате тебя не было, и ты в грязи и в мокрой рубашке.

— Я валялся в саду.

Она крепко обнимает меня, и я закрываю глаза. Когда я чувствую, что начинаю засыпать, то встаю, пошатываясь, хотя мне не хочется, чтобы прекращалось прикосновение ее теплых рук.

— Спокойной ночи, милый, — говорит она. И я говорю ей то же самое. У двери меня встречает Атилия. Она тоже не спит.

— Мы волновались, — говорит она.

— Я видел. Как он?

— Было сложно. А ты где был в это время?

Я обнимаю ее и говорю ей, заглядывая в глаза.

— Я скажу богу, чтобы он вернул папу. Поверь мне, я пойду и поговорю с богом.

— Ты идиот, — говорит Атилия и уходит, оставляя меня в коридоре одного. Я приоткрываю дверь и вижу, что мама все еще сидит с папой.

Вернувшись в свою комнату, я обнаруживаю, что Ниса в моей майке спит в моей кровати. Когда я принимаю душ и возвращаюсь в комнату, окончательно наступает утро. Ниса спит на спине, и я вижу длинную, давно не кровоточащую рану на ее шее. Хотя пятна, наверняка, все равно останутся. Нужно будет просить ее надевать платок.

Я смотрю на нее и думаю, что мне придется спать в одной кровати с трупом. Я задвигаю шторы, комната погружается в темноту, и когда я возвращаюсь к кровати, раны уже не видно.

Я ложусь рядом, некоторое время ворочаюсь, пытаюсь устроиться. В моей кровати безумно красивая молодая девушка, но мне совершенно ее не хочется, потому что она совсем не то же самое, что живой человек.

От нее не исходит никакого тепла, поэтому я засыпаю, как будто ее нет рядом.

Я, еще толком не проснувшись, слышу:

— Марциан.

Я думаю, надо же, мне кажется, будто какая-то девушка меня зовет, но это не мамин голос и не Атилии. Наверное, мне все приснилось, и я проснусь сейчас в Анцио, в одном из похожих друг на друга, как жемчужинки в ожерелье, морских дней.

Пахнет чем-то соленым, но это не море. Что-то отчетливо кислое бьется мне в нос, холодит голову. Я широко зеваю, говорю:

— Все в порядке, сейчас я встану. Ты уже уходишь?

Я не помню как ее зовут. Вот неудобно-то вышло. Нужно, наверное, называть ее милой или, может быть, дорогой. Обычно я помню, как их зовут, потому что имена у моих девушек на ночь, в основном, очень странные — иностранные. Я пытаюсь узнать ее. Гнусавый, спокойный, даже холодноватый голос. Как волны утром, по-своему красивый, но не располагающий.

— Марциан, я никуда не уйду!

То есть, как она никуда не уходит? Она что пропустила свой самолет из-за меня?

— Тебе что негде жить?

— Да, Марциан, мне негде жить, — говорит она. — Я — Ниса.

— Приятно познакомиться, — отвечаю я. А потом открываю глаза и все вспоминаю. Это Ниса, у нас не было секса, она холодная, как камушек и теперь ее жизнь зависит от меня.

С такими вещами, как личное пространство она в Парфии, кажется, не знакомилась. Ниса лежит практически на мне, заглядывает в лицо, наклонившись ко мне так близко, что два ее желтых глаза кажутся жутковато огромными, а разница между шириной ее двух зрачков становится очевидной.

— Ты серьезно сын императора?!

Я с утра не очень хорошо соображаю, особенно у меня не получается понять, чего Ниса от меня хочет. Я говорю:

— И императрицы.

Ну, если ей вдруг нужны подробности.

— Ничего себе! Мой донатор — сын самого императора! Вот это да! Отец с матерью с ума сойдут!

— Ты про ту лесбийскую пару из-за которой мы спим в одной кровати?

Она смеется, теперь голос у нее становится веселым, пусть и ненадолго.

— А спросонья ты язва.

— Сколько сейчас времени?

— На вашем языке правильно спрашивать, который сейчас час.

На вопрос она не отвечает, поэтому мне приходится искать под подушкой телефон. Ниса, наконец, приподнимается, прохаживается по кровати. На ней только моя майка, доходящая до середины ее тощих бедер. И когда она ходит босыми ногами по кровати, майка тоже приходит в движение. Я снова закрываю глаза, а Ниса продолжает расхаживать мимо меня.

— Я пока не голодная. Но я не знаю, когда захочу есть. Это у всех по-разному. Так что я буду пока везде за тобой следовать.

Она даже не спрашивает, не против ли я. Хорошо, что я не против.

— Слушай, а что я получаю оттого, что я твой донатор?

— О, ты такой же жадный, как все в вашей Империи? — она ненадолго замолкает, а потом говорит. — Ничего. Если честно. Я могла бы соврать, но мне лень, кроме того я хочу быть с тобой честной.

Я думаю, что в Парфии определено какие-то другие отношения между мужчинами и женщинами. Ниса меня совершенно не стесняется.

— Может ты оденешься? — спрашиваю я. Наконец, открываю глаза. Она стоит на кровати, ее острые коленки, кажется, отчаянно натягивают бледную, как бумага кожу. Раны на шее не видно, но я знаю, что она там есть. В темноте ее глаза блестят, как у кошки, готовящейся к прыжку. В ней есть что-то такое раскованное, что вроде как даже не про то, что мы с ней в одной постели и можем друг друга хотеть — она просто ничего не стесняется.

— В смысле? Тут вроде не холодно.

Мне не хочется ей ничего объяснять, поэтому я ухожу в душ. Она говорит мне вслед:

— Марциан, а куда мы сегодня пойдем? Ты покажешь мне ваш Город, Марциан? Почему ваш город называется Город? Что за бред вообще?

— Потому что уже никто не помнит его настоящего названия. Раньше его называли Рим, но это название местности, где он стоит. А потом в этом Риме умерла куча людей, и никто не хотел жить в городе с таким названием. А нового не придумали, потому что когда надо что-то выдумать специально, ни у кого не получается.

Я закрываю за собой дверь и вижу ее тень, она расхаживает перед дверью в ванную, и я вдруг чувствую себя загнанным в угол зверьком. Нет, Ниса вовсе не злая, просто ее шаг — шаг как у зверя. Я умываюсь, долго чищу зубы, потому что зубы и гуманизм — самые важные ценности в жизни современного человека. Умывшись, я включаю воду в душе, чтобы Ниса думала, что я занимаюсь делом. Я смотрю в зеркало, смотрю на себя так долго, чтобы уже не вполне осознавать, что это — я.

У нашего народа нет никаких особенных даров. У нас нет идеального оружия, как у преторианцев, нет данной нашим богом вечной юности, как у принцепсов, мы не умеем быть невидимыми, у нас не получают проклятья. И, уж точно, мы не воскресаем из мертвых, голодные до крови, как народ Нисы.

Но кое-что наш бог дал нам. Он говорил: зовите меня, когда будете нуждаться в помощи. И, может быть, однажды я отзовусь.

Мы можем обращаться к нему с любыми просьбами. Чаще всего ответа ждать не приходится, но иногда он приходит дает то, чего мы желаем. Мне в детстве наш бог дал мороженое. У меня болело горло, и я рыдал, потому что хотел мороженое, а родители не разрешали, убеждали, упрашивали, обещали много мороженого потом, но я так не хотел.

Я просил и просил, и просил, и просил, а потом оно просто появилось передо мной. Шоколадное, с пахнущей деревом палочкой. Очень вкусное.

Ну, я его съел и еще сильнее заболел. Тут даже мораль какая-то возникла, я многое понял. Атилия один раз задержала поезд в Ровенну, потому что не успевала на него после экзамена. Он так и стоял, пока она не добежала до своего вагона. Машинист объявлял о неких неисправностях, его тусклый, обесцвеченный динамиком голос разносился по вокзалу, но как только Атилия вошла внутрь, поезд тронулся, будто сам по себе.



Вот как бывает. Но это все глупости, которые мы просим в отчаянии. Папа просил отравить свою кровь, и бог исполнил его просьбу. И я слышал об одном человеке, жившем тысячелетия назад за Рейном. Он просил силу, чтобы уничтожить свою деревню, потому что она была злой. Наверняка, на самом деле она не была злой или даже просто плохой — мы часто видим мир не таким, какой он на деле есть. Наш бог дал ему силу прикосновением превращать все в пепел. Так он превратил в пепел сначала всю деревню свою, а потом всех, кого любил, а потом и вообще все вокруг превращал, пока его не застрелил охотник. Наш бог может выполнить просьбу, какой бы абсурдной или губительной она ни была. Дурацкие ему, наверное, даже больше нравятся.

Но выполнит или нет, этого ты никогда не знаешь. У кого-то так раз в жизни бывало, у кого-то ни разу не было. Говорят, раньше были люди, которых бог так любил, что выполнял все их желания. Но я в это не верю. Каким был бы мир, если бы в нем становились реальными все чаяния умалишенных?

А может он таким бы и был.

Я смотрю на себя в зеркало, пытаюсь сосредоточиться. Нужно только смотреть в себя, и там всегда найдешь бога. Я хочу вспомнить ощущение, которое испытывал, стоя на табуретке в ванной, смотря на себя самого и безумно желая мороженого. Я еще повторял: шоколадное, шоколадное, шоколадное мороженое.

— Папа, — говорю я. — Папа. Отец.

Глаза у меня будто прозрачные, зрачки пульсируют, как мое собственное сердце в груди. Когда мне кажется, что у меня уже чужие глаза, я говорю:

— Отец! Прошу тебя, верни мне отца! Ты же можешь! Ты все можешь! Верни мне его! Я люблю его! Я хочу, чтобы он был с нами!

Я шепчу, потом говорю, потом уже кричу:

— Давай же! Тебе что жалко? Я впервые чего-нибудь хочу по-настоящему! Я так давно у тебя ничего не просил! Я просто хочу, чтобы ты вернул его, чтобы в голове у него прояснилось! Я хочу, чтобы он был таким, как прежде!

Но ничего не получается. Я не чувствую, не могу почувствовать ту пустоту в груди, как на взлете самолета, какая была тогда. Неужели я не могу захотеть вернуть папу настолько сильно, как в детстве хотел мороженого?

В голове опять начинается боль, кусается, царапается, носится от виска к виску.

— Пожалуйста! — говорю я. — Пожалуйста, послушай меня! Папа не заслуживает того, что с ним случилось! Он пытался нам всем помочь! Он вместо тебя заботится о своем народе!

Но бог ничего не берет из меня, я все еще полон, пустота в груди не приходит. И тогда я, в секунду испытав столько злости, сколько никогда не испытывал, бью по зеркалу кулаком. Раздается треск, и меня в зеркале не остается, осколки валяются в раковину с почти музыкальным звоном, а руки у меня становятся красными, будто я окунул костяшки пальцев в сироп.

Я кричу:

— Ты нужен мне, нужен, нужен! Вернись, папа! Где ты?!

Яркие лампочки на потолке пляшут перед глазами, я кружусь на месте, чтобы успокоиться. Если нервничаешь — укачай себя, это у меня с детства работает. Если больно — укачай себя. Если страшно — укачай себя. Если не знаешь что делать — ты знаешь, что делать.

Я вдруг замираю, делаю шаг к двери и понимаю, что Ниса не спрашивает, все ли в порядке, но в комнате она совершенно точно есть. И ближе ко мне, чем мне кажется.

Я словно знаю, она стоит неподвижно, прильнув к двери. Чувствует, что мои руки пахнут кровью. Я будто вижу ее, хотя на самом деле вовсе нет. Я стою неподвижно, и она неподвижно стоит, но между нами пропасть, потому что она замерла, как вещь на столе, как машина, за рулем которой никто не сидит, а я дышу, и сердце во мне бьется.

Я открываю дверь, и она действительно стоит напротив меня, смотрит. Я протягиваю ей руку, она перехватывает меня за запястье, касается языком порезов, сначала несмело, как будто инстинктивно, а потом лижет жадно, как кошка молоко. Это больно, но я терплю. Вместе с кровью, она будто еще что-то забирает, я не злюсь, не в отчаянии. И даже в голове все становится спокойнее, уходит боль, и мысли теперь ясные. Если бог не хочет слышать меня, я приду к нему и буду с ним говорить. Папа говорил, что народ воровства умеет ходить к своей богине. Я должен узнать, как.

К тому времени, как Ниса отстраняется, я совсем спокойный. Она говорит:

— Поговорил?

— Нет.

— Не получилось?

— Не получилось.

— Что теперь будешь делать?

— Теперь я найду бога и скажу ему, чего я хочу. Он меня просто не слышал.

Ради папы.

Я улыбаюсь ей, Ниса смотрит на меня с недоверием.

— Знаешь что, тебе нужно одеться в другое платье, твое грязное. Мы пойдем в Колизей! — говорю я.

— Ты серьезно?

Я смотрю на свою руку — ранки совсем небольшие, не кровят, тогда я оглядываю все вокруг, чтобы убедиться, что и с окружающим миром все в порядке. Комната у меня небольшая, большие пространства делают меня рассеянным. Здесь ничего особенного нет, мой шкаф с книжками, кровать и стол, даже телевизора нет. Я говорю:

— Ты книжку почитай пока. А я тебе принесу что-нибудь.

Я иду к Атилии. Она открывает дверь прежде, чем я постучусь.

— О, мой полезный брат. Может, спустишься к чаю?

— У меня дела. Я пойду спасать папу.

— Потрясающе, Марциан. Если бы я хоть на секунду думала, что ты не такой идиот, каким кажешься, я бы разозлилась.

— Мне нужно твое платье.

Атилия с полминуты смотрит на меня, ее глаза даже не имеют какого-либо осмысленного выражения, будто она не знает, как отреагировать. Тогда я добавляю:

— Это не для меня. Для моей девушки. У меня есть девушка.

Атилия возвращается в комнату, захлопывает дверь. Я еще раз стучусь, и она, настезь распахнув дверь, швыряет платье мне в лицо.

— Спасибо!

— Возьми свою девушку и спустись к чаю. Мама хотела тебя видеть не для того, чтобы ты спал до трех часов дня.

Я не совсем понимаю, почему она злится. Ниса ниже, чем Атилия, но, наверное, такое

платье ей сойдет, пока мы не купим что-нибудь для нее. Я возвращаюсь в комнату. Ниса сидит на подоконнике, смотрит в окно. Я думаю: все равно что кошку домой взял.

Я отдаю ей платье и отворачиваюсь, чтобы не смутить ее и себя.

— Ты спустишься со мной к чаю?

— О, тут в кармане помада.

— Атилия рассеянная. Будет невежливо, если ты будешь жить здесь и не познакомишься с моей мамой и сестрой.

— И черные очки! Класс!

— Очень рассеянная. Они — императорская семья.

Я смотрю на серые обои, на которых и рисунка никакого нет — я не люблю яркие цвета. У меня от них голова болит, поэтому в комнате все предельно блеклое. Ничего ярче глаз Нисы здесь никогда не бывало.

— Можешь смотреть.

Я оборачиваюсь. На Нисе платье Атилии выглядит странно, ей особенно нечего демонстрировать в вырезе, и платье оказывается на ней длиннее, чем рассчитано. Губы у нее накрашены красным, как вишневым вареньем, и я впервые понимаю, что у помады Атилии совершенно не кровавый оттенок. Темные очки и платок, повязанный на лицо и шею каким-то странным, но гармоничным образом, делает ее старше.

— Как я? — спрашивает она без особенной кокетливости, скорее с жадностью.

— Как вдова из детектива.

Пока я принимаю душ, я слышу, как Ниса поет. У нее очень благозвучный голос. Намного нежнее, чем когда она говорит, глубокий, морской — то есть, с переливами, как у моря волны. Она поет на незнакомом мне языке нежные песни.

— О чем это? — спрашиваю я, когда застегиваю рубашку. Мне вдруг тоже становится совсем не стыдно перед ней.

— О горьком море, — говорит она. Я не уточняю, потому что она отвечает как-то неприветливо.

Мы спускаемся вниз. Я шепчу ей:

— Только никому не хами. Будь хорошей, ладно?

— Ты забыл, что это от тебя зависит моя жизнь, а не от меня. Я не хочу обижать твоих родителей. Правда.

— Маму. Папы у меня пока нет. Но я работаю над этим.

Столовая у нас просторная и светлая, здесь такие окна, что кажется, будто все стены из них состоят, и стекла чистые настолько, что их будто и на свете нет. У солнца нет никаких препятствий, часто это неудобно для глаз, но очень красиво. За длинным столом, укрытым кружевной скатертью с торчащими, всегда накрахмаленными уголками, сидят Атилия и мама. Перед ними батальоны и батареи пирожных, печений и конфет. Никто и никогда не съедал столько, чтобы эта армия хоть вполовину поредела, но смотреть на них красиво. Здесь пахнущие молоком и коксом пудинги, вязкие, нежные ириски, леденцы с нарисованными красителем, будто акварельными, цветами, длинные трубочки и тучные, крошащиеся миндальные слойки. На чайнике, молочнике и чашках цветут розы, как будто в спирту постоявшие — болезненно яркие.

— Добрый день, мама, добрый день, сестра, — говорю я. — Я хотел бы вам представить мою девушку, ее зовут Ниса.

Я вздыхаю. Все получилось, кажется, вежливо.

— Здравствуйте, — говорит Ниса. Взгляд ее только на секунду скользит по маме и Атилии, а потом возвращается к пирожным, горящий и полный зависти. Очки она снимает и кладет в карман платья. Это и хорошо, было бы не слишком вежливо, если бы она расхаживала в очках Атилии, уже и так надев ее платье.

— Спасибо большое за платье. Я так спешила к Марциану. Дело в том, что мы хотели бы провести еще немного времени вместе — скоро я уезжаю в Парфию, и неизвестно, когда выберусь в следующий раз.

Мы садимся за стол, запах сладостей становится водоворотом, сахар, шоколад, молоко и мед вертятся вокруг, так что кажется язык мой уже чувствует их вкус.

— Очень приятно, Ниса. Я — Октавия, а это моя дочь Атилия.

Мама улыбается, выходит вовсе не вымученно, а вежливо и приветливо. Мама не умеет быть властной, но умеет быть очень вежливой — и это тоже императорское умение. Перед мамой тост с медом, его золотая, липкая спина блестит на солнце. Мама смотрит на Нису с интересом, и мне кажется, что этот интерес вызван ее чертами скорее, чем тем, что она — моя девушка. Ниса ей будто напоминает кого-то, или мама в ней кого-то высматривает.

— Ниса не особенно много ест, она аллергик...

Но договорить я не успеваю.

— У меня аллергия на кошек, — говорит Ниса, она раскладывает по тарелке пирожные, конфеты, как горсть монет ссыпает леденцы из ладони, берет два покрытых глазурью пончика, которые как два глаза смотрят на нее снизу вверх.

Я думаю, что когда она будет есть, рана на ее шее, спрятанная под платком, будет шевелиться.

Мамин взгляд скользит по окну, за которым не шумная улица, а тихий сад, цветы заглядывают в окна, как голодные дети.

— Скажите, — начинает она. — Вам понравился Анцио?

— О, потрясающий город! Сложно было сделать визу, но оно того стоило!

Я беру два миндальных пирожных и общаюсь с ними, пока мама и Атилия общаются с Нисой. Оказывается, что Ниса потрясающе врет. Она рассказывает всякие истории о том, как мы познакомились, о ее учебе на ветеринара в университете в Парфии, о строгих парфянских законах, о том, что в Парфии вовсе не так плохо относятся к Империи, как здесь многие думают, и о том, какое прекрасное в Анцио море, и как мы гуляли вдоль набережной по ночам, и я покупал ей всякие безделушки.

Я ем миндальное пирожное.

Мама будто бы отвлекается. Она мягко направляет разговор, задает вопросы, улыбается, словно бы и забывает о том, что ей грустно. Атилия больше слушает, только один раз говорит:

— Очень интересный цвет глаз.

Ниса, ничуть не смутившись, отвечает:

— Ага. У нашего народа так.

Словом, все вроде бы здорово идет. У меня на чашке роза такая красивая, что больно смотреть, как она цветет. В какой-то момент мама говорит мне:

— Марциан, милый, сегодня воскресенье, я отпустила прислугу пораньше. Ты поможешь мне убрать тарелки. И я понимаю, что чай заканчивается.

Мы с мамой уносим чашки, на кухне мама с мягким звоном опускает их на стол, говорит:

— Она чудесная девочка.

— Спасибо. Мне тоже нравится.

Взгляд у нее становится задумчивым, будто она удивляется чему-то и немного грустным, как если бы в Нисе было что-то любимое мамой и далекое от нее. А потом мама проходится пальцами над раной на моей шее — безошибочно, будто может видеть, что у меня под рубашкой. Она не касается меня, но я чувствую ее прикосновение, так и не сбывшееся, электрическое.

— Что это?

Затем ее взгляд касается ранок на моих костяшках.

— И это.

— Меня покусала кошка.

Мама молчит, и я добавляю:

— Страстная, как кошка, моя девушка. У которой аллергия на кошек. А это, — я взмахиваю рукой. — Ушибся.

— Просто будь осторожнее, хорошо? Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.

— Со мной ничего не случится, и я верну папу.

Она кивает мне. В отличие от Атилии, она никогда не общается со мной снисходительно, всегда мне верит.

— Как папа?

— Не просыпается. Снова стало дурно, хотя лихорадки нет. Сегодня я поеду к Дигне, привезу его кровь. Может быть, она что-то сможет сделать.

Дигна — моя учительница. Она всегда что-то могла.

Когда мы выходим в столовую, я вижу его, он стоит на лестнице, словно бы абсолютно здоровый. На нем его лучший костюм, будто он пришел на собственные похороны.

— Чай! — говорит он этим чужим голосом. — Без меня! Вот это я называю государственной изменой! Голову с плеч!

Я оборачиваюсь, ищу взглядом Нису и понимаю, что ее в столовой нет. По крайней мере, представления о чувстве такта в Парфии точно как у нас. Атилия поднимается из-за стола, мы с мамой стоим неподвижно, смотрим на него.

Вообще-то мы давным-давно не собирались вместе пить чай. Папа занимается делами государства, у него всегда какие-то встречи, обсуждения чего-то с сенатом и выступления перед народом, я об этом подробно не знаю, потому что там обсуждаются вещи сложные, сложнее тех, о которых я могу думать. У мамы расписание всегда гибкое — она в основном занимается благотворительностью, не потому что больше ничем не может, в конце концов это в ней императорская кровь, и ее роду дали власть. Мама просто не хочет заниматься государственными делами, ей никогда не были интересны такие вещи, но нравится помогать тем, кому плохо. Мама говорит, что помогая тем, кто нуждается в помощи, чувствуешь, что не зря живешь в этом мире. Атилия учится в университете, там их заставляют изучать международное право, и она все время злая из-за нагрузки. А я — я живу в Анцио, так что у меня уж точно ничего не получается с чаем.

Папа спускается по лестнице, шаг у него веселый, будто он слышит музыку в голове и идет ей в такт.

— И действительно, неужели вы не хотите провести со мной время? А если у нас остаются последние недели вместе? Последние дни?

Он не выглядит, как человек, который правда страдает от недостатка внимания. Папа

издевается над нами, смеется.

— Давайте поговорим! Мы ведь родственники!

Он приближается к столу, ногой отодвигает стул. Я хочу, чтобы Атилия отошла от него, но она только послушно, как хорошая дочь, садится рядом.

Глупая дочь, думаю я. Это не папа, это существо, которое надело папин костюм, влезло в папино тело, пользуется его голосом, чтобы говорить. Может, даже знает папину жизнь. Но это не папа.

Мама смотрит на меня, кажется, с сочувствием, с болью, а потом делает шаг вперед. Я пытаюсь взять ее за руку, но она мотает головой, и я отхожу от нее. Мама садится рядом с папой, на место, где она всегда сидела.

Папа смотрит на меня. Взгляд у него светлый, блестящий, как леденец. Вдруг его тонкие губы расплываются в улыбке, такой, словно он еще не сошел с ума, но все вот-вот произойдет. Улыбка, как трещина в зеркале. Папа было тридцать пять, когда он попробовал слезы бога, так что на вид ему и сейчас столько же, хотя на самом деле гораздо больше, но сейчас мне кажется, словно он и еще младше — от этой улыбки.

— Марциан, ты не подойдешь?

Я делаю еще шаг назад, упираюсь в окно, прикосновение стекла к спине заставляет меня вздрогнуть.

— О, мой мальчик, ты не понимаешь великую суть жизни! Я все еще твой отец и всегда им буду. Более того, мы с тобой похожи. Так было и будет всегда, дети похожи на своих родителей. Ты похож на меня так же, как я похож на своего отца, а тот — на своего. Вот как течет время, родной! Однажды ты будешь сидеть на этом месте и смотреть на своих жену и дочь, милых куколок, пахнущих миндалем и сливками, и это будет чудесно, потому что ты будешь знать, что можешь сделать с ними, что хочешь!

Он вдруг хватает нож, мама и Атилия одинаково дергаются, но папа только отрезает кусок покрытого белой глазурью пирожного. Отрезает сладострастно, как будто месяцами не ел, и со злостью серийного убийцы.

— Тшшш! Почему вы все такие нервные? Напряженные! Вам нужно расслабиться.

Папа никогда так не говорил, и папа никогда не расслаблялся. Он запихивает в рот пирожное, с жадностью, пачкая рот и облизываясь, будто специально, с пародийной точностью воспроизводит грубость, совершенно ему не свойственную.

— Тебе нужна помощь, Аэций, — говорит мама. Голос у нее очень тихий, еще тише обычного.

— Правда? — спрашивает он. На губах у него клубничный джем, кровь пирожного, он оставляет яркий, липкий поцелуй у мамы на подбородке. — А я так не думаю! Я только начал жить. Теперь все изменится! Я все изменю! Само время здесь повернется вспять!

Я смотрю в его лицо, пытаюсь узнать, определить, понять, но ничего не получается. У него грязные, затуманенные глаза, блуждающая и зубастая улыбка, в нем ничего от моего отца, но столько витальной силы, сколько никогда не было в нем.

— О, Октавия, скажи мне, что значит этот дом, полный крови, в сравнении с той кровью, которую я буду лить по всей Империи? Сегодня же издам указ! Давай обезглавим всех, кто завтракает омлетом! Это такая безвкусица! Давай заставим матерей нести головы своих первенцев к алтарю! И, угадай, кто будет первой в этом нелегком деле? Мы можем столько сделать! Я всю жизнь хотел творить историю, изменять мир вокруг! Я хотел дать моему народу все! Но лучшее, что я могу сделать на самом деле — заставить Империю

захлебнуться кровью!

Он подтягивает к себе леденцы, разгрызает сразу пять штук, запивает из медом, облизывая губы жадно, безумно, мне снова приходит на ум, что он — человек, который страдал от голода несколько недель. Он подцепляет крем с одной из булочек, отправляет в рот пальцами, облизует их. Чем больше сладостей он жадно запикивает себе в рот, тем горячее становится его речь.

— Люди не запоминают великих реформаторов! Спасителей нации! Все они только строчки в учебнике! Если хочешь бессмертия, по-настоящему хочешь бессмертия, а я хочу, залей здесь все кровью! Пусть вся Империя превратится в скотобойню, и я стану бессмертным!

Все это горячечный бред, даже я понимаю, что времена, когда император мог творить что угодно — прошли, причем с папиным появлением. Отказать во власти маме было бы сложно, само существование Империи зависит от того, правит она или нет. Но даже если мама сошла бы с ума, есть Атилия, которая может править вместо нее. А папа, которого ненавидят принцепсы, не продержится у власти и недели, если перестанет контролировать каждое свое действие и слово.

— А знаешь, что самое забавное? — смеется он. — Делать это будешь ты. Потому что они тебе не откажут, Октавия! Кто они такие, чтобы спорить с судьбой Империи! И если ты скажешь им потрошить собственных жен, они сделают это!

Папа отламывает глазурь от пончика, кладет на язык.

— Иначе я убью наших детей. Я жестокий человек! Мама и папа не предупреждали тебя, что варвары жестоки прежде, чем твоя собственная сестра добавила бодрящую порцию мышьяка в их вино? Твоя сестрица видела, как они умирали, а ты? Ты испугалась ее выдать, трусливая маленькая мышка? Тебе повезло, что появился я, и ты получила все. Трон никогда не был бы твоим, и в постели ты была бы одна. Ты должна быть благодарна мне за то, что я убил твою семью и дал тебе новую. И ты будешь делать все, что я говорю!

Мама молчит, сжав зубы. Древняя детская мудрость — не обращай внимания, и твоему обидчику наскучит. Она сама мне это говорила. Я тоже хочу молчать, но выкрикиваю:

— Не смей так говорить о ней!

— Папа, — говорит Атилия. — Ты не в себе. Ты будешь жалеть обо всем, что скажешь или сделаешь в таком состоянии.

— Разве император не может развлекаться со своим кукольным домиком? Что в этом такого чудовищного? Хочешь конфетку, девочка?

Его пальцы касаются ее губ, но Атилия отдергивает голову. Тогда папа перехватывает ее за волосы, тянет к себе. Кажется, еще секунда, и он поцелует ее, а его вторая рука хватается за плечо, даже с большого расстояния я вижу, что это больно. Он еще не сдергивает лямку ее платья, но это будто бы его следующее движение. Прежде, чем я делаю даже шаг, случается то, чего никто из нас троих не ожидает. Мама хватается испачканный в сливках и джеме нож, острый-острый, и прижимает острие к папиному горлу. Неумело, но сильно, так что я вижу, как кожа поддается лезвию.

— Отпусти ее, — говорит мама, голос ее злой, хотя и такой же негромкий. — Отпусти мою дочь, иначе, клянусь моим богом, я воткну нож в твою глотку прежде, чем ты успеешь еще хоть раз открыть свою варварскую пасть, чтобы оскорбить мой род.

Мамины глаза горят, кажется, что она дикое животное, которое выпустили из клетки, и в ее слабых, бледных пальцах столько силы, что я боюсь — она отрежет папе голову.

И тогда его будет не вернуть.

Но он обидел Атилию и маму, и оттого отчасти я хочу, чтобы так все и случилось. Папа сначала смотрит ошарашенно, потом отпускает Атилию, она без сил откидывается на стул, будто он оставил ей невидимые раны, откуда ее покидает кровь. А потом папа начинает вдруг смеяться, громко и совершенно безумно, я ни у кого прежде такого смеха не слышал. Наверное, так смеялся бы наш бог.

А потом я вижу, как у папы носом хлынула кровь, в один момент и много. Глаза у него становятся бессмысленными, потом закрытыми. Атилия вскрикивает:

— Отец!

Она снова испугана, но теперь по-другому. Мама отбрасывает нож, быстро берет его за подбородок и склоняет его голову, чтобы он не захлебнулся в крови. Она говорит:

— Сейчас, Аэций! Подожди!

И я, я тоже бросаюсь к нему, поднимаю его, чтобы унести из столовой. Все происходит совершенно без моих мыслей, в голове свистит ветер. Мама повторяет папино имя, Атилия ругается с врачом по телефону. Мы с мамой вместе заносим папу в ближайшую гостевую, кладем на пахнущую чистотой кровать, подушка тут же пропитывается кровью.

Мы с мамой тоже все в крови. Сколько вообще в папе умещается крови? Она прячется в его органах и костях, бродит под кожей, и ее так много, что она здесь все может затопить.

Кровь останавливается, но мама все равно следит, чтобы папина голова правильно располагалась. Она уходит в ванную, сует папе в нос вату, так осторожно, словно она — ювелир.

— Я хочу помочь ему.

Она кивает.

— Я знаю, Марциан. Я тоже.

Она унижена, зла, она дрожит. Когда я наклоняюсь к ней, она прижимает руку к моей щеке, тесно и нежно. Рука у нее в крови, так что мама будто отмечает меня.

— Мне нужно этим заняться, — говорю я убежденно.

— Иди, — говорит она. Мы смотрим на друга, и в теплой темноте ее глаз я вижу и боль, и любовь, и не могу определить, где что.

Атилия появляется на пороге, бледная, одна лямка платья спущена с плеча.

— Врач скоро будет.

Она поправляет платье, заметив мой взгляд, потом кидается к отцу. Они так любят его, что бы ни случилось. А я хочу, чтобы он был как прежде, чтобы и я мог его любить.

Я меняю рубашку, отмываю кровь. Нисы в комнате нет. Она обнаруживается только в саду, качается на качелях, сжав пальцами, покрытыми синеватыми пятнами остановившейся крови, веревки. Пахнет цветами, но у меня из носа не уходит запах крови.

Я говорю:

— Ты очень тактично поступила.

Она не оборачивается, продолжает качаться. Полет обнажает ее бледные коленки, которые теперь тоже будто в синяках, и в то же время она кажется такой живой и такой маленькой. Она рассекает воздух, этот звук кажется мне оглушительным, как и кровавой запах. Наверное, она сбежала из дома, учуяв его. Ей ведь еще нельзя ничью кровь, кроме моей.

Она вдруг резко тормозит, ее нога с нажимом проходится, а пальцы сильнее сжимают веревки.



— Если честно, — говорит она. — Я пошла блевать. Я и вправду больше не могу есть нормальную еду. Хотя почему я сомневалась?

Она все еще не оборачивается, поэтому я говорю:

— Нам с тобой пора. Хочешь в Колизей?

Она молчит. Тогда я обхожу ее, встаю перед качелями. Когда-то я стоял так же перед Атилией, мы были маленькими, и я качал ее.

Ниса смотрит на меня, ее желтые глаза большие и жалостливые.

— Это ужасно, — говорит она.

— Все будет хорошо, — говорю я. — Ты привыкнешь, в мире есть много чего хорошего, кроме еды.

— Да нет. Ужасно то, что с твоим отцом.

Она резко поднимается, мне кажется, что она обнимет меня, но Ниса только идет к дворцу, затем огибает его и следует к воротам. Я срываю один из цветков шиповника, догоняю ее и сую цветок ей под нос.

— Вот. Посмотри, как пахнет. Нюхать не хуже, чем есть. И смотреть на разные вещи тоже.

Она улыбается уголком губ, говорит:

— Я расстроилась, потому что мне стало тебя жалко.

И больше долгое время ничего не говорит. Только на полпути к Колизею я спрашиваю у нее.

— А что тебе еще нравится, кроме еды? Я хочу тебя узнать.

— Мне нравятся, — она задумывается, потом говорит. — Дети. Вот детей люблю. Они прикольные и искренние.

— Фу, дети противные существа. Они такие странные и непонятно, чего хотят.

— А ты что любишь, великий критик?

— Я люблю...

Я тоже некоторое время молчу. Мы идем через городские сады, и это забавно, потому что я вроде как показываю Нисе места из моего детства, ничего не говоря. Мы с мамой и Атилией часто гуляли здесь, мама сажала нас в глухой зелени и рассказывала, как император Вессалий, наш далекий предок, живший пять столетий назад, решил поселить тут розы и апельсины, и еще долго не давал тем, у кого нет денег на красоту, любоваться этим прекрасным местом. Сейчас здесь уже дорожки, киоски с мороженым, но зелень такая же глубокая, делающая прохладным даже самый жаркий день.

Я ничего этого Нисе не говорю, но кажется будто все равно делюсь. Я говорю вот что:

— Люблю в гости ходить. Правда, я лет до пятнадцати думал, что люди ходят в гости не к своим друзьям и знакомым, а просто так к кому угодно, потому что им везде рады.

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

Ниса смеется, говорит:

— Не буду критиковать тебя. Я великодушна.

А я замечаю, что трупных пятен на ее открытой коже теперь много. Может быть, их примут за синяки? К тому времени, как мы доходим до Колизея, уже становится сумеречно. Опоясывающий Колизей неон блистает, как кольцо вокруг Сатурна. Белый, красный и золотой сливаются в блестящий рекламный дождь.

Раньше, еще до великой болезни, Колизей был театром, где звери и люди играли свои роли и часто умирали. Потом в Колизее отправлялись жертвы богам преторианцев и

принцепсов, а в позапрошлом веке там провели Всемирную выставку, где каждая страна показывала, чем хороша индустриальная эпоха. Все экспонаты внутрь, конечно, не вместились, но у мамы есть пара открыток из тех времен, и там все красиво. Мне кажется, получилось здорово, потому что Колизей — древний, а машины все были новые, блестящие, хотя сейчас они тоже стали древними.

Лет пятьдесят назад Колизей превратили в огромный музейный комплекс, где рассказывали об истории Империи до великой болезни. Об Империи, которая была прежде нашей. Там собирали всякие каменные плошки, съеденные ржавчиной мечи и щиты с буквами S.P.Q.R. Я на них смотрел, по-моему это интересно, но трогать мне ничего не разрешили.

Я бы хотел прикоснуться к чему-нибудь, что настолько древнее меня. Никакого Марциана не было, но даже тогда и от самого начала человеческого времени, уже были какие-то люди, которые связывали меня с прошлым. Они жили далеко друг от друга и знать не знали, что однажды благодаря их существованию тогда на свет появлюсь я сейчас. Не то чтобы я — вершина эволюции, но приятно быть ныне живущим потомком далеких людей, пользовавшихся мечами и плошками из музея.

Я говорю:

— Очень хочу посмотреть на тех мумий, которые правят у вас в Парфии.

— Зря. Они плохо правят. Будущее принадлежит молодым. И пахнут мумии молюю.

Но мне все равно интересно, как можно сохранить разум, когда перед глазами у тебя сменяются эпохи. Наверное, никак, поэтому Ниса и недовольна.

А двадцать пять лет назад, незадолго до папиного прибытия в Вечный Город, Колизей стал торговым центром. Его отреставрировали, каменное кольцо окружило еще одно — из стекла и металла, блестящее от бесконечной рекламы, располневшее, чтобы вмещать магазины, а музей истории Рима, который стал Городом, занимает теперь семь маленьких комнатусек недалеко от скопления термополиумов, и с тех пор там всегда пахнет едой. Колизей, который прежде кто-то из великих людей называл обручальным кольцом Империи, стал теперь местом паломничества такого множества людей, какого прежде никто не мог ожидать.

И они все равно, хоть и сами этого не понимали, прикасались к истории, входя в это здание, от которого, может, остался только камень в стеклянном каркасе, но оно наследовало тому древнему месту.

А театр тут и сейчас был. Трибуны так же располагались по кругу, и звезды давали концерты в центре, чувствуя себя, может быть, гладиаторами. Но теперь в середине Колизея было не погулять — там всегда стояла аппаратура, такая дорогая, что зубы от одного взгляда на нее сводило.

Люди выходят нам на встречу, блестящие автоматические двери изредка конвульсивно клацают, желая захлопнуться, но у них никогда не появляется шанса закрыться в течении рабочего дня. Мы находимся в потоке сладко надушенных женщин, болтающих по мобильным мужчин, подростков, похожих на шумных птичек.

Внутри все блестит, даже полы, и за стеклом разные яркие вещи, которые я не люблю. Мы с Нисой вскакиваем на эскалатор, она стоит впереди меня, с интересом рассматривает все вокруг.

— Вау! Никогда такого не видела! Вот это да! Сколько всего!

— У вас в Парфии что нет магазинов?

— Они совсем не такие! Тут все такое...как будто они мне в голову залезли и увидели, о чем я мечтаю. Хочу все купить!

Она рассматривает одежду, туфли, технику, книжки, косметику и безделушки с восторгом девочки, попавшей в такой магазин в первый раз.

А я еду молча, пытаюсь понять, почему опять начинает болеть голова. А потом, когда понимаю, вдруг говорю.

— Мне очень грустно и плохо.

Раньше я мог говорить об этом только маме, но сейчас мама и сама с ума сходит от горя. И мне странно произносить это для человека (или уже нет), с которым мы знакомы меньше суток. Ниса облизывает губы, потом не спеша говорит:

— Мы будем пробовать вернуть твоего папу.

— Ты веришь, что у меня получится?

— Я в любом случае буду с тобой и буду помогать тебе.

Меня это успокаивает. Ниса разворачивается и перепрыгивает пасть эскалатора, куда неизбежно приходят все ступеньки. Эскалатор — лучшая метафора смерти, которую я встречал.

На втором этаже стены белые и всюду фотографии с голодными детьми и блестящими мостами.

— Что за бред? Где магазин игрушек? — спрашивает Ниса. Я говорю:

— Остался внизу. Здесь начинается искусство. Мы сейчас пойдем к одному моему знакомому, он связал с этим местом жизнь, так что он тут всегда. Он мне поможет. Только ты не удивляйся особенно, хорошо?

— Хорошо. Слушай, если у вас столько косметики, почему ваши мужчины не украшают себя?

Тогда я понимаю, что вряд ли современное искусство так уж ее удивит.

Все здесь неровно, неправильно, углы вырастают не пойми откуда, и комнаты, которым полагается быть квадратными или хотя бы круглыми, вообще не представляют собой правильных фигур. Иногда прямо посреди коридора возникают ниши, иногда комнаты такие узкие, что протискиваться туда надо по-одному. Но я точно знаю, что Юстиниан здесь, потому что если в его жизни и есть что-нибудь постоянное, то это искусство.

Наконец, после бессмысленных, наскучивших Нисе блужданий, я слышу его голос. Он кричит:

— Остановите историю!

Я иду на голос, и Ниса идет за мной. Мы оказываемся в маленькой, затемненной комнатухе, где белые стены кажутся голубыми из-за света прожектора. Юстиниан стоит в центре, окруженный людьми и совершенно обнаженный.

— Он что поехавший? — спрашивает Ниса.

— Нет, — говорю я. — То есть, не совсем. Он — художник.

Юстиниан был художником столько, сколько я его знаю. А я знаю его очень и очень долго, с семи лет. Я знаю его дольше большинства людей на свете, с которыми я знаком. Юстиниан — сын моей учительницы, мы ровесники. У него есть старшие брат и сестра, которые меня задирали. Юстиниан тоже задирает меня, но называл это искусством с тех пор, как смог сформулировать, чем именно он хочет заниматься.

Мы с ним не виделись год, с тех пор, как я приезжал из Анцио в последний раз. Тогда он позвал меня в Колизей, смотреть как он живет в клетке вместе с волком.

Вроде как он еще два дня провел с этим волком, пока зверь его не покусал. Я спросил Юстиниана, что это значит, и Юстиниан ответил:

— Искусство не должно быть привязано к практикам означивания, то что делаю я лишь манифестирует твою собственную психическую жизнь и фантазмы, свойственные тебе.

А я сказал:

— Тогда ты просто сидишь в клетке с волком?

Юстиниан кивнул с самым незащитным выражением лица, которое я когда-либо видел у человека, а потом подмигнул мне и сказал:

— Но ты все-таки скажи, если тебя просят, что видишь в этом трагический разрыв между звериной сущностью человека и его цивилизованным сознанием, запертыми в одном теле и обреченными на трагические противоречия в духе раннего психоанализа.

— Ладно. Я могу напутать.

— Запомни: противоречия аполлонического и дионисийского начал!

Юстиниан вроде как умеет рисовать, в школе он делал это хорошо, если только приносил мне картины, которые действительно сам создавал. После школы он рисовал, в основном, полосы, сказав, что отказывается от фигуративной живописи. Он объяснил мне, чем слова "фигуральный" и "фигуративный" отличаются, и поэтому мне есть за что быть ему благодарным. Потом Юстиниан бросил свои полосы, я думал, он начнет рисовать круги, но он больше совсем ничего не рисовал, только делал странные вещи. Когда я спросил его, как же его мечта стать художником, выяснилось, что он уже художник.

Юстиниан помолчал, потом лицо его просветлилось, и он сказал:

— Потому что я не стремлюсь создать артефакт, отдельный от самого себя, мой умственно отсталый друг!

— Я не умственно отсталый, — сказал тогда я.

— Не переживай, устоявшейся и стабильной идентичности, которую способны выразить слова все равно не существует.

— Что ты сказал?

— А я говорил тебе, что ты умственно отсталый!

— Это просто набор слов! В нем нет смысла!

— Ни в чем нет смысла!

Так мы поссорились и немного подрались, а потом Юстиниан стал популярным. Я не думаю, что кто-нибудь понимает, что Юстиниан делает, но всем нравится, что он делает опасные и противные вещи, рассуждая о том, где граница искусства и что им является. Я не знаю, что является искусством, но Юстиниан включил в понятие искусство волков, прыжки

из окна, сон в коробке, алкогольное отравление и поджоги.

Но я все равно уважаю его, потому что он верит во все, что делает и, может быть, искусство это только вопрос веры. Тогда у него все получается, и он — настоящий художник.

Сейчас он стоит, абсолютно обнаженный, на глазах у двух десятков людей, руки его раскинуты в предельно беззащитном жесте, а от них, как выдернутые из его тела сосуды, идут напоенные кровью пластиковые трубки. Они впиваются в странный аппарат, рядом с которым сидит девушка в глазурно-розовом платье. Она сверяется с лампочками и иногда переключает кнопки и рычажки, регулируя работу этой гудящей, жутковатой машины. Наверное, по одной трубке кровь Юстиниана в него поступает, а по другой — покидает его. Может быть, искусство в том, чтобы поддержать хрупкое равновесие, но оно, скорее, имеет отношение к медицине, чем к красоте.

Юстиниан — преторианец, и хотя он называет своим хозяином искусство, чем, наверняка, богохульствует, у него есть все те же дары, что и у других преторианцев. Но так как Юстиниан абсолютно обнажен, то горящий нож, свое божественное оружие, он в кармане не прячет, чтобы продемонстрировать свою выносливость.

В детстве мне всегда было интересно, как преторианцы ощущают отделенную от себя часть своей души. Юстиниан говорил, что это как рука или нога, ты даже не думаешь прежде, чем твое оружие появится, когда оно тебе нужно. Это твои когти, которые ты выпускаешь.

Мне хотелось бы испытать эти ощущения, но у нашего народа другие дары и другие наказания, мы по-другому пересотворены нашим богом.

Юстиниан рассредоточенный, он блаженно улыбается, словно кровь, выкачиваемая из его тела и возвращаемая туда же, приносит ему чувственное наслаждение. Я поворачиваюсь к Нисе. Она смотрит на кровь вовсе не так, как папа смотрел на сладости, не так, как смотрят на возделенных женщин, не так, как смотрят на холодную воду после долгой прогулки под жарким солнцем. Она смотрит на кровь именно так, как смотрят на кровь, только — на свою. Когда в детстве я напоролся ладонью на осколок стекла, ныряя в море, я точно так же, наверное, смотрел на то, как кровь покидает мое тело, испуганный неожиданной слабостью и чем-то алым, чего во мне больше нет.

И с тем же физиологическим ужасом Ниса смотрит на кровь сейчас. Она прижимает ладонь, покрытую фиалково-голубыми разводами, к губам. А Юстиниан вещает:

— Стрела времени делает невозможной саму жизнь! Остановите историю! Перестаньте существовать во времени, и только тогда вы поймете, что такое жизнь! Жизнь без прошлого и без будущего!

Тогда я думаю, что тут я все понимаю. Юстиниан, это человечество. В нем новая кровь, это люди приходят в мир, и уходящая кровь, это уходят из него. И эта непрерывная смена, сама идея того, что жизнь не задерживается в мире, заставляет людей страдать. Земля разворочена от сражений, ученые ищут способы продлить жизнь, и никто не знает покоя, пока движется время, все спешат умирать и рождаться.

Но все равно худшая метафора смерти, чем эскалатор.

А на боку и плече у Юстиниана два длинных шрама от проехавшихся по его телу волчьих зубов. Из-за всей этой истории с уходящей и приходящей кровью Юстиниан выглядит еще бледнее, чем обычно, и рыжина его волос кажется яркой до вспышки боли в виске.

— Зачем он это делает? — шепчет Ниса. Она все еще прижимает руку ко рту, наверное,

ей очень противно.

Яжимаю плечами. Люди смотрят на Юстиниана, улыбающегося самой отчаянной улыбкой. Он запрокидывает голову и издает совершенно дикий, страшнее звериного, вой. Яжимаю уши, в голове опять какие-то спицы, мерно крутятся, и все болит.

Юстиниан вдруг сжимает и разжимает ладонь, из ничего (хотя на самом деле из самой глубины его души, мельчайшей части его существования) появляется горящий фиолетовым нож, у него лезвие, как у тех, что на кухне лежат, чтобы ими резали мясо. Некоторые говорят, что по тому, какое у преторианца оружие, можно определить его характер. Юстиниан, в таком случае, наверное прирожденный кулинар или маньяк из фильма.

Юстиниан перехватывает рукоятку удобно и крепко, а потом легко срезает гибкие трубки, идущие к гудящей машине, рассекает пластыри, крепившие их к его запястьям. Он едва касается их лезвием, они словно плавятся от его огня. Машина тут же перестает гудеть. Трубки делают змеиные выпадывы вверх по давлением крови и опадают, разбрызгивая красное по людям вокруг. Сразу начинает пахнуть железом, люди возмущаются, кто-то отходит, а Юстиниан стоит под крохотным дождиком из крови и ловит капли языком, и он как будто чище и счастливее, чем когда-либо, как будто он в самом прекрасном из садов, или на весенних, пахнущих медом полях Элизиума, который прежде воображали себе далекие предки принцепсов и преторианцев.

Ниса прижимается ко мне, тесно-тесно, она дрожит. Наверное, со стороны просто одна из девушек, которым стало нехорошо от брызг крови. Ее тонкие, кошачьи клыки впиваются мне в шею, и я хочу ее стукнуть, потому мне больно, и это неожиданно, но вспоминаю ее отчаянный взгляд и не мешаю ей, обнимаю ее, говорю:

— Ну, ну, это всего лишь кровь, да?

Всего лишь кровь.

Я слышу голос той девушки в платье, похожем на низкокалорийное пирожное. Она кричит:

— Ты что больной?! Мы так не договаривались! Поехавший придурок! Я не хочу сесть из-за тебя!

Голос у нее резкий, и в то же время приятный. А, может быть, мне просто нравится отвлекаться на него, чтобы боль от укуса ощущалась не такой навязчивой. Я прижимаю к себе Нису, люди вокруг шумят и злятся, но не уходят. Отчасти, наверное, потому что не понимают искусство это или уже нет, и просто Юстиниан спятил. А отчасти потому, что это опыт, присутствие при событии, которое отличается от жизни, которой все мы обычно живем.

Иглы впадают из его запястий, и обессиленные черви трубочек падают на пол, теперь прозрачно-розовые, голодные без крови, как Ниса. Юстиниан танцует, разбрызгивая кровь, ее теперь не так уж много, но достаточно, чтобы брызги иногда долетали до меня и до прижимающейся ко мне Нисы. Кровь пачкает поджарое тело Юстиниана, а иногда капли с шипением разбиваются о лезвие его ножа.

Кажется, он от своих действий получает невероятное удовольствие, оттого и взгляда не оторвать. Обрызганная кровь блондинка в розовом стоит позади него, рядом с замершей машинкой, явно собранной кустарно — теперь я вижу, что она состоит из многих частей, неплохо скроенных друг с другом, но все равно разнородных, хотя основой явно был какой-то электрический насос. Девушка стоит рядом с ним, ее руки вытянуты вдоль тела болезненно и прямо, пальцы царапают кожу между платьем и чулками так, что остаются

белые полосы, быстро исчезающие под напором крови.

Кровь, кровь, кровь, всюду кровь, и у меня начинает кружиться голова. Я говорю Нисе: — Хватит.

Ее язык щекотно скользит вдоль раны, мне кажется, что он рисует между двух ранок символ бесконечности. Я не очень чувствителен к боли, а от потери крови боль и вовсе становится незначительной. Наконец, я чувствую, что клыки ее втягиваются, а тело расслабляется. Мне приходится ее удерживать, потому что она как задремавшее животное.

— Ниса! — говорю я. — Ниса, я не очень хорошо себя чувствую! Я тебя не удержу!

В этот момент оружие Юстиниана догорает, нож вспыхивает ослепительным фиолетовым и тает, как молния в небе, мгновенно. И тогда Юстиниан падает, и мы с Нисой падаем, как я ни стараюсь ее удержать. Я слышу знакомые голоса.

— Это наш брат! Не переживайте, ему ничего не будет, он просто больной человек!

Среди зрителей, почти в первых рядах, с одной бутылкой вина на двоих стоят Регина и Мессала, старшие сестра и брат Юстиниана. Они вдрызг пьяные, прекрасно разодетые и явно не изменяющие своим гедонистическим принципам.

Вот уж кто сумел остановить историю.

Они берут Юстиниана, висящего на них мертвым грузом, и небрежно тащат его за собой. С ним все будет в порядке, преторианцы не страдают от ран нанесенных им, пока горит их оружие, он скорее потерял сознание потому, что нож слишком долго пылал.

Ниса приходит в себя после короткого то ли обморока, то ли сна, я указываю ей на них.

— Просто идем туда, куда и они, ладно?

Ниса все смотрит на брызги крови вокруг. Они похожи на рассыпавшиеся ягоды или бусинки из ожерелья. Мессала впереди поскальзывается на крови, протискиваясь в узкий коридор.

Следуя за ними, мы оказываемся в медицинском кабинете. Они сгружают Юстиниана на кушетку, Регина вырывает у Мессалы бутылку вина и прикладывается к ней.

— Придурок, да? — говорит она, обнажая блестящие зубы. На ней платье, в каком обычно ходят в театр, длинное, изумрудно зеленое, потому что она тоже рыжая, а этот цвет рыжим людям особенно идет, и тяжелые ботинки, словно она куда-то тщательно одевалась, но в последний момент выяснилось, что ей предстоит не светский вечер, а охота за городом, и она успела поменять только обувь. Мессала выглядит намного более гармонично, на нем хороший костюм, хорошие туфли и очаровательная улыбка. Мессала и Регина кажутся скорее лучшими друзьями, чем братом и сестрой. Регина и Юстиниан одинаково рыжие и бледные, а Мессала темноволосый и темноглазый. Когда-то я решил, что раз Регина и Юстиниан рыжие, значит и моя учительница должна быть рыжая. Я не знаю, на кого похожи ее дети, потому что она всегда скрывает свое лицо, и потому что у них у всех были разные, никому из их детей не знакомые отцы.

У народа ведьмовства так было принято, учительница рассказывала. Ведьмами бывают только женщины, поэтому если рождается мальчик, он всегда наследует бога своего отца. Отцы Мессалы и Юстиниана были преторианцами, которые моей учительнице, видно, нравились, потому что замуж она вышла за Кассия. А отцом Регины мог быть кто угодно, она все равно была бы ведьмой, потому что ее богиня всегда спасала только женщин. Ведьмы всегда рожали много детей, чтобы сохранять свою численность, и мальчиков отдавали отцам или подкидывали в приюты, чтобы они не росли без своего народа, если отца нельзя найти.

Моя учительница в ссоре с другими ведьмами, поэтому она своих сыновей воспитала сама. А потом Кассий их выгнал, поэтому я не знаю, откуда Регина, Мессала и Юстиниан берут деньги на довольно роскошную жизнь.

Если у Юстиниана есть идеи относительно того, во что он верит и кем хочет быть, то самая главная идея его брата и сестры заключается в том, что у них нет никаких идей. Кассий говорит, что они — типичная молодежь нашего времени, им на все плевать, и они хотят только развлекаться, никогда и ни за что не отвечая. Кассий любит ворчать.

Они ведут бессмысленную и беззаботную жизнь, получают от нее удовольствие и ничего не воспринимают всерьез. Так, что, наверное, они и делают то, что Юстиниан велел сегодня делать всем — они не придают никакого значения времени и живут вне истории, ни о чем не заботясь, как будто никогда не умрут.

Поэтому мы с ними похожи в том, что ничего после себя не оставим.

Регина замечает меня, она пошатывается, расставляет руки, чтобы сохранить равновесие.

— Мессала, это что Марциан?

— Меня больше интересует прекрасная девушка рядом с ним, — тянет Мессала. Юстиниан лежит на кушетке, бледный, хотя вряд ли мертвый. Но на всякий случай я говорю:

— Он сейчас умрет, да?

— Да нет, он потерпит, — Регина махает рукой, будто отгоняя муху, замершую перед самым ее носом, а потом бросается ко мне. Ниса делает шаг назад, сдав меня без боя. Она старательно облизывает губы, но изо рта у нее все равно пахнет кровью. Здесь нет окна, поэтому Ниса вовсе не кажется мертвой, но отступая в тень все равно приобретает жутковатый вид.

Регина обнимает меня так, что это оказывается даже больнее, чем укус Нисы. От Регины резко пахнет духами, в которых сошлись в удушливом браке роза и виноград. Духи, наверное, дорогие, но оттого что Регина облилась ими со свойственной ей страстью, они кажутся похожими на мерзкую, химическую отдушку мыла.

— Я думал вы меня ненавидите, — говорю я.

Мессала пожимает плечами, вид у него самый безмятежный, словно не его брат без сознания.

— А мы тебя и ненавидим! Просто с тех пор, как ты уехал, мы так и не нашли человека еще более нелепого, чем ты, и нам было грустно.

Мессала касается пальцем скулы, будто утирает слезу. Жесты у него всегда в равной мере скупые и выразительные, а Регины — наоборот.

— Так кто же твоя спутница?

— Привет, я — Ниса.

Она осторожно выступает из тени, заглядывает, морщится от запаха духов Регины. В кабинете все белое и чистое, с навязчивым шорохом мнется клеенка на кушетке, когда Ниса ее задевает.

— О, какой чудный акцент! Такой журчащий, надо же! Может скажешь что-нибудь на своем языке, прекрасная незнакомка!

Ниса, может, и хочет сказать, но не успевает, потому что в этот момент, отталкивая ее и меня, в медкабинет врывается та самая девушка с задворок творческого проекта Юстиниана.

— Как он? — спрашивает девушка.

Регина пожимает плечами, затем приподнимает бутылку вина, дует в нее, извлекая из



стекла на редкость музыкальный звук.

— Не знаю, — говорит Регина. — Ты же врач, а тебя здесь нет.

Девушка издает рычащий, злой звук, непонятный в тональности и несложный в интерпретации, и берет с вешалки у двери белый халат, накидывает на плечи. В кармане она позвякивает ключами, достает их и отпирает шкафчик, стеклянные дверцы легонько дребезжат от ее резких движений. Она выхватывает пузырек с нашатырным спиртом, открывает его. Мессала пробует приобнять ее, говорит:

— Успокойся, ничего страшного ведь не случилось!

Но девушка сует ему под нос пузырек, и Мессала отшатывается.

— О, мой бог, Офелла, я даже почти протрезвел и понял, что делаю со своей жизнью.

Скорая помощь в виде бутылки вина тут же оказывается у него в руках.

— Спасибо, Регина, дорогая, что бы я делал без тебя?

К Юстиниану Офелла более милосердна, она пихает ему под нос ватку, смоченную нашатырем, тот морщится, как от кошмарного сна, потом так же быстро вскакивает, едва не выбив пузырек из ее руки.

— Как я был? Традиционные эстетические теории оказались непригодными для описания этого опыта?

Офелла смотрит на него с полсекунды, потом нарочито медленно отставляет пузырек, подходит к столу, с шумом выдвигает ящик и начинает бросать в него шоколадками. Яркие обертки мелькают у меня перед глазами, а потом оканчивают свой маленький полет, ударившись о Юстиниана.

— Ты меня обманул! Ты обещал, что если я соберу эту штуку, ты не будешь дергаться слишком сильно! Просто будешь нести свою чушь! А если бы ты сдох!

— Но я бы не умер, Офелла!

— Я поверила тебе!

У нее взвинченный резкий голос и большие, голубые и злые глаза с острыми точками зрачков. Она бело-розовая, как хорошо раскрашенная кукла, и очень-очень милая, девочка с открытки, оттого еще более странно видеть ее в такой ярости.

— Если бы ты только предупредил, что будешь творить что-то подобное, что ты...

— Что я готов на все ради искусства? — спрашивает Юстиниан с гордостью, и в его тщеславное лицо летит еще одна шоколадка.

Мы все смотрим на происходящее, как на еще один виток представления, такой же ненастоящий и далекий от жизни, как все предыдущее, и Офелла это понимает. Шоколадка летит в меня, но я успеваю пригнуться.

— О, — говорит Ниса, поймав ее. — Спасибо!

— Пошли вон отсюда! Это медицинский кабинет, здесь больной!

Она не выдерживает и добавляет:

— На голову больной человек!

— Я его лучший друг, — говорю я. — Потому что других друзей у него нет.

— Толпа ревет? — спрашивает Юстиниан.

— От омерзения, — говорит Мессала. — Я полагаю, кое-кто из них сейчас спустится на первый этаж, покупать себе новую одежду. Ты способствуешь развитию общества потребления, мой дорогой ультралевый братец.

Юстиниан только потягивается до хруста костей, говорит:

— Тяжело было простоять в одной позе четыре часа, но и это не предел для того, кто

создан повергать в прах традиционные методы осмысления социальной действительности! Одежду мне! Артист замерз!

В лицо ему летят рубашка и брюки, Офелла явно не из тех, кому становится легче, если выпустить пар. Юстиниан берет одну из шоколадок, разворачивает, с аппетитом кусает.

— О, я прямо чувствую, как происходит кроветворение!

Он не спешит одеваться, ест шоколад и болтает ногой, его блуждающий, вечно блестящий взгляд находит меня.

— Марциан, о, я так счастлив, что ты решил посмотреть на мое выступление!

Если честно, я надеялся, что когда мы с Нисой придем, он будет делать что-нибудь менее ужасное, к примеру, лежать на ледяных блоках, пока сверху на него капает раскаленный воск. Даже то, что я думаю о таком как о чем-то менее ужасном уже характеризует деятельность Юстиниана.

— Скажи мне, я потрясюще справился? Восприятие искусства и его целительная сила могут помочь даже людям вроде тебя, захваченным автоматизацией мышления.

Прежде, чем я успеваю что-нибудь сказать, Юстиниан переключается на Нису.

— О, прелестное создание, неужели я так впечатлил тебя, что ты решила проверить, все ли со мной в порядке?

Ниса говорит:

— Нет.

И только чуть погода добавляет:

— Я здесь с Марцианом. Он говорит, что ты художник. Но пока я поняла только то, что ты — голый.

— И изрядно оздоровившийся. Моя гениальная подруга Офелла буквально из мусора собрала мне аппарат для плазмафереза! Полагаю, токсины покинули мой организм.

— Как и некоторое количество крови, — говорит Регина. — Мы до последнего надеялись, что ты умрешь, поэтому и пришли сюда.

— Да, мы отказываемся ходить на твои перформансы, где нет риска для жизни.

— Если риска для жизни нет, это уже и не совсем перформанс, особенно для того, кто само свое тело представляет объектом искусства, — тянет Юстиниан. Он не спеша, тоже словно бы под взглядом камеры, начинает одеваться.

— И, кстати, я тебе не подруга! — говорит Офелла. — По крайней мере, теперь!

— Жаль терять кого-то столь гениального! Не переживай, Офелла, я за все заплачу!

Но Офелла его не слушает, она выходит из кабинета, затем возвращается, чтобы запереть шкаф, с лязгом захлопывает дверцы, проворачивает ключ, и так же зло уходит. А Юстиниан продолжает говорить, словно ничего не произошло.

— Рассредоточение восприятия, распад, изощренная и извращенная чувственность, и отсутствие смысла, не-смысл, должны стать приметами времени! Пустота! Наше общество, это полая внутри стекляшка, мы можем смотреть только на блеск, потому что в ней нет ни единой дыры, чтобы заполнить ее чем-либо, и ее нельзя создать, потому что это будет разрушением объекта!

— У него опять шизофазия, — говорит Регина.

— Может, он много крови потерял? — спрашивает Ниса.

— Не переживай, он с детства такой.

Мессала каким-то незаметным, почти волшебным образом оказывается рядом с Нисой, а я и не замечаю. У меня получается дилемма: стоит мне говорить, что Ниса — моя девушка

или нет?

Мессала протягивает Нисе бутылку, свет лампы тонет в зеленоватом стекле самым гипнотическим образом, я склоняю голову набок и смотрю. Ниса мотает головой, потом прикладывает руку к губам и будто смахивает что-то. Жест выходит быстрый, какой-то автоматический. Может быть, в Парфии таким образом собеседник обозначает, что принадлежит к народу, который пьет совсем иное вино, а может быть так делают трезвенники, которые не хотят лишних вопросов.

Юстиниан выхватывает бутылку из рук Месаллы.

— Девушка явно против, не стоит настаивать.

Он прикладывается к бутылке с энтузиазмом, мерные движения его кадыка говорят о жадности, с которой он пьет. Бутылка после общения с Юстинианом оказывается пуста.

— Я избавил тебя от лишних неудобств! — говорит он Нисе, а потом обнимает меня за плечо, прислоняется, будто мгновенно опьянел. Одежда на нем такая же броская, как слова, которые он употребляет и действия, которые предпринимает. Лакированные красные ботинки с острыми носами, узкие штаны с дырами на коленках, созданными и не естественным ходом времени, и не промышленным способом, как дань моде. Юстиниан просто самым некрасивым образом кромсал свою одежду, так что выглядела она вовсе не порванной, а прямо-таки покалеченной.

Я уверен, что и это должно о чем-то важном для него говорить. Проблема у Юстиниана одна, и состоит она в том, что кроме Юстиниана на его языке не говорит ни один человек в мире, поэтому, когда он пытается что-то сказать, то делает это экспрессивно и преувеличено ярко, как люди во время игры в шарады.

— Сколько времени прошло с нашей последней встречи, лучший друг? Впрочем, нет, не отвечай.

Он делает театральную паузу, чтобы проследить, что я не отвечу.

— Время, — продолжает Юстиниан. — Это конструктор нашего сознания, конвенциональная договоренность о подчинении нашей жизни направлению увеличения энтропии.

— Что ты несешь? — не выдерживает Ниса.

— О, началось. Лично я хочу успеть нажраться до того, как он дойдет до онтологической несостоятельности языка.

Мессала тянет Регину за руку, и она с пьяной пружинистостью поддается. На руках у Регины перчатки, скрывающие когти, как у всех ведьм. Она носит их не потому, что стесняется своей народа и богини, а потому что оружие принято носить скрытым, а не размахивать им на каждом шагу. Регина может оцарапать кого-то и проклясть, и даже если царапина будет пустяковая, последствия могут быть чудовищные. Тот бывший сенатор, которого оцарапала моя учительница, до сих пор умирает от опухоли мозга, а трое его детей, один за одним, погибли в течении нескольких лет. Но и учительница многим пожертвовала. Мне всегда было жалко того человека, но папа рассказывал, что он был злым, прилюдно оскорбил Дигну и велел ей убраться из города вместе с младенцами Региной и Мессалой.

— Мы за добавкой. Если наткнемся на бормотуху, купим ее тебе, Юстиниан, художник должен страдать!

— Подите прочь, вы не достойны видеть страдания художника после триумфа.

Ниса смеется.

— Ты очень странно говоришь. Я вроде как учила ваш язык, даже знаю всякие крутые слова типа "прикольно" или "зашибись", но ты говоришь не как...

— Все?

— Ну, не как кто-нибудь психически здоровый.

Юстиниан склоняется ко мне, от него пахнет вином, шоколадом и машинным маслом — его любимый антипарфюм.

— А она мне нравится! Ты ее сюда привел, чтобы она мне понравилась? У тебя получилось, Марциан!

Юстиниан вдруг встает на колени, глаза у Нисы делаются круглые, изумленные и будто бы еще более желтые.

— Я благодарен всем богам, своим и чужим, за то, что сегодня вижу такие изумительные глаза. Стоит умереть за этот взгляд!

Он и не знает, как легко за этот взгляд умереть. Я потираю ранку под воротником, совсем крохотную и немного болезненную. Мама бы сказала брать с собой антисептик.

Ниса делает шаг назад, смеется.

— Ты глупый такой.

— Я был глуп до этого момента, потому что мнил истинную красоту пощечиной от гиперурии, приветом из областей невообразимого света! Но теперь мне ясно, что красота вызывает не только боль от невозможности сделать ее всеобщей или абсорбировать ее, красота вызывает счастье, радость от соприсутствия и соприкосновения с ней! Спасибо тебе, прекрасная незнакомка.

— Меня Ниса зовут, я уже говорила.

Она не то что бы смущена, а скорее безмерно удивлена.

— Юстиниан, мне нужна твоя помощь, — говорю я осторожно. — Это прямо важно.

Он отмахивается от меня.

— Не мешай, я взглянул в глаза, которые ответили на все мои вопросы. Незачем больше жить! Я познал высшее счастье, а время заберет у меня его. Если не повторится миг, когда я увижу эти глаза, лучше я не буду жить вовсе!

В руке у него загорается еще более яркий, чем во время перформанса нож, он прижимает его к своей шее, и я вижу, как с шипением плавится кожа, и как выступает кровь. Я вцепляюсь в его руку, чтобы оттащить нож от его горла.

— Ты точно больной, — говорит Ниса. — Прекрати, можешь смотреть на мои глаза, чокнутый! Он из вашего народа, Марциан?

— Нет. Хотя я до сих пор поэтому удивлен.

Рука Юстиниана расслабляется, нож вспыхивает, обдав мне пальцы жаром, и пропадает. Юстиниан поднимается на ноги, говорит:

— Я помогу этому человеку, если только смогу посмотреть на тебя еще хоть немного! Я костями лягу, но сделаю то, что он просит!

— Я твой лучший друг, Юстиниан.

— Заткнись, Марциан! Дружба ничто перед очищающей силой красоты. Я экспериментировал с безобразностью, ненавистью, печалью, смертью, но никогда с настоящей красотой! Мне нужно вдохновение.

— Хорошо, хорошо, а теперь меня слушаешь?

В Юстиниану вот что странно: он с одной стороны правда верит во все, что говорит, а с другой стороны все мысли его оформляются как-то нарочито, пародийно или, как бы он сам

сказал, китчево, словно он и над собой со своими претензиями на гениальность, смеется.

Он разворачивается ко мне, у него опять отчаянные глаза, только что не влажные от слез. Я говорю:

— Мой папа очень страдает. Ему нужна помощь. Я люблю своего папу.

Я не мастер объяснений, и если в голове я все время думаю запутанными и длинными фразами, то говорить так не получается.

— Я боюсь за него и за мамочку, и за Атилию. Мне нужно найти бога, чтобы бог исправил моего папу, сделал таким, какой он был.

— Так попроси своего бога. Ваш, я слышал, может что угодно сделать, если настроение будет. Вложи всю душу, сердце свое открой, и он осенит тебя, потому что мы зависимы от тех, кого мы спасаем!

— Я не хочу слушать теологию. Я хочу, чтобы ты мне помог. Я пробовал просить у бога, он не отвечает мне.

— Так проси снова и будешь вознагражден!

— Слушай, Юстиниан, если бы он пришел сюда за банальным советом, он бы тебя сразу предупредил, — говорит Ниса. Обиделась за меня, наверное.

Юстиниан садится на кушетку, затем берет вату и пластырь, которые достала Офелла, не желавшая самостоятельно оказывать ему медицинскую помощь, и, пропитав вату антисептиком, начинает обрабатывать свои раны, которые, впрочем, уже не кровоточат. Он совершает явно привычное ему действие, и оно ничуть не отвлекает Юстиниана от разговора.

— Тогда продолжай, Марциан, — говорит он снисходительно. Я раздражен на него, но разозлиться по-настоящему в то же время не могу.

— Можно сидеть и просить бога целыми днями. Но я так не хочу. Не потому что я ленивый. А потом что это не надежно. Я пойду к богу и сам с ним поговорю. Я сумею его убедить.

Юстиниан начинает смеяться, голос у него громкий, театральный, и смех такой, как будто и сейчас со сцены раздается.

— О, бедный дурак! Сейчас, по закону жанра, я должен тебе не поверить, а ты, будучи клиническим идиотом, пойдешь и дальше выполнять свое невозможное, и в конце этой истории — выполнишь, потому что границы реального устанавливаются нами самими.

— Что ты несешь?

— Просто выполняю роль в этом спектакле, мой дорогой.

Ниса прижимает руку ко лбу, качает головой, а я продолжаю пристально смотреть на Юстиниана.

— Я не прошу у тебя сказать мне, как это делать. Мне просто нужен кто-нибудь из народа воровства. У тебя много связей, ты с людьми знаком и с разными при этом. Помоги мне, скажи с кем я могу поговорить. Мне очень важно знать, что я сделал для папы все.

— А ты не пробовал делать для папы что-нибудь более реальное?

— Я не хочу делать для него реальное. Я хочу делать то, что спасет его. Я хочу делать что-то больше реального.

Он смотрит на меня с полминуты, потом откладывает вату, подается ко мне и крепко обнимает.

— Это слова, которые я всегда мечтал услышать, Марциан! Я помогу тебе!

Он говорит так, будто я уговорил его на какое-то геройство, и все происходит в

эпическом фильме. А нужно от него всего лишь, чтобы он подсказал мне человека из воров, которых у него, наверняка, среди знакомых много.

— Почему из любого разговора надо делать твое высокое искусство?

— Нипочему. Это абсолютно бессмысленно! Не-смысл! А теперь иди, мой друг, потому что Офелла — та, кто тебе нужна. Держу пари, сейчас она поливает слезами замороженный йогурт в термополиуме для мечтательниц, надеющихся сохранить фигуру, не отказываясь от сладкого!

Я говорю "спасибо" и выхожу, не дождавшись конца его монолога, а Ниса чуть задерживается. Они ни слова друг другу не говорят, и уже через пару секунд Ниса догоняет меня, берет под руку.

— Вообще-то он, наверное, приятный.

— Ну, более приятный, чем холодное мокрое полотенце.

Мы снова попадаем в несмолкающий гул торгового центра. Ниса говорит:

— Я бы здесь все купила, а потом лежала бы дома и рассматривала все эти вещи, раскладывала бы и любовалась.

Когда она говорит слово "дом", у нее язык чуть спотыкается, и она секунду молчит, только потом продолжает, вроде бы так же весело, а не так. На площадке, где теснятся разнообразные термополиумы, найти Офеллу сложно. Я стараюсь ориентироваться на цветастое описание Юстиниана, но у меня не выходит, и я хожу туда и обратно безо всякой цели, пока Ниса не говорит:

— Вот!

Она указывает на сладко-розовую, как платье Офеллы, вывеску, которую венчает напшигованная электродами бабочка. Заведение носит гордое название "Летающий цветок". В древней Империи, которая была до болезни, люди считали, что бабочки это тоже цветы, только более самостоятельные. Мне кажется глупым называть так заведение, еще подурачки выглядят фильмы ужасов про лемуров или салоны мужского костюма под названием "Август". Помнить историю и делать вид, что она выглядит не дурачкой в реальности, это совершенно разные вещи. Я так злюсь, когда вижу почвеннические названия термополиумов и магазинов, что мне хочется предложить их создателям одеть их бабулю в ее первое детское платьице. Но это моя проблема, что я такой недовольный. У меня нет понимания постоянства — так учительница говорит. Я не могу представить, что Римская Империя существует и сейчас, когда вместо нее стоит другая. Просто существует как бы внутри, свернутая, в конце спирали, а разворачивание спирали и есть история.

Ниса щелкает пальцами у меня перед глазами. Ее пальцы теперь безо всяких синяков, стемнело, и из окон вместо света в помещение глядит темнота.

— Ты чего?

— Моя учительница — историк.

— Ну, поздравляю. Но ты не ответил на вопрос.

— Я ответил на вопрос, почему я задумался.

— Но я его не задавала!

Офеллу мы находим за столиком у фонтана. Блестящая, розовая поверхность стола, усыпанная плененными лаком блестками в виде бабочек и цветов, то и дело подвергается ударам нервных пальцев Офеллы. Я смотрю на блестки, наверное, что-нибудь такое может получиться, если пропустить сон маленькой девочки через соковыжималку.

Офелла сидит с краю, совсем рядом с шумными брызгами пенной воды. Перед ней

большая, розовая, покрытая мятым горошком креманка, в которой громоздкое сооружение из замороженного йогурта украшено клубничным сиропом и разноцветной посыпкой.

Офелла плачет над этой конструкцией, ложкой медленно смазывая башенку, завершающую себя вишней. Мы подсаживаемся к ней с двух сторон, как в фильме. В следующей сцене мы должны начать ее шантажировать. Но я не люблю и не умею шантажировать людей, поэтому говорю:

— Мне жаль, что ты расстроена.

Она вздрагивает, будто только что нас увидела, зачерпывает большую ложку низкокалорийного лакомства, и с секунду мне кажется, что сейчас оно полетит мне в глаз, но Офелла только отправляет ложку в рот. У нее милое, невероятно очаровательное лицо, но грусть делает его словно бы прозрачнее — светлеют глаза, белеют сжатые в тонкую нитку губы.

— Что вам нужно от меня? Я не знала, что все так будет. Это было абсолютно безопасно — в теории. Все вопросы к вашему чокнутому другу.

— Мы не собираемся нападать на тебя, подруга, — говорит Ниса. — Я вообще из другой страны, так что даже не знаю, как у вас тут в суд подают если что.

— В суд?!

— Да что ж ты нервная такая? Просто нам нужна помощь. Совсем небольшая. Ты ведь из народа воровства?

Она оборачивается в сторону фонтана, сжимает и разжимает руку, будто думая опустить ее в воду, чтобы охладить.

— Какая разница? Даже если и так, это не значит, что я нарушаю закон. Не все из нас нарушают закон. Вы меня в чем-то подозреваете?

— Ну, ты говоришь так, что любой бы подозревал, — говорит Ниса.

Тут она резко вскакивает, пятна крови на ее платье похожи на какие-то маленькие цветочки, которые расцвели в странном беспорядке. Она собирается уйти, но я говорю:

— Подожди, пожалуйста!

И, наверное, у меня получается настолько отчаянно, что ей становится неудобно уйти или любопытно остаться. Она оборачивается.

— Что?

Ее пальцы хватают пальцы на другой руке, гладят, мнут.

— Мой папа болеет, от этого мне плохо, и маме, и сестре. Мы все очень страдаем, нам нужен папа, хотя я много читал книжек, где наказывают тех, кто не умеет отпускать, я все равно не научился этого делать. Я не хочу, чтобы он уходил от меня навсегда. Я люблю его. И мне нужно ему помочь.

Она явно не знает, как реагировать. Раздраженное выражение с ее лица будто смыли, а новое нарисовать забыли.

— Болеет? О, богиня, это ужасно. Пусть его бог смилостивится над ним.

— Вот и я этого хочу. Офелла, пожалуйста, я хочу найти моего бога и поговорить с ним. Мне говорили, его глаза это звезды, значит я хочу найти все остальное. И поговорить с этим.

Офелла смотрит на меня еще некоторое время, словно не может сказать ни слова, чтобы не поставить себя в дурацкое положение.

— Это глупости, — говорит она. — Мне очень жаль твоего отца, но как ты найдешь бога?

— Поэтому мне и нужна ты. Ты из народа воровства, а вы видите свою богиню.

— Там все очень непросто. Это наш дар. Мы вообще больше видим, уходя под завесу.

— Это же вы умеете становиться невидимыми? — спрашивает Ниса. — У вас в Империи интересные народы, я передачу смотрела.

Офелла только кивает ей, но смотрит по-прежнему на меня. И тогда я понимаю: она добрая девочка, она мне не откажет.

— У тебя нет такого дара, и я не могу тебя научить. И даже если бы могла, то ты увидел бы мою богиню, а не своего бога. Я не знаю, как тебе помочь.

Я не отчаиваюсь, потому что, наверняка, можно найти других, кто сможет мне помочь. Вряд ли Юстиниан только ее знает в целом мире.

— Хорошо, — говорю я. — Спасибо тебе большое.

Я искренне улыбаюсь ей, а она вдруг топает ногой.

— Ладно! Хорошо! Я познакомлю тебя с людьми, которые знают больше меня. Вдруг у них есть способ. Ты этого хочешь?

— Да, я этого и хотел! Спасибо тебе!

— А теперь отвали. Встретимся у выхода, когда закончится моя смена, в девять вечера, и опаздывать не смейте.

Она уходит, кажется еще больше разозленная, и я думаю — да ее все на свете злит. Но я благодарен ей, и она, совершенно точно, хорошая девочка.

— Столько шансов пошляться по магазинам! Это судьба!

Я с тоской киваю. Обычно походы по магазинам меня утомляют.

Ниса смотрит на оставленный Офеллой замороженный йогурт, берет воткнутую в него, как флаг в заснеженную гору, ложку, загребает побольше посыпки и сиропа, отправляет в рот, и выражение ее лица ни капли не меняется. Она все еще не чувствует вкуса и не может в это поверить.

Она смотрит на воду фонтане, потом на меня, а затем снова на йогурт.

— Ты представляешь, — говорит она. — Я не узнаю, какой он на вкус. Никогда-никогда.



Я говорю Нисе, что денег у меня достаточно, чтобы купить ей одежду, но она только упрямо мотает головой.

— Ты и так меня содержишь в куда более важном смысле, так что деньги мне твои не нужны.

Некоторое время она рассматривает кожаные штаны с поясом покрытым шипами, потом кивает сама себе, говорит:

— Все-таки не содержанка.

Она прикладывает палец к губам, кусает подушечку, и я вижу каплю крови так похожую на зернышко граната. Ниса вертит штаны в руках и кладет на место.

— Ты что делаешь?

— Оставляю метку.

Она отмахивается от меня, и я решаю не переспрашивать, хотя мало что понял. Мы ходим по магазинам долго, почти мучительно. Одинаковые ряды тряпок, безделушек и мигающих экранов мобильных телефонов пляшут у меня перед глазами, как будто я очень пьян, до галлюцинаций. Всего слишком много, и я ощущаю перегрузку, как будто не тело мое таскало слишком много, а само сознание, и теперь мысли с трудом переворачиваются внутри моей усталой головы.

Ниса наоборот с восторгом заглядывает в магазины, любитесь, стоя у витрин, приникает носом к стеклу. Мне кажется, что витрины похожи на анатомические срезы, за прозрачным стеклом видны какие-то разрозненные внутренности вещей. А у манекенов нет глаз, оттого они кажутся призраками, мертвыми людьми, даже имена которых забыты на земле. И люди в магазинах особые, как будто ищут добычу. Теперь людям не надо охотиться за мясом, но дизайнерские брошки на прилавке тоже делают их взгляды темными.

Мне не нравится ходить в толпе, разглядывать выставленные под стеклом вещи, похожие то ли на органы в формалине, то ли на мертвых насекомых.

А Ниса все этого просто никогда не видела. Она трогает вещи, примеряет, даже нюхает, прыгает в новых кроссовках, чем очень расстраивает продавца и, в конце концов, ничего не покупает.

— Тебе нравится? — спрашиваю я.

— Безумно.

Впрочем, по ее голосу не понять. Ниса очень подвижная, восторг она выражает скорее телом, чем голосом, голос ее остается на той же ноте, что и всегда. Я прежде не видел таких людей, которые все время держат одну и ту же интонацию, их голоса звучат, как голоса дикторов в метро — отстраненно. Даже если в вагоне пожар, задыхаются и гибнут люди, этот голос произносит то, что однажды сказал для записи живой человек, с той же безразличной интонацией. Вот и голос Нисы словно был записан раз и навсегда и используется только для того, чтобы озвучивать ее фразы, а вовсе не для того, чтобы показать, что она чувствует.

В голове у меня долго и глухо раздается какой-то странный звон помимо всего, что я слышу: голосов, музыки, писка кассового аппарата, грохота фритюрниц в термополиумах, детского плача.

Звон этот чистый, нежный, будто часть меня находится в месте тихом и далеком, похожем на поля за городом, и там звенит само небо или с кристальной нежностью ударяются друг о друга льдинки в центре холодного, северного моря, откуда не видно никаких берегов.

Этот звон позволяет мне думать, что я на самом деле где-то в другом месте, когда закрываю глаза. Он раздаётся на границе моего сознания, и я не хочу понимать, откуда он исходит. Но когда мы с Нисой выходим, оказывается, что так звенит детская карусель с нарядными лошадками. Музыка отключена или сломалось, а вращение изымает из каких-то пружин тот самый ледяной звон. Я чувствую разочарование и радость. Разочарование потому, что ответ оказался в простой карусели, где лошадки с жемчужными уздечками носятся по кругу на радость детям и объективам фотоаппаратов. А радость я чувствую потому, что на свете может быть такой красивый звук, и возникать он может из ошибки, из неисправности, назло всем, кто не пытался его создать.

Мы выходим без пяти девять, Ниса пахнет всеми духами с длинных полок в магазине косметики.

— Я сейчас умру, ты пахнешь как синкретизм.

— Синкретизм не пахнет, это состояние культуры.

— Если оно пахло, пахло бы так, — убежденно говорю я.

— Если бы оно пахло, то пахло бы как мамонтовое жаркое и групповой брак.

— Как может пахнуть групповой брак, Ниса?

— Я бы тебе сказала, но ты слишком невинный для этого.

— Я не невинный, я занимался сексом семьдесят пять раз.

Мне нравится с ней болтать, мы как будто бездумно кидаем друг другу мяч, и не нужно заботиться о том, куда он прилетит.

Мы не ожидаем, что Офелла уже нас ждет, поэтому проходим мимо нее. Она говорит нам вслед:

— То есть, моя помощь вам уже не нужна?

Мы оборачиваемся. Пятна крови на ее платье замыты и высушены, однако их розоватые тени на без того розовой ткани все равно можно рассмотреть. Офелла сжимает тонкую сигаретку с фиолетовым фильтром, крепко затягивается и выпускает дым. У нее на ногтях прозрачный лак, свет фонаря заставляет пойманные в него блестки переливаться. Такой очаровательный, детский лак, что я уверен, если она достанет флакон, на нем будет красоваться мультяшный персонаж. Эти детские ногти выглядят особенно странно впивающимися в сигарету, когда Офелла отправляет ее в мусорное ведро.

— Нужна. Просто мы не думали, что ты придешь раньше, — говорю я. Мой голос должен звучать примирительно, по крайней мере я стараюсь, но Офелла, кажется, еще больше злится. Мы идем по площади, мимо нас люди стремятся в Колизей, а вместе с нами из Колизея. Офелла ничего не говорит, и нам с Нисой тоже не хочется. Мы идем молча, изредка Ниса облизывает подушечку пальца.

Мне кажется, мы никогда не заговорим, и все будет становится более и более неловким, пока кто-нибудь не упадет замертво от смущения. Явно не Ниса, потому что этот выход из ситуации для нее закрыт.

Офелла даже идет нервно, так быстро, словно мы неприятные личности, которые преследуют ее, а она стесняется обратиться к полицейскому. Так что я даже рад, что эту неловкую ситуацию чем-то еще более неловким прерывает Юстиниан. Он возникает перед

Офеллой на мосту, преграждая ей дорогу. Офелла делает шаг назад, смотрит на нас и, кажется, думает, что у нее один выход — броситься в Тибр.

Лица Юстиниана толком не видно, его закрывает букет роз, который он держит. Букет такой большой, что розам тесно друг с другом, и их головки, красные и белые, опасно наклоняются.

— Офелла! — говорит Юстиниан, голос у него хорошо поставленный, так что все, кому случилось пройти по мосту в этот момент, прекрасно его слышат, кое-кто останавливается. Наверное, думают, он будет делать ей предложение. Может быть, Офелла тоже так думает, потому что даже кончики ее ушей становятся красными, а значит кровь в ней кипит.

Хотя, наверное, это все же от злости.

— Что тебе от меня нужно? — она даже наклоняется к нему, чтобы говорить как можно тише.

— Я хочу извиниться! Ты — талантливая девушка, которой я должен был помочь, а не использовать в своих целях! Я чудовищен и эгоцентричен!

Я вздыхаю. Юстиниан всем это говорит, потому что считает, что самокритичность покрывает любые другие недостатки. Это не совсем так, если ей пользоваться только ради того, чтобы шумно извиняться. Я разворачиваюсь и смотрю в Тибр, в его темных водах плескаются рыбы и мусор. Я слежу взглядом за путешествием пакета, который не может определиться плыть ему или лететь, а потом, наполненный водой, уходит в темноту.

Тоже трагедия, Юстиниану бы показать, но он занят. Я слышу его голос:

— Я клянусь больше никогда не обманывать твоих ожиданий! Пугать тебя не входило в мои планы. Просто я творческая личность, а искусство живет, меняется. Повторение, репетиции, это все уже не искусство, это рыночный продукт!

— Даже тут умудрился продвинуть свою идею, — шепчет мне Ниса.

Юстиниан сбрасывает розы к ногам Офеллы, она одной ногой вступает в них, шипит, наверное, поранившись.

— Я не знаю что на меня нашло!

— Ты сумасшедший, Юстиниан!

— Мой бог — бог войны и охоты, а то, что ты принимаешь за безумие — страсть. Страсть к своему делу, разве тебе это не знакомо? Прости меня, прости! Ты столько раз спасала мне жизнь, ничто не стоило нашей дружбы!

Некоторое время Офелла стоит в розах. У нее нервные руки, прямая спина, и множество цветов у ее ног делают ее похожей на девушку с картины.

— Встань с колен!

— Сначала скажи, могу ли я искупить свою вину?

Офелла переступает через розы с брезгливостью, будто перед ней не цветы, а лужа, полная квакающих обитателей. Она собирается пройти мимо Юстиниана, но он хватает ее за запястье, прижимается лбом к ее пальцам и замирает.

Я никогда не видел сцены ни более красивой, ни более дурацкой. Опять смотрю в Тибр, а Ниса с восторгом наблюдает, свет фонарей селит солнце в желтизне ее глаз, а приоткрытый рот, кажется, сейчас радостно улыбнется.

Наконец, Офелла говорит:

— Хорошо, хорошо Юстиниан. Все ведь в порядке. Но больше я тебе помогать не буду, никогда!

— Я и не рассчитываю, Офелла, ведь главное для меня — твоя дружба!

Он вскакивает, крепко целует Офеллу в щеку, так что награждает ее красным следом.

— Так ты решила помочь Марциану? — буднично спрашивает он. Мы снова идем, наконец минуем мост. С появлением Юстиниана вся неловкость сосредоточивается на нем, но он не обращает на нее никакого внимания.

— Да, — говорит Офелла неохотно, поддерживает идею, что они вроде как снова друзья.

— А ты знаешь, что это за Марциан? Это Марциан, сын императора!

Офелла останавливается так резко, что я не успеваю затормозить, едва не сбиваю ее с ног и чувствую запаха клубничного шампуня, идущий от ее затылка. Она разворачивается ко мне, и ровно секунду мы стоим очень близко друг от друга, стоит мне наклониться к ней, и я без труда коснусь ее губ. Она смотрит на меня снизу вверх, так глаза ее кажутся еще больше. Радужка у нее светлая, а вокруг зрачка будто поднимаются темные волны, начинается шторм.

— Я не думала, что ты — тот Марциан.

— Конечно, ты же меня никогда не видела.

— Мне казалось, что ты должен быть принцепсом.

Я смотрю на нее некоторое время, потом спрашиваю:

— А почему ты думаешь, что я нет?

У нее щеки становятся как розы.

— Император болен?

— Юстиниан не умеет хранить секреты. А ты умеешь? Не нужно, чтобы кто-то это знал. Папа хороший император, но сейчас ему очень плохо.

А внутри у меня что-то хрустит, болезненно дергается, когда я вспоминаю, как он схватил Атилию.

— Мне нужно ему помочь. Но я не хочу, чтобы люди знали про папу, — продолжаю я. Хочется и еще что-то сказать, чтобы совсем ее убедить, но глаза у нее становятся горящими, как будто она сейчас будет плакать, а потом Офелла берет меня за руки, ее теплые пальцы гладят меня.

— Конечно, я тебе помогу! Если он болен, я все сделаю, чтобы ему помочь. Врачи не могут ничего сделать?

Я качаю головой.

— Поэтому ты отчаялся и решил искать бога?

Я киваю. Она рассказывает мою историю, чтобы осмыслить, я ей не мешаю.

— Я помогу тебе, поверь. Я не знаю, получится ли у тебя что-нибудь, но я сделаю все, что в моих силах. Если лучший врач Империи не может ему помочь, то...

Юстиниан заканчивает за нее:

— То остается только признать, что желание спасти его выходит за границы возможностей наличной реальности. И обратиться к силам, для которых такой границы не существует.

Он подмигивает мне, но я не понимаю, почему. Офелла сжимает мою руку, кожа у нее горячая и мягкая, а колючка на указательном пальце тонкое, серебряное и холодное.

— Мы едем ко мне домой. Если там кто и может подсказать, то мои родители! Но если они не смогут тебе помочь, ты ведь не собираешься останавливаться?

Я могу только открыть рот, потому что все слова словно съел, ни одного не осталось. Она ведет себя совсем не так, как я ожидал, и оттого мне нечего ей сказать. Поэтому я

говорю:

— Мне нужна пара минут, чтобы подумать, что я могу сказать.

— Не принимай это за надменность, он просто туго думает! — говорит Ниса. Я с отчаянием оборачиваюсь к ней. Она подобрала одну из роз и теперь вертит ее в руках, с ловкостью обходя острые шипы.

Наконец, слова находятся, я скрепляю их во фразу и выдаю Офелле.

— Спасибо тебе, я буду очень рад помощи. Но не говори никому.

— Конечно, я никому не скажу. Станет беспокойно, если кто-то узнает.

— Я исполнил свою роль в этом спектакле, два согретых жаром политического и родственного сердца бьются в унисон. Прощайте!

Юстиниан разворачивается, чтобы во второй раз пересечь мост, который мы только что прошли, и мне становится за него обидно — два раза подряд идти по одному и тому же маршруту грустно.

— Может он пойдет с нами? Ему интересно!

Офелла говорит:

— Хорошо. Может пойти с нами. Если будет держать язык за зубами. Я не буду показывать никаких секретов. Просто Марциан поговорит с моими родителями, а вам, — она смотрит на Нису, потом на замершего, не оборачивающегося Юстиниана. — Я налью чаю. И хватит с вас.

— Даже без конфет? — спрашивает Ниса, мы с ней смеемся над шуткой, понятной только нам.

Юстиниан еще некоторое время стоит на месте, будто бы не расслышал, потом оборачивается, сияет улыбкой и глазами.

— Ах, Офелла! Я так счастлив, что сердце твое оттаяло!

— Просто заткнись!

Мы идем дальше, Офелла выпускает мою руку, и это почти неприятно, как будто я привык к ее теплу. Ниса то и дело нюхает розу, потом говорит:

— А она не такая уж плохая.

— Роза или Офелла? — спрашиваю я шепотом, и Ниса сует мне под нос цветок, запах у него водянистый, едва заметный и очень нежный, как у волос Офеллы.

Только без оттенка клубничного шампуня.

Говорить мы начинаем только когда доходим до остановки. Я редко езжу на автобусах, поэтому расписание кажется мне непонятным, но мне нравятся оранжевые точки, из которых составлены цифры на табло. Офелла сверяется с ними и садится на скамейку. Я сажусь рядом с ней, рядом со мной садится Ниса, а с краю — Юстиниан. Все происходит будто бы само по себе, оттого мы все еще более неловко молчим.

Ниса крутит в руках розу, и начинается дождь. Он барабанит по остановке, и запрокинув голову, я могу увидеть тяжелые капли, осевшие на стекле, из-за света фонаря они кажутся жидким золотом. Машины теперь едут по мокрой дороге с характерным шумом, а роза в руках у Нисы кажется яркой из-за дождя, под который Ниса ее выставляет. Мы сидим в полной тишине, никого кроме нас на остановке нет. Я вдруг улыбаюсь, встаю со скамьи и выхожу под дождь. Он хлесткий и холодный, пахнет огурцами и машинами. Я кружусь под дождем, чувствуя радость.

Офелла мне поможет поговорить с ее родителями, а они помогут мне поговорить с моим богом. Я уверен в том, что никто не откажется мне помочь и для этого Юстиниану

вовсе не надо было говорить, что мой отец — император.

Неважно, кто он. Каждый знает, кто такой папа, хотя все они разные. Каждый понимает, что такое боль.

Становлюсь мокрым, стоя под холодным дождем. Там, наверху, даже пленка облаков не мешает моему богу смотреть на меня звездами. Я снова кружусь, пока не начинает казаться, что ноги не ступают на землю. Юстиниан говорит:

— Красиво, Марциан.

— Я так счастлив! Спасибо вам всем!

Они сидят и смотрят на меня, даже какие-то одинаковые в своем недоумении. А потом Офелла серьезно говорит:

— Дело в том, что твой отец дал нам все на этой земле. Мне и моим родителям, и всему нашему народу. Я не хочу, чтобы он умирал.

А я не хочу говорить ей, что он уже умер.

Мы с ней оба тогда расстроимся. Она говорит:

— Если бы не он, у нас бы и дома своего не было. Я правда хочу тебе помочь.

— Ты правда хочешь помочь себе, Офелла, потому что боишься, что еще один поворот колеса истории вернет тебя туда, откуда пришли твои родители.

— Заткнись, Юстиниан.

Я сажусь на скамейку рядом с Офеллой, она смотрит на меня.

— Ты ведь даже не знаешь, как называется мой народ. Вы говорите "народ воровства", да? У нас есть название, на нашем собственном языке, но это мир принцепсов и преторианцев, которые даже заклеить нас пытаются на латыни.

Я смотрю на нее и понимаю, что не знаю названия собственного народа. В Империи говорят — народ ослепленных, и всем плевать, как они зовут себя сами. И я никогда не общался с другими, такими как я, кроме папы и Атилии. Я далек от собственного народа и смотрю на него как принцепс.

— Просто в националистическом проекте ни у кого нет права на идентичность, кроме титульных наций, все остальные осмысляются как другие, иные, чужаки и получают соответствующие характеристики, — говорит Юстиниан.

— Сложно у вас, — говорит Ниса.

Офелла выставляет ногу, и ее балетка, мокрая, а оттого еще более блестящая, едва не соскальзывает с ее ступни.

— Я смогла окончить медицинское училище. Я не врач, всего лишь медсестра, но это кое-что. А мои мама и папа не окончили даже школу. Не потому что нельзя, а потому что жизнь у них была такая, что никак бы не получилось и есть и в школу ходить. А уж стать медсестрой моя мама могла и не мечтать, это уже было запрещено. А я могу. Но я хочу стать медицинским техником. Я в этом хороша. Это мое призвание. Только мне нужны деньги. Я с детства собирали всякие машины, собирала их хорошо. Я уже многое умею, но работать не могу, пока у меня нет диплома. Но я имею на это право. Понимаешь? Это все дал нам твой отец.

Она смотрит на меня так, будто я вообще ничего не понимаю.

А я все понимаю, и мне грустно.

— Если все будет хорошо, я попрошу папу тебя отблагодарить. Дать тебе денег.

Но она не одна такая на свете.

Мы еще некоторое время сидим молча. Дождь становится все сильнее, и вот уже дорога

течет, холодная и мокрая, несущая с собой мусор. Офелла, недовольная своей словоохотливостью, нервно озирается по сторонам, словно ищет себе компанию получше, чем мы. Ниса начинает открывать лепестки от роз, и они плывут вместе с сигаретными бычками и обертками из-под чипсов туда, где в конце концов оказывается все смытое дождем. А где, я не знаю.

Когда подъезжает автобус, Ниса выбрасывает стебель, покрытый шипами, в водосток.

— У тебя потребительское отношение к красоте, — говорит ей Юстиниан. Она сверкает своими иноземными, пшенично-желтыми глазами.

— А с чего ты взял, что цветы, это красиво?

— Я пристыжен своим импероцентризмом. А что считается красивым у вас?

Ниса проскальзывает под турникетом с подростковой ловкостью, пока я оплачиваю наши билеты. Она говорит, раскинув руки:

— Жизнь, несмотря ни на что.

Мы вчетвером садимся на задний ряд. В детстве меня здесь укачивало, но с тех пор многое изменилось. Юстиниан влезает между мной и Нисой, я думаю, что это было вовсе не обязательно, и оказываюсь прижатым к теплему бедру Офеллы. Мне хочется наклониться к ней и узнать, как пахнет ее кожа, так же сладко как волосы или совсем по-другому?

А Юстиниан вдруг спрашивает меня:

— Ты сейчас как?

Я не знаю, что ему ответить. Я чувствую радость от того, что знаю, куда иду, хотя и не знаю, куда попаду.

— Хорошо, — говорю я искреннее и улыбаюсь. Юстиниан смотрит на меня долго, у него внимательный, вечно сосредоточенный несмотря на его повадки взгляд.

— Есть на свете вещи, которые существуют вне зависимости от всех кодифицированных языков, включая время. Одна из них это любовь.

— Красиво сказал, я не понял ничего.

Пробормотав это, я отворачиваюсь к окну и смотрю, как капли дождя разбиваются о него, становясь другими каплями, поменьше. Прозрачная вода, прозрачный мир, который мы проезжаем, и только вдалеке Тибр заволакивает туман, похожий на дым от сигареты или жидкий азот, но никак не на молоко, как часто пишут в книгах.

Что сказал Юстиниан, я не могу понять. Может, он имел в виду, что я люблю своего папу, и это культурная ценность. В основном он говорит о культурных ценностях, так что, наверное, и здесь их приплел.

Я верю, что любовь — вечна, и что когда любишь кого-нибудь, сможешь весь мир перевернуть, даже если ты дурак. Мама говорила мне, что стоит однажды завести ребенка только для того, чтобы узнать, как сильно можно любить. А папа рассказывал историю о нашем народе и пробуждении нашего бога. Раньше даже говорили "Старые боги", потому что те, которым люди стали поклоняться после великой болезни были до всех прочих человеческих богов, до человечества вообще и даже до самой Земли. Они были старше пустоты в космосе, старше самой Вселенной, они не состояли из космической пыли, как мы все, не рождались и не умирали. Они просто были и долго-долго спали.

Наш народ, как и все другие народы в мире, думает, что наш бог первым пробудился из небытия. И у нас есть своя история про того, кто его пробудил. Значит, дело было так: жила-была одна женщина, она жила за Рейном, в своей деревне, встречала мужа с охоты и войны, пекла хлеб и любила своих детей. У нее были косы длинные, а руки белые, и она умела

приручать птиц. Они жили у нее, и ее дети играли с ними как с игрушками. Она была счастлива, а потом в деревню пришла болезнь.

И больше она не была счастлива. Первым умер ее муж, и она отрезала свои прекрасные косы. Когда умерла ее сестра, она изрезала свои прекрасные руки, приручавшие птиц и перерезала горлышки крылатым игрушкам своих детей. Ей казалось, что так она отвратит беду от своего самого дорогого.

Когда заболел ее любимый сын, женщина, бледная, с остриженными волосами и израненными руками ушла в лес вместе со своими детьми, и с тем, что болел, тоже. Никто не обратил на нее внимание, каждый умирал как мог, кто-то, как зверь, спасался в лесу.

Когда она вышла на поляну, где тек ручей, небо уже было полно звезд. Их было много, как ягод в корзине, и она посмотрела на них, проливая горькие слезы. Те, в кого она прежде верила, не помогли ей, а других она не знала.

Она не просила ничего и ни у кого. Но она подумала, что сам мир не заберет у нее ее мальчика, если она совершит невозможное. Она взяла острый нож и принесла в жертву своих детей, одного за одним, и самого маленького из них, совершив тем самым страшнейший грех в истории человечества.

Горячая кровь и горячие слезы, которые она проливала, убивая своих детей, разбудили нашего бога. Та женщина, от которой даже имени не осталось, своим безумием позвала его, и с тех пор звезды больше не были просто звездами.

Он обратил свои глаза к ней, и она почувствовала это, и упала на землю, раздирая лицо в кровь. Он говорил с ней, оставил в живых ее и вылечил ее сына, покрытого кровью, и сказал ей облачиться в черное, и она шла по деревьям за Рейном, спасала дурачков и безумцев. Иногда бог указывал ей на людей обычных, не примечательных ничем, таким он сам даровал безумие, как и родившимся от спасенных детям.

Вот такая история. Я помню ее слово в слово, и папа мой помнит ее так же. Ее сложили когда-то давно, и я ничего в ней не поменял, как мой папа не менял ничего, когда рассказывал мне.

Папа говорил, что полюбил маму не тогда, когда взял ее в жены, а тогда, когда понял, что она может любить так же сильно и безумно, как женщина, которая разбудила нашего бога.

Поэтому я думаю, что любовь побеждает все. Любовь может пробудить бога такого старого, что у него нет имени. И любовь поможет мне к нему попасть. Я люблю маму и папу, и Атилию. Я так погружен в свои мысли, что вздрагиваю, когда Офелла говорит:

— Вот! Добро пожаловать в мир, где принцессы и преторианцы не живут.

— О, спасибо, в такие места меня еще не звали!

— Заткнись, Юстиниан!

За окном и вправду все меняется. Мы удалились от центра, и теперь домики с террасами, дворец, Колизей, термополиумы и музеи, и неплохие отели, и хорошие отели — все осталось очень далеко. Мы едем между тесно прижатыми друг к другу, похожими на большие, давно немытые коробки домами. Сначала я думаю: они все грязные, а потом вижу, что даже проливной дождь не смывает эту серость. Даже небо над этими длинными бетонными сооружениями кажется низким, а тучи рваными, как будто их долго терзала большая небесная собака. Оттого, что везде вода, и окна в домах горят так ярко, они похожи на маяки в темноте, такие, которые никому не полезны, только путают тебя. Автобус останавливается и люди начинают выходить, хотя мне бы никогда не пришло в голову выйти



на этой остановке.

И я понимаю, я здесь никогда не был. А ведь это тоже часть Вечного Города, где я родился и вырос.

Реклама тут тусклая, магазины похожи на подъезды. Когда мы выходим, кажется, будто нас в целом мире всего четверо. Помойки здесь ярче вывесок, а на длинных пустырях с редкими клоками травы растут рогатые башни, от которых отходят натянутые провода. Далекие, раскрашенные под праздничные леденцы, красным и белым, трубы заводов выпускают густой дым, делающий небо еще ближе.

Раньше тут были только заводы, но когда папа пришел к власти, он велел отстроить однотипные дома, в которых могли бы жить народы, прибывшие в Вечный Город. Дома эти были не самыми лучшими, но уж точно более удобными, чем ветхие поселения на границе Империи. Под застройку были отданы промышленные районы, тут и сейчас не все возвели, мы то и дело проходим оставленные на ночь стройки. Я не представляю, как это — жить не в собственном доме. Не могу представить, хотя стараюсь, а все эти люди живут, как пчелы в ячейке улья.

Офелла в своем милom, насквозь вымокшем платье и шлепающих по лужам балетках кажется совсем чужой этому серому, безрадостному месту.

— Здесь живут ишем. Это наш дом.

Когда она произносит незнакомое мне слово, у нее голос меняется, словно другой человек говорит.

— Ишем? — спрашивает Ниса.

— Да. Так называется наш народ. Принцепсы и преторианцы, и даже императорские дети не утруждают себя тем, чтобы запомнить.

— Я и название собственного народа-то не знаю. Папа не говорил. А я не спрашивал.

— Было бы чем гордиться...

Она не договаривает, спотыкается о мое имя.

— Марциан! — напоминаю я. — А ты — Офелла.

Офелла смотрит на меня то ли с жалостью, то ли с раздражением, а потом уходит вперед.

— Дикая какая-то, — говорит Ниса. Но дико выглядит она. Ее мокрые темные волосы висят плетьюми, а бледное, скуластое лицо выглядит голодным. — И многие у вас так обижены?

— А в Парфии — многие обижены? Коллективная идентичность очень нежная штука, ее только тронь, — говорит Юстиниан. Он идет легким шагом, наступая во все возможные лужи, поднимая брызги. А мне не нравится поднимать брызги, я аккуратно обхожу лужи, потому что в них скрываются радуги, видные под фонарями.

В какой-то момент я понимаю, что здесь все не совсем так. Я как бы чувствую это прежде, чем думаю, что случилось. Я замираю, прислушиваюсь, потираю руки. И только через полминуты, когда остальные замечают, что я отстал, ко мне приходит важная мысль.

Здесь что-то не так. Редкие люди заходят в подъезды, выходят из магазинов, в дождь улицы пусты. Но здесь есть и еще кто-то, кто ходит мимо, и качели на тускло покрашенных детских площадках со скрипом двигаются вовсе не от ветра, не сами по себе.

Я ощущаю чье-то присутствие, как можно ощутить взгляд во сне, не открывая глаз. Я ощущаю, чувствую и ничего не вижу. Кто-то ходит мимо, случайные прикосновения донимают меня, а шагов — не слышно.

Я смотрю на Нису. Она втягивает носом воздух, обнажает то ли в улыбке, то ли в оскале белые зубки, явно не отслеживая этого. Юстиниан идет беззаботно, далеко не такой чувствительный, как мы. Под сумрачным, серым миром есть еще один, где кто-то ходит.

Офелла вдруг говорит:

— Там не бывает дождя.

И фраза эта, будто ни о чем сказанная меня пугает, хотя в ней нет ничего страшного. Я беру Нису за руку, хотя она скорее защитит себя, чем я ее.

— Здесь много людей, — шепчет она. — Ими пахнет.

От этого удивительно странное ощущение. Я знаю, что народ воровства имеет дар невидимости, так рассудила их богиня. Но в то же время, когда я кого-то не вижу, то ничего не могу утверждать.

Я не знаю, кто здесь ходит, не вижу, правда ли это люди, не знаю, видят ли они меня и чего хотят. Юстиниан говорит:

— Неуютно здесь, да?

— Для человека почувствительнее — еще как, — говорит Ниса.

— Моя душа сверхчувствительна, иногда мне кажется, я могу чувствовать присутствие мертвых.

Офелла вдруг смеется, смех у нее такой же нервный, как и она сама.

— Ты и живых-то почувствовать не в состоянии. Спроси у Марциана и Нисы.

Юстиниан поворачивается к нам, взгляд его выражает вопрос, на который я не хочу отвечать, как будто если скажу, все эти люди станут реальными. Мне неуютно на грани с тем, что мама сказала называть "страшно". В последний раз мне так было в пять и в темноте, тогда мне и объяснили про это чувство.

В могиле с Нисой все было совершенно определено, а здесь я как будто во сне. Кто-то толкает меня, и я отскакиваю. Юстиниан говорит:

— Кажется, я начинаю понимать, о чем вы. Урбанистическая среда воспроизводит беспокойство.

— Да ты тупой, — говорит Ниса. — Но начитанный.

Я смеюсь. Юстиниан говорит:

— Не обольщайся, ты такой же.

Но нам как-то не особенно весело, скорее смешно, потому что нервно. Офелла идет впереди нас, в этом море призраков.

Однажды мы все-таки сворачиваем к одному из одинаковых подъездов, цифры на кодовом замке пищат под пальцами Офеллы. Она открывает дверь, и мы оказываемся в темном, но абсолютно пустом пространстве подъезда. Это как будто попасть из холодного воздуха в страшную духоту.

В темноте я плохо вижу ступени, а места, где должны, наверное, болтаться лампочки пусты.

— Совершенно безысходное пространство.

— Не видели такого, да? — Офелла, кажется, кичится своим происхождением, но умудряется и стыдиться его тоже, в ее голосе столько всего уместается.

Никто из нас правда такого не видел. Это особое пространство, очень бедное и очень жуткое. Офелла нажимает на звонок, дверь, обитая пахнущим химией кожаным материалом, украшена металлическими пуговками, которые на фоне всего здесь почти нарядны.

Открывают нам не сразу, а когда все-таки открывают, я глазам своим не верю. Я своим

глазам часто не верю, потому что глаза, как и звезды, врут, но сейчас мне совсем странно.

В этом убогом, невероятно бедном мире передо мной стоит человек такой красоты, что мне не верится в его существование. У него надменное лицо, будто он воплощение бога. Такие глаза у людей бывают, даже у вполне хороших и приятных, это просто из-за чуть приподнятых уголков глаз и длинных ресниц кажется, что глаза надменные. Но этот человек — совсем другое дело. У него глаза холодные, даже ледяные. Он явно выглядит моложе, чем есть на самом деле, но возраст его трудноопределим. У него словно вырезанные скульптором скулы и губы, как у греческих статуй, на остром подбородке аккуратная ямочка.

Он блондин, как я или папа, но вовсе не бледный, совсем другого типа. Он как будто золотистый, так даже не загорись. Он высокий и поджарый, и руки у него красивые, с длинными, ловкими пальцами. На нем дорогой костюм с безупречно начищенными запонками и галстук синий до блеска.

Обычно мужская красота мне безразлична, хотя на красивые лица интересно смотреть, но этот человек как произведение искусства, которые так любит Юстиниан. Вот и сейчас Юстиниан восклицает:

— Я поражен в самое сердце.

— Сегодня что-то подобное ты уже говорил мне, я начинаю ревновать.

Голос у Нисы, впрочем, не такой спокойный как обычно, она тоже смущена красотой этого человека. Мужчина смотрит на нас настолько безразличным взглядом, что, кажется, совсем не замечает. Он улыбается Офелле, говорит:

— Ясна, дорогая, ты с друзьями?

На нас он и после этой фразы не смотрит. Офелла быстро обнимает его, и он гладит ее по голове, легким, забавным жестом, и еще — немного картинным, чтобы мы все успели полюбоваться на его прекрасные пальцы. Он называет Офеллу Ясной, и я не удивляюсь. У тех, кто пришел сюда вместе с папой есть свои имена и свои языки. Но в документах и в обществе они часто используют совсем другие, латинские, имена, чужие им, но распространенные в Империи.

Нас пропускают в квартиру и снова бросают из великолепия в ужасное убожество. Коридор узкий, такой что проходить приходится друг за другом. Тесный коридор переходит в тесную кухню, а с другой стороны в тесную комнату. Штукатурка на потолке угрожающе отслаивается, а когда нас приводят на кухню, я вижу как под ненадежной рамой на подоконнике пузырится вода. Мне предлагают сесть на колченогий стул, и тогда я снова чувствую чье-то иное присутствие. Кто-то стоит у окна, холод от его движения касается моей руки.

Офелла говорит:

— Вообще-то кое-кому здесь нужно поговорить с тобой, папа. Он сын императора.

Она ведь обещала никому не говорить про папу, но не про меня. Наверное, если бы она не сказала, что я сын императора, ее отец и говорить бы со мной не стал. Отец Офеллы отвечает ей что-то на незнакомом мне языке, глубоком, рычащем и певучем. Они некоторое время спорят. Отец Офеллы даже не обращает внимания на то, что спорит при посторонних. Кто-то у окна наклоняется, так что я почти чувствую прикосновение к моему плечу. Наверное, прислушивается.

— Добро пожаловать, — наконец говорит отец Офеллы. — Называй меня Децемин. Это ведь тебе нужно со мной поговорить?

— Да, — говорю я. — Здравствуйте. Меня зовут Марциан.

Он смотрит на меня почти с безразличностью, и я впервые вспоминаю о том, что я — сын императора. Обычно, когда на меня так смотрят, я об этом не думаю. Я не считаю, что все должны прощать мне мои недостатки, но Децемин смотрит на меня по-особому.

Как будто ему доставляет удовольствие безразличность ко мне только когда он знает, чей я сын. Мне он не нравится и нравится одновременно.

— Давай поговорим в комнате.

Мы снова проходим через узкий коридор, и кто-то невидимый следует за мной.

— Зачем она за ним ходит? — спрашивает Офелла.

— Ей интересно, — отвечает Децемин. Я стараюсь не показать, что мне неуютно.

В комнатке, маленькой, с продавленным диваном и стареньким, наверняка вечно барахлящим телевизором, красоты столько, что я прежде и не думал, что такое возможно где-нибудь, кроме музеев.

К стенам с высушенными как пергамент, отслаивающимися обоями приставлены картины разных стилей и эпох, от удивительных женщин, вкушающих виноград до набора блестящих треугольников, ни на что не похожих и, наверное, все выражающих. Можно было бы спросить Юстиниана, но он вместе с Нисой и Офеллой остался на кухне.

На вешалках висят платья, явно дорогие — я много таких видел на женщинах высшего света, когда еще не переехал в Анцио, и только такие носит Атилия. Те, что висят здесь, наверняка, лучшие. Идеальные, из летящих тканей или тяжелого бархата, они смотрятся в этой комнате как вырезанные из глянцевого журнала картинки. Восточные статуэтки из чистого золота, стоящие на старом пианино, украшения, висящие на гвоздях в стене, птичьи клетки с изумительными орнаментами, множество всякой всячины на столе с потрескавшимся лаком — все завораживает, я словно оказываюсь в музее. Сочетание убогой бедности и роскоши как во сне, когда ничто ни с чем не вяжется. Децемин показывает мне в сторону продавленного дивана, сам остается стоять.

Я сажусь рядом со столом, чтобы рассматривать всякие мелочи невероятной красоты: драгоценные камни, широкие золотые кольца покрытые тончайшей резьбой, в которой уместается целый сад, игральные кубики из слоновой кости, редкие монеты вроде сестерциев с изображением моего далекого предка на них, гильотинка для сигар с тончайшим лезвием и остовом красного дерева, красноватая шкатулка из какого-то редкого камня с серебряными птицами на ней, может, даже музыкальная, и еще много всего, красивого до боли в глазах, такого что сразу хочется себе. Если продать хоть половину из этого, наверняка можно оплатить Офелле обучение в лучшем университете страны.

— Офелла вам рассказала?

— Да, — говорит он. — Мне тебя жаль, но вряд ли я могу что-нибудь сделать.

Он говорит об этом без особенного сожаления, кидает дежурную фразу. Я беру со стола калейдоскоп, спрашиваю:

— Можно?

Децемин вскидывает брови.

— А ты наглый.

Но еще он говорит:

— Играйся.

Я заглядываю в калейдоскоп, кручу его, наблюдая, как разноцветные стекляшки выстраиваются в фигуры невероятной красоты, такие сложные, что их нельзя придумать.

— Я хочу, — говорю я. — Попасть к моему богу. В моем народе туда еще никто не

попадал. Но если все боги называются богами, то они устроены одинаково.

Я не говорю про папу и надеюсь, что Офелла не сказала. Децимин не вызывает у меня доверия, мне кажется, он всем разболтает. Это будет плохо.

— Ваш народ ходит к своей богине. Вы знаете, как.

Я верчу калейдоскоп. Зеркала и стекляшки меняют свои позиции, красное и золотое пляшет перед глазами, синие сердцевинки расцветают и раскрываются как бутоны.

— Я хочу знать, как попасть к своему богу. Вы ведь что-то делаете, чтобы туда попасть, да?

Как все цветет. Зеленый и желтый, снова много синего. Фигуры, которым нет названия.

— Пожалуйста, скажите мне.

Я зажмуриваю один глаз, чтобы погрузиться полностью в эту красоту.

— Мы не ходим к нашей богине, это миф, — говорит Децимин. — Ты ведь чувствовал людей снаружи, но не видел их, так? Это пчелы, они работают. Приносят богине красоту с помощью своего дара, невидимости. Но мы к ней не ходим.

Кто-то садится рядом со мной на диване. Я откладываю калейдоскоп.

— Но я слышал, что вы приносите ей вещи в ее мир.

— А ты всем глупостям веришь, которые слышал или исключительно этой? Наша богиня — богиня красоты, мы собираем ее для нее, вот и все. Такие у нас обряды. И, кстати, многие вещи мы покупаем.

Я думаю, что ничто из того, что в этой комнате есть купить нельзя никому, кроме самых знатных принцепсов. Он улыбается, поймав мой взгляд, совершенно очаровательно:

— У меня есть расписка на каждую из этих вещей, поверь.

— Я не собирался вас шантажировать, — говорю я. Меня обижает его отношение, будто я ему враг. — Там на улице много невидимых людей, это жутко. И здесь у вас грустно и красиво. Но я пришел сюда не для того, чтобы лезть в жизнь вашего народа.

— А стоило бы, если ты подобен своему отцу.

Я не подобен своему отцу. Мой отец шантажировал бы его, угрожал бы ему, может даже жизнью его дочери, если бы считал, что делает это ради правильных вещей.

— Значит все, что я слышал — неправда?

Наверное голос у меня грустный, потому что Децимин вскидывает бровь.

— Ничем не могу помочь твоему горю. Увидеть богов невозможно и попасть к ним — тоже. Никто не ходит к своим богам, мы служим им, как умеем.

Мне на секунду кажется, что даже внешний вид Децемина — способ служить его богине.

— Хотите денег? — спрашиваю я. — Хотите...чего хотите? Скажите! Я почти все могу! Хотите семейную реликвию? Хотите выкраду для вас что-нибудь? Что угодно! Я смогу! Ну или буду очень стараться! Только скажите мне, как мне попасть к богу! Где водятся боги? Мне нужно туда!

Он стоит неподвижно, лицо его как маска. Потом он выходит из комнаты. Я остаюсь наедине с чужой красотой и своим отчаянием.

Я прижимаю руки к вискам, думаю, думаю, но в голове все пустое и неважное, и тогда я ложусь на пол, чтобы кровь распределялась лучше и мысли заработали. Мне очень грустно и темно. Кто-то, кто сидел со мной на диване, и о ком я совсем забыл вдруг ложится рядом, как будто мы подростки, считающие облака. Я слышу голос над ухом.

— Мы ходим к Королеве Пчел, мы все ходим к Королеве Пчел, и она дает нам нектар,

чтобы мы могли к ней ходить.

Голос женский, быстрый, шипящий, из-за акцента понять его очень сложно. Женщина шепчет близко-близко к моему уху, и в то же время кажется, что она далека.

— Мы приносим ей красоту, и она питается ей, а нам дает нектар, и мы приносим еще. Так было всегда. Ее мир ближе, чем ты думаешь, она пульсирует совсем рядом с тобой, но ты не можешь дотронуться. Ты — чужой. У нее большое брюхо, полное нектара, но ты его не получишь.

— Я и не претендую, — шепчу я. Я говорю не потому что хочу что-то сказать, а потому что этот лихорадочный шепот невидимой женщины погружает меня в страх.

— В мире Королевы все прекрасно, — продолжает она. — Там цвета ярче, там везде красиво, и там молоко и мед, и все ячейки правильной формы. Она наказала нас, потому что если один раз заглянешь в ее мир, поймешь, что ничто на свете, больше никогда, не принесет тебе истинного удовольствия. Все ничто по сравнению с этой красотой. Лучше занятий любовью, еды и выпивки, лучше всего на свете — просто смотреть. Я тебя не вижу, но слышу хорошо. Я слышу, что тебе грустно.

— И хочешь поделиться своим счастьем?

Она хрипло смеется, а потом чья-то цепкая ладонь хватает меня за руку. Ладонь горячая и сухая.

— Когда Королева Пчел призвала нас, мы принесли ей дары, лучшее что сделали, а потом мы разорили ульи и смотрели, как течет мед. Земля пропиталась медом, и мы лежали на размякшей земле. Она сошла на землю, и мы почувствовали это. Там было особое место, место нашей богини. А где место твоего бога? Мы вручили ей самое красивое, что было у нас и пришли в ее место, потому что она звала нас. Твой бог звал тебя?

Мой бог меня не звал. Но я очень внимательно слушаю.

— Она показала нам свой мир, и с тех пор мы грабим этот, чтобы накормить ее.

В этот момент в комнату входит Децимин, я чувствую порыв ветра, оставшийся от моей собеседницы, она срывается с места.

— Я уже испугался, — говорит Децимин. — Что ты тут умрешь. Однако, обошлось.

Я быстро поднимаюсь с пола, а он смотрит куда-то в сторону от меня долгим взглядом, делающим его еще больше похожим на произведение искусства. Я сажусь на диван, и Децимин ставит мне на колени чашку со сколотым краешком. В ней плескается прозрачная жидкость, пахнувшая чем-то хвойным. Он говорит:

— С друзьями твоими я тоже выпил.

В руках у него тоже чашка и тоже полная. Он говорит:

— Смотри.

И легко выпивает половину, будто это остывший чай. Я пытаюсь сделать так же, но на меня накатывает такая горечь, что геройством оказывается уже не сплунуть. Но в груди становится легче, не так волнительно, а еще пьяно и хорошо.

— Ты не отчаивайся, — говорит Децимин таким холодным тоном, что я даже не понимаю, сказала ему Офелла про папу или не сказала.

— И не бойся. Здесь моя жена, Ретика. Она уже лет десять не показывается.

— Не хочет?

Он пожимает плечами. И я понимаю, почему на самом деле страшны эти невидимые люди на улицах и в домах, непонятно как ориентирующиеся в пространстве. Они подсели на совершенную красоту, идеальный мир Королевы Пчел. Они не хотят видеть реальность, и их

в реальности не видно. Мама Офеллы, которая помогла мне, наркоманка. Каждому народу по-своему тяжело, так все говорят.

Но мне становится грустно за Офеллу и за множество таких, как Офелла и Децимин которые никогда не увидят своих близких.

Я допиваю остатки хвойной, горькой жидкости.

— Спасибо, — говорю я. — За то, что впустили и поговорили со мной.

— И за алкоголь, — смеется он. Смех его такой обаятельный, что даже не обидишься, что он ничего мне не сказал. Его жена дала мне разгадку, больше похожую на загадку.

Нужно найти место моего бога и принести ему дары, и я попаду к нему.

Я встаю, ищу глазами Ретику, зная, что не найду ее. Я очень ей благодарен и хотел бы увидеть.

Децимин отставляет чашку, провожает меня в тесную прихожую. Юстиниан и Ниса уже там. Видимо, Офелла была еще менее приветлива. Но Децимин тут же передает ей эстафету.

— Офелла, твои друзья уже уходят.

Она показывается из кухни, затем коротко кивает нам, одаривает холодным взглядом Юстиниана и тянется к ручке двери. Перед тем как щелкнуть хлипким замком, она шепчет мне:

— Мама сказала?

Я киваю.

Мы выходим на пахнущую старой краской, сыростью и сладким мусорным духом лестничную клетку. Я говорю:

— Очень приятно познакомиться с тобой.

Юстиниан говорит:

— Еще раз приношу свои извинения за этот инцидент с твоей чудесной машиной!

Ниса говорит:

— И вид из окна у вас милый.

А Офелла захлопывает дверь перед нашими носами, оставаясь в своей маленькой, красивой и некрасивой квартире со своими странными родителями.

Сначала я рассказываю Нисе и Юстиниану, двум моим единственным друзьям — старому другу и новой подруге, что я узнал. Потом мы идем обратно в молчании, теперь для меня совсем по-другому выглядят эти темные улицы, по которым ходят невидимые, влюбленные в мир своей богини люди. Я думаю, сколько же их здесь, иногда мне кажется, что я иду в толпе, а иногда я думаю, что никого-то рядом нет, кроме Юстиниана и Нисы.

— Сколько в мире боли, надо же, — говорит, наконец, Юстиниан. — И дешевого алкоголя.

Он цокает языком, то ли досадливо, то ли вдохновенно.

— Жутковато это все! — говорит Ниса, мертвая девушка из далеких земель, и это даже смешно. — Теперь я не смогу гулять по вашему Городу, не думая о том, кого я там не вижу.

Юстиниан говорит:

— Забавно, но я об этом совершенно не задумывался, хотя знаю людей из народа воровства. Глупо же использовать невидимость для чего-то, кроме, собственно, воровства. Глупо же так ходить.

Ниса закрывает ему рот холодными, бледными пальцами.

— Ты давай еще погромче скажи.

У меня странное ощущение от того, что Ниса и Юстиниан общаются друг с другом, словно я только проводок сквозь который проводит ток между ними. Я бы тоже с радостью с ними поговорил, но у меня в голове крутятся слова Ретики. Прийти на место бога и принести самое дорогое? Самое лучшее? Они принесли — самое красивое.

Наверняка, у их народа тоже есть легенда о том, как они до этого додумались, но она к делу, строго говоря, не относится. Главное вот что: найти то место и принести то, что нужно моему богу.

Мы садимся в автобус, мокрый, с несчастными, золотыми глазами, рисующими дорожки света в темноте, где дождевые капли кажутся пылью. В автобусе тепло и пусто (или нет, я больше не знаю). Мы снова садимся на задний ряд, отчетливо не хватает Офеллы.

Я говорю:

— Я собираюсь дремать, потому что мне может присниться ответ на мой вопрос.

— Намного более гуманно, чем потрошить птиц, как наши предки в аналогичных ситуациях, — говорит Юстиниан и широко зеваает.

Ниса сидит между нами, она единственная не выглядит сонной. Интересно, спит ли она вообще как я или Юстиниан, видит ли сны? Или во сне она остается совсем в другой темноте.

Но я туда тоже однажды попаду.

Некоторое время я смотрю, как пробегает мимо музей панельной застройки, а потом горящие окна вдруг кажутся мне дымными, будто во всех домах начинается пожар, все расплывается перед глазами, и я их закрываю.

А снится мне, что я и моя семья участвуем в телешоу, которое я точно когда-то видел, но не могу вспомнить ни его названия, ни его сути. Я стою за стойкой, на которой только одна кнопка, над моей головой подмигивают зрителям лампочки. У зрителей нет лиц, поэтому я не могу их узнать, а вот у ведущего лицо определенно знакомое, но я так же не



могу вспомнить его имя, как и название шоу.

Все вокруг розовое и красное, лампочки похожи на полипы. Сначала мне кажется, что краска на стенах блестит, а потом я понимаю, что они — влажные, сочащиеся и эластичные, как мышцы в книжке про анатомию.

Я смотрю наверх и вижу, что и потолок усеян лампочками-полипами. Вместе с раскаленной проволокой в них пульсируют живые сосуды. Потолок и стены мерно сокращаются, как будто мы в чьем-то сердце или еще в каком-то живом органе. Ведущий расхаживает перед нами по полу, который всякий раз отзывается грязным чавканьем, красная, мясистая поверхность его продавливается под ботинками у ведущего.

Мы с папой, мамой и сестрой стоим за одинаковыми стойками, перед одинаковыми кнопками. Я одет, как папа — в белый костюм, между нами никакой разницы. Атилия одета как мама, в длинное, закрытое платье, с воротником стянутым на горле, наверное, очень мучительным образом. Между ней и мамой тоже нет никакой разницы.

Мы взаимозаменяемы. Эта мысль глупая, я не папа, но она все равно путешествует вокруг, она, как червь, ползает под полом, такая большая, что ее даже видно. Я давлю эту мысль ногой, поднимая брызги крови, но она выворачивается — скользкая, как и пол.

Ведущий почесывает подбородок, вид у него усталый, но у других вообще нет лиц, так что ему повезло.

— Так-так-так, — говорит он преувеличенно жизнерадостно. — Сегодня у нас в гостях императорская семья! Могли ли мы мечтать об этом?

Зрители в голос говорят:

— Нет, не могли!

Голос у них как будто на всех один и похож на рев моря.

Ведущий снова потирает подбородок, достает из кармана листок, измятый и похожий на список продуктов.

— Что ж, начнем с легендарного, окруженного ужасом и благоговением императора Аэция! Господин, в вас не осталось ни тени бывшего величия! Вы жалкий гебефренический идиот, способный осмыслить лишь сладости и кровь. Скажите, на что вы обрекаете свое государство? У вас есть оправдание?

На некоторое время воцаряется тишина, такая, что я слышу, как ток и кровь пульсируют в лампочках.

— Гражданская война, — говорит папа. У него прежний голос — спокойный, даже жутковато ровный. — Риторический арсенал межэтнических конфликтов остается очень широк, как и неравенство перед смертью.

— Тогда начнем, — говорит ведущий. Он задает вопросы очень быстро, так что я едва успеваю их расслышать:

— Вы о чем-нибудь жалеете?

— Нет, я убийца.

— Если бы вы могли что-нибудь изменить в своей жизни, что бы это было?

— Время фундаментально необратимо, но я бы стер о себе память. Я бы хотел забыть.

— Вы бы хотели, чтобы вас забыли?

— И это тоже.

— Сколько времени понадобилось вам, чтобы подавить врожденное человеческое отвращение к крови?

— Нисколько. У меня его не было.

— Почему же вы хотите забыть?

— Я устал быть частью истории.

— И время вышло! — провозглашает ведущий, лампочка над папиной головой лопается, будто от перенапряжения, орошает его кровью из разорванных сосудов, теперь они болтаются как нитки. Папа не меняется в лице, не стирает с губ кровь. Ведущий лучезарно улыбается, говорит:

— Госпожа Октавия, что до вас, неужели в глубине души вы не чувствуете удовлетворение? Разве вы не отомщены?

— Нет, — говорит она. — Я люблю его, и я хочу вернуть его.

— Тогда начнем. Разве это не эгоистично с вашей стороны?

— Я не умею отпускать. Я хочу то, что никогда не покинет меня.

— Наши зрители любят грязные подробности. Император насильствовал вас?

— Да, он брал меня на полу, как животное. В первый раз это случилось, когда он захватил дворец. За пять часов до объявления о смерти моей сестры, хотя к тому времени она уже лежала на кровати бездыханная. Она порезала вены, и я целовала ее руки, когда он вошел в комнату. Он взял меня на полу, пока моя мертвая сестра лежала на окровавленных простынях. У них так принято, они варвары.

— Вы считаете себя расисткой?

— Безусловно.

— А что случилось потом, госпожа Октавия?

— Он объявил о том, что отныне власть в Империи принадлежит всем ее народам. А у меня появился Марциан.

— Вы любите своего мужа?

— Безумно.

— Потому что вы сошли с ума от горя и позора?

Мама открывает рот, но не успевает ответить. Время вышло, лампочка взрывается с оглушительным звоном. Мама плачет, и кровь на ее щеках из красной становится розовой.

— Атилия! — объявляет ведущий. — Чудесная дочь наших правителей! Дитя любви и ненависти!

Я поднимаю руку, говорю:

— Я старший сын!

Но ведущий не обращает на меня внимания.

— Кто, по-вашему, виноват в сложившейся ситуации? — спрашивает он. Атилия смотрит на ведущего, глаза у нее злые. Она кричит:

— Я! Я! Я! Я виновата! Все произошло с папой из-за меня!

Костяшки пальцев у Атилии сбиты, искусанные губы кровят.

— Сколько экспрессии!

— Я никогда не была достаточно хорошей девочкой!

А потом Атилия издает такой силы крик, что все лампочки в студии взрываются, меня окатывает теплой кровью, зрители лишённые лиц исчезают в темноте, мама и папа тоже, и даже ведущий.

— Но почему не спросил меня? — спрашиваю я. — Я тоже хочу ответить на вопросы!

— О чем не спросили? — спрашивает Ниса. И в этот момент я понимаю, что темнота не вокруг, она у меня под веками. — Выходи давай, мы приехали!

Я чувствую усталость и мягкость после сна, но где-то в глубине щиплется тревога. Я

выхожу из автобуса, дождь закончился и воздух холодный. Мы втроем идем через городские сады, но, не дойдя до середины и не сговариваясь, садимся на скамейку.

Вокруг розы, после дождя ими пахнет еще сильнее, под луной капли на них кажутся драгоценными.

Юстиниан говорит:

— Мой дорогой друг на случай, если ты считаешь, что я самоудалюсь из этой истории, ты ошибаешься! Я буду помогать тебе всеми силами, так что обязательно держи меня в курсе происходящего. Я человек искусства, поэтому смелости мне не занимать.

Я рассеянно улыбаюсь.

— Ты говоришь так, потому что я твой лучший друг?

— Нет, я говорю так, потому что быть свидетелем исторических событий подобного масштаба, о которых в то же время мало кто знает — небезынтересный опыт.

Он поднимается, раскланивается перед Нисой.

— Кроме того, я хочу еще раз увидеть тебя.

— Что ж ты за человек такой? — спрашивает Ниса.

Но Юстиниан не удостоивает ее ответом. Он разворачивается и идет в сторону противоположную от той, куда надо нам с Нисой, по дорожке между стен зеленого лабиринта, строго следуя его правилам, как мышь, участвующая к эксперименте. Хотя какие-то правила ему приходится соблюдать.

— Так и не поняла, нравится он мне или нет, — говорит Ниса.

— Я тоже все еще не понял, — отвечаю я. Ниса спрашивает, как я себя чувствую, и я рассказываю ей свой сон. Она слушает очень серьезно, из-за ее хищных черт мне даже кажется, что нет слушателя более внимательного.

— Очень физиологичный сон, — говорит она. — И тревожный.

— Ну, я так и понял.

А она просто обнимает меня и кладет голову мне на плечо. Некоторое время мы так сидим. Потом она говорит:

— Я не хочу тебя отвлекать, Марциан, но мне снова от тебя кое-что нужно?

— Почему так часто?

— Благодарю, что мало. У всех по-разному. Мне вот нужно мало и часто, а моя мама своего донатора жрала так, что тот потом трое суток в себя прийти не мог, зато — раз в две недели.

Я чувствую себя ужином, чье сознание никого не волнует.

— Ты — циничная, — говорю я. Мы все еще обнимаемся, и она только сейчас отстраняется. Ее зубы блестят в темноте, тонкие и опасные, как коллекционное оружие, которое так нравится Кассию.

— Какие у тебя раньше были глаза? — спрашиваю я.

— Этого уже никто знать не может.

— Ты не помнишь?

Она качает головой, потом, подумав, добавляет:

— Когда умираешь, теряешь воспоминания. Вряд ли самые важные. И совсем немного. Но мелочи забываются. Я не помню, как звали мою собаку, цвет моих глаз, всю эту сентиментальную чепуху. И формулу дискриминанта тоже.

Я смеюсь, а она подается ко мне и сначала только прикасается к моей вечной ранке губами, а потом запускает туда зубы, лакает кровь. Со стороны мы, наверное, похожи на

молодых любовников — в темноте, в запахе роз, в объятиях друг друга, вот это все.

К боли я уже почти привык, но нарастающая слабость все еще пугает меня. Неожиданно для себя я глажу Нису по голове, ее тяжелые, темные кудри оказываются мягкими на ощупь. А потом я чувствую вместо ее запаха, клубнично-косметический запах Офеллы, и это очень странно.

Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на ощущениях. Ниса — детеныш хищника, но она вырастет и однажды убьет кого-нибудь из-за крови. Я не знаю, сколько ей нужно будет в будущем, но я же видел ее глаза, когда она голодна.

Между нами уже установилась какая-то связь, потому что как только голова у меня начинает кружиться, Ниса отстраняется, облизывает ранку в последний раз.

— Юный господин, это великая загадка отношений между нами и нашими донаторами. Нам нужно ровно столько, сколько вы можете дать. Физиологическая гармония в ее самой прекрасной форме, как между матерью и ее творением.

Я вздрагиваю. Грациниан стоит прямо над нами, его пальцы гладят розу, как будто она — животное, которому он чешет под горлом. Я совершенно не замечал его присутствия. В последнее время люди полюбили меня удивлять.

— Это называется ребенок, папа.

— Первое правило обращения с чужим языком: заменяй слова, которых не знаешь на те, которые помнишь, — говорит Грациниан спокойно, а потом вдруг берет ее на руки, стаскивает со скамейки, кружит.

— Пшеничка, я так соскучился!

— Папа, отпусти меня!

— Все в порядке, теперь у тебя больше никогда не закружится голова!

Я понимаю, как сильно скучаю по своему отцу, смотря на них. Грациниан опускает Нису на землю, потом прижимает ее к себе. Они говорят что-то на незнакомом мне языке, и Грациниан гладит волосы Нисы, заботливо и очень нежно.

— Ты же знаешь, — говорит Ниса. — Что тебе нельзя ко мне приходить по правилам.

Грациниан поднимает с земли фирменные пакеты, вручает их Нисе. Она заглядывает в них, улыбается, достает и рассматривает вещи, те, которые сегодня мерил, кое-что я даже узнаю. Все они черные, и все очень закрытые. Но теперь я знаю, что дело не в строгих правилах. Ниса достает и книжки, сувениры, новый мобильный телефон, какие-то совершенно бессмысленные, на мой взгляд, блестящие штуки.

Все, что она сегодня вертела в руках. Я вспоминаю, как она отмечала вещи кровью, а Ниса прыгает от радости, хотя голос ее по-прежнему остается тем же самым.

— Спасибо, папа.

Грациниан ловко перескакивает через спинку скамейки, садится рядом со мной.

— Нет ни одного правила, которое я не нарушил бы ради своей маленькой девочки, если бы ты этого не знала, не давала бы мне понять, что хочешь этих смешных вещей.

На нем новые серьги, похожие на два солнечных круга с орнаментом, удерживающим маленькие, переливающиеся в лунном свете радужные топазы, фиолетово-зеленые и гипнотические. Грациниан прислоняет длинный, аккуратный палец к золоченой скуле, задумчиво смотрит вперед.

— Здравствуй, Марциан. Мы с Санктиной совершенно не ожидали, что наше сокровище попадет к сыну императора.

— Как вы узнали? — спрашиваю я.

— Мы здесь не только развлекаемся, пока наша девочка вырастет. И уж конечно мы следим за тем, чтобы она оказалась в добрых руках. Ты ее не обижаешь?

Я качаю головой. Потом начинаю думать, обижаю ли я Нису. Наверное, если бы обижал, она бы мне сказала. Грациниан достает из кармана помаду, выкручивает, долго изучает.

— Люди здесь так интересно себя украшают, — говорит он, вслепую красит губы, невероятно аккуратно, как будто у него перед глазами зеркало. Помада легко скользит по его губам, оставляя алую, блестящую краску, смотрящуюся еще ярче от того, что губы у него прежде казались обескровленными.

Он прячет помаду в карман, затем поворачивается ко мне.

— О, юный господин, нет ничего сильнее, чем родительская любовь. Если я узнаю, что ты обращаешься с ней плохо и пользуешься ее беспомощностью перед тобой, когда все закончится, я вырву твое сердце из груди, и скормлю его скорпионам в пустыне. Что до твоего тела, ему я найду применение интереснее.

Он смотрит на меня задумчиво, затем берет за подбородок.

— У тебя красивое лицо.

Когда я смотрю на него снова, то вижу его зубы, а зрачки у него похожи на две бисеринки посреди золота.

— Я думаю, я хороший донатор, — говорю я. — То есть, я на это надеюсь. А думать-то я могу что угодно.

— Можешь, — соглашается Грациниан. У него опасный, какой-то нездешний вид, будто ничего человеческого в нем уже не осталось. Его длинные зубы делают блуждающую улыбку еще более жуткой.

— Из своего донатора, мой дорогой, я сделал чучело. Я просверлил дырки в его костях, влил туда свинец, и теперь он очень устойчивый.

На этот раз мне не кажется, что Грациниан угрожает. Видимо, он просто решил со мной чем-то поделиться, пытается начать светский разговор и не знает, что меня может стошнить от таких разговоров. Ниса садится рядом с ним, и я думаю, наверняка в ней больше от отца, чем она думает.

И во мне больше от моего отца, чем я думаю.

Грациниан обнимает ее, медленно гладит по голове. Длинные, бледно-золотистые пальцы его, тонут в темноте ее волос.

— Мне вообще-то вполне нравится быть донатором, — говорю я. — Мне только жаль, что Ниса мертвая, она скучает по настоящей еде.

Грациниан задумчиво смотрит на меня, а потом вдруг начинает смеяться, с такой страстью, которую я в нем и не подозревал, едва со скамейки не сваливается. Я думаю, как в нем умещается комичность и жестокость, это же неправильно.

— Юный господин, я уже много лет так не смеялся! Давай ты не будешь говорить о нас такие вещи, потому что это ужасно забавно!

Он вдруг перестает смеяться, расслабленно откидывается на спинку скамейки и, запрокинув голову, смотрит на луну.

— В определенном смысле мы, конечно, мертвецы. Мы переживаем смерть, наши сердца не бьются, зрачки не расширяются, мы можем не дышать. И тебе, со стороны, так безусловно кажется. Но это величайший обман нашей великой Матери! Мой дорогой господин, суть не в том, что мы умирали, суть в том, что мы — преодолели смерть. Мы дети

земли, которые заново встают живыми. Воплощенная жизнь, победившая ужас небытия! Ты будешь намного мертвее нас, когда сойдешь в землю. Твое чудесное личико превратится в череп под солнцем и луной, а мы получили величайший дар жизни от той, которая является ей самой.

Я смотрю на его руки. Ногти у него длинные и ухоженные, кольца на пальцах украшены большими драгоценными камнями.

— Папа, прекрати читать ему нотации, ты не на проповеди.

— На проповеди к этому моменту я бы уже занимался любовью с прекрасной женщиной, Пшеничка!

И тогда я понимаю, как далеко бы не отстояли друг от друга наши страны, наши боги и наши жизни, во все времена и во всех культурах людям иногда одинаково стыдно за своих родителей.

— Ну да ладно, я надеюсь, мне удалось тебя убедить в важности трепетной заботы о моей милой дочке.

— А зачем вы носите серьги? — спрашиваю я. — И зачем краситесь, как женщина?

— Женщины святы, потому что способны, как и земля, рождать жизнь, мужчины же могут только уподобляться им.

Ответ кажется мне таким же странным, как и накрашенные губы Грациниана. Он встает со скамейки, еще раз обнимает Нису, и я думаю — сейчас исчезнет так же быстро, как и появился. Он любит Нису, он знает, что это значит — очень сильно любить. А мне ведь не с кем посоветоваться, мама впервые не может мне помочь, а друзья удивляются всему вместе со мной, они не взрослее и не опытнее, они не подскажут.

И прежде, чем Грациниан исчезнет, я прошу его:

— Подождите, пожалуйста!

Он смотрит на меня, взгляд у него мягкий, нежный, отчего-то напоминающий мне взгляд мамы. Я говорю:

— Я вам сейчас кое-что расскажу, ладно? Я уже всех достал, но мне хочется понять.

Грациниан садится рядом со мной, молчит, ничем не показывает, что ему не хочется со мной разговаривать. А я рассказываю ему историю про то, как ищу бога ради одного очень дорогого мне человека. Я рассказываю ему, что сказала мне Ретика, и что я сам думаю об этом, рассказываю и историю о той женщине, что убила своих детей.

Грациниан только раз перебивает меня. Он говорит:

— О, я уверен, она вовсе не хотела совершать всего этого, не представляла, кого призовет и не думала, что убийство братьев и сестер поможет ее мальчику.

— Что тогда она хотела сделать? — спрашивает Ниса.

Грациниан улыбается.

— Она хотела унять боль.

А дальше я снова рассказываю, о своих надеждах и чаяниях, о том, что боги не живут в этом мире, но мне нужно попасть туда, где они живут. Я рассказываю взхлеб и, наверное, не очень ясно, но Грациниан — внимательный слушатель, как Ниса.

В конце концов он говорит:

— Наша богиня, наша мать встречает нас под землей. Мы умираем, чтобы встретиться с ней, а потом тратим вечность на то, чтобы вспомнить о мгновениях, проведенных в ее объятиях. Поэтому подсказать, как попасть к богу, я тебе не могу.

Он еще некоторое время молчит, пальцы его выстукивают по спинке скамейке что-то

веселое и ритмичное, а потом звук резко обрывается.

— Но подумай, разве дурачок вроде тебя, милый, не имеет доступа в тонким материям? Не думаю, что тебе нужно что-либо лить, кровь, молоко или мед, ты и без того куда лучше настроен на взаимодействие с чужими мирами. Когда я был мальчиком, рядом с нами жил человек вашего народа. Он прошел от Рейна до Евфрата, потому что так ему велели голоса в голове. Так вот, он говорил мне, среди прочей бессмыслицы, что всякий вопрос уже содержит в себе ответ. Найди ответ в самом своем вопросе.

— Сразу видно, что ты — жрец, папа, — говорит Ниса. — Очень обтекаемая формулировка.

— А в чем мой вопрос? — спрашиваю я.

— Как Марциану попасть в мир своего бога, дорогой. Не кому-либо другому, а именно тебе. Ты как патриархи наших народов должен найти свой путь, и чужой пример тебе ни к чему.

— Я могу искать его годами!

— Можешь, — соглашается Грациниан. А потом снова встает со скамейки. — А вот я с тобой годами говорить не могу.

И тут я замечая, что говорили мы очень долго — небо светлеет. Первым приходит запах — запах земли и плоти, который перебивает глубокий аромат зелени в саду. А потом, когда первый луч солнца падает на лицо Грациниана, я вижу, как плоть клоками сходит с его щеки, обнажая кость. Серое, гнилое мясо и белая кость, ничто кроме глаз в нем, кажется, не имеет цвета. Глаза сухие, зато влажно блестят под лопнувшей кожей черви, они ворочаются, как беспокойные, крохотные дети. Грациниан одевает перчатки на руки, от которых остались кости с редкими клоками высохшей кожи на них.

Его зубы все еще обнажены, живое существо в нем выдают только они и сияющие желтым глаза.

— Мы заболтались, а меня так и тянет перекусить, мой дорогой. Хорошего утра!

Он касается тем, что осталось от его губ лба Нисы, и она без брезгливости принимает поцелуй. Я замечая, что в голове у него дыра, осколки черепа открывают темный провал, в котором давно уже не осталось ни крови, ни мозга. Так вот как он умер. Грациниан наматывает черный платок и надевает капюшон. Теперь видно только его глаза. Голос у него прежний, мягкий, веселый, и не скажешь, что этим голосом говорит мертвец.

— Спроси еще у кого-нибудь, Марциан. Я даю советы твоей душе, а тебе нужен тот, кто даст их твоей голове.

Он касается своей холодной рукой в кожаной перчатке моей макушки, и хотя он всего на пару сантиметров выше меня, я чувствую себя очень маленьким.

Наверное, это потому, что Грациниан вдруг кажется мне древним (а ведь он умер максимум двадцать лет назад, если учесть, что Нисе девятнадцать).

Грациниан уходит, в утреннем свете он кажется тенью. Я смотрю на Нису и вижу, что трупных пятен на ней больше, теперь они яркие, кое-где кожа лопнула и гниет, а губы у Нисы — совсем синие. Я беру ее за руку, потому что знаю, что она смотрит на Грациниана и думает, какой еще будет.

Под ее кожей гниет кровь, ее сгустки можно почувствовать, но мне не противно. Теперь днем ее за больную не выдашь. Только если за прокаженную, наверное.

— Распухну, почернею, потом станет легче.

— Тебе плохо?

— Нет, только холодно.

У Дворца Ниса надевает платок, а я звоню Кассию, и он снова встречается нас.

— Ты меня задолбал!

— Правила есть правила, — говорю я.

Папа тоже так часто говорил.

Ниса прижимает к себе пакеты, счастливая настолько, что даже не очень заметно, какая мертвая. Она говорит:

— Я пойду разложу вещи!

— А я поговорю с Кассием.

Ниса проскальзывает мимо Кассия, в полутьме коридора ей удается не продемонстрировать Кассию пятна на руках.

— С чего это ты интересно взял, что я хочу с тобой говорить?

Голос у него веселый и задорный, будто он не устал и не волнуется. Я никогда его в плохом настроении не видел, в ярости — да, а вот грустным — ни разу. Кассий отвечает мне подзатыльник, не особенно соизмеряя силу, так что даже больно.

— Где шлялся?

— Я ищу способ попасть к богу и выпросить у него папу обратно.

Кассий смеется.

— Дурак ты, Марциан. Жизнь она не для дураков сделана. Ты бы заткнулся и не делал больно матери и сестре.

— Но я смогу.

Уголок рта Кассия подскакивает вверх, получается то ли улыбка, то ли гримаса.

— Хороший ты парень, был бы поумнее, цены бы тебе не было.

А потом он орет:

— Прекрати заниматься глупостями! Ты здесь не для того, чтобы привести девку в дом, когда отец болеет, шляться неизвестно где и делать вид, что ты у нас пророк! Башку включи, слабоумный! У твоего отца в голове помутилось, но это временно! Меньше языком трепать надо! И больше будь рядом с женщинами, у которых ты сейчас один защитник! Придурок, мать твою!

Я зажимаю уши, потому что кричит Кассий громко, а потом кто-то кричит еще громче, и мы оборачиваемся на голос одновременно. Голос женский, но я сразу понимаю — не мамин и не Атилии. Кассий бежит наверх, я бегу за ним.

Когда Кассий распахивает дверь папиной комнаты, я вижу девушку, даже имени ее я не знаю. Она из новеньких горничных, молодая, глазастая и любопытная. Сначала мне кажется, что она что-то потеряла, она стоит согнувшись, смотрит вниз, не переставая голосить. А потом я вижу, что ладонь ее пронзил насквозь нож для писем, с такой силой, что рука оказалась, как гвоздем, прибита к деревянной тумбочке. Тогда, смотря на ее руку, которую толчками покидает кровь, я вспоминаю ее имя — Венанция.

Ее блузка смята, несколько пуговиц оторвано. Она плачет и кричит, красная и растрепанная. Папа сидит на кровати и смеется.

— Шлюха! Мне не нравятся блондинки! И темный шоколад! Вот две вещи, которые я ненавижу больше всего на свете. А еще, когда меня кто-то будит!

Я кидаюсь к ней, с трудом вытаскиваю нож для писем из тумбочки, он вошел туда глубоко, как зуб, и с отвращением вытаскиваю его из руки Венанции, она только еще больший крик поднимает. Как только она оказывается свободна, то скорее от инстинктов,



которые у каждого из нас есть, чем от каких-то разумных мыслей, забивается в самый дальний угол комнаты.

Папа перехватывает меня, выворачивает мне руку, пока я не выпускаю нож.

— Ты с чем-то спутал свой сыновний долг, Марциан? — шепчет папа. Нож упирается мне под ключицу, он измазан в крови и от этого теплый. Краем глаза я вижу, как Кассий хватается табельный пистолет, который всегда при нем. Но он не выстрелит в папу, папа его хозяин.

А если папа скажет "семь-пятнадцать", то Кассий выстрелит в меня. Он не слушается папиных приказов, он сам выбрал папу когда-то.

— Чудесная игрушка, Кассий! — говорит папа. Он треплет меня по щеке.

— А ты — маленький герой, да?

Кассий почти грубо хватается Венанцию, вышвыривает ее за дверь, как животное. И хотя он делает это для ее же безопасности, выглядит все равно ужасно.

Нож сильнее упирается мне под ключицу, пропарывает рубашку, и я чувствую боль сильнее, чем от клыков Нисы. А потом папа отодвигает нож и целует меня в лоб.

— Ты мой сын, конечно я бы не сделал тебе ничего плохого.

— А ей?

— Ее я бы убил. Я — убийца. Я никогда этого не скрывал.

— Зачем ты это сделал?

— Захотелось! Я делаю все, что мне хочется! Сейчас я хочу мороженого! Ты принесешь мне мороженого!

Кассий рывкает:

— Марциан!

А потом пуля влетает в вазу на тумбочке, мы с папой непроизвольно отскакиваем друг от друга, и движение его руки с ножом проходит в паре сантиметров от моей груди.

— Никогда не верь безумцу! — говорит он. — Конечно я убью тебя, если мне захочется!

— Вон отсюда, — рывкает Кассий. Два раза мне повторять не нужно. Когда я оказываюсь у двери, нож впирается в ее косяк, прямо над моей макушкой.

— Кассий, Кассий, Кассий! Давай поговорим! Ты знаешь, что я трахал твою жену? Мы были боевыми соратниками! Сражались за правду и свободу! Это очень располагает к тому, чтобы немножко поиграться друг с другом. Знаешь, что самое забавное? Я и сейчас могу это сделать, а потом могу отрезать ее башку, и ты впервые увидишь, на ком женился. И ты все равно не сделаешь мне ничего! И когда я попрошу тебя встать передо мной на колени, ты встанешь!

Папа смеется, а я счастлив, что оказываюсь за дверью. Кассий не убьет папу. Не потому что не захочет, а потому что не сможет. Он закрывает дверь, когда я оказываюсь снаружи, щелкает замок.

Венанция сидит прямо на полу, прижимает свою руку к себе, как маленькое и раненное животное. Я говорю:

— Нужно руку обработать. А лучше в больницу. Давайте обработаем, а потом в больницу.

Она смотрит на меня бессмысленными глазами, и тогда я помогаю ей подняться. Мы идем в мою комнату, потому что я знаю, где там аптечка. Ниса не спит, но как только слышит плач, накрывается одеялом с головой. Может, стыдится своего вида, а может чувствует запах крови.

Я веду Венанцию в ванную, включая воду, хотя и сам не понимаю зачем. Я обрабатываю ей руку антисептиком, и она плачет еще горше, так что я все время останавливаюсь, заглядываю в ее красные от слез глаза, ищу разрешения продолжать.

Только когда я перевязываю руку, она говорит:

— Спасибо, — слово получается какое-то булькающее и дрожащее.

— Не за что, — говорю я. — Но вам надо в больницу. Там, наверное, кость задета. Я просто не врач.

Она улыбается, скорее нервно, чем искреннее.

— Я знаю, что вы не врач, господин Марциан.

— Зачем...

Она перебивает меня, не дает задать вопрос.

— Мне было интересно, что с ним! Императрица запретила нам подниматься на второй этаж, я стащила ключ у экономки и...

— И?

— И пошла посмотреть.

Она только сейчас обнаруживает отсутствие нескольких пуговиц на блузке и здоровой рукой пытается ее запахнуть. Я с преувеличенным вниманием начинаю обрабатывать собственную крохотную ранку под ключицей. Интересно, там мое сердце или не там? А если бы папа протолкнул нож дальше?

— Вы же не расскажете никому, что видели?

Она качает головой, глаза у нее сразу делаются испуганными. Я ей верю, но в этот момент в комнату кто-то заходит. Я выглядываю из ванной, Кассий меня отталкивает.

— Найди мать, она в храме. Расскажи ей, что произошло. А с юным дарованием я сейчас сам поговорю.

— Ей в больницу надо.

— Будет ей и больница, и все остальные удобства.

— Где папа?

— Я его запер. Иди и найди мать, понятно тебе?!

Я смотрю на Венанцию, она снова начинает плакать, и мне ее жалко. На маму жалче. Когда я выхожу, Кассий садится на край ванной с самым будничным видом, но выражение лица у него совсем не доброе.

Храм это небольшая пристройка к дворцу. Строгое, всегда белое, круглое здание, где только пол и потолок, держащийся на колоннах, и никаких стен. Зелень обступает храм со всех сторон, подбирается к нему, проникает внутрь и облизывает мраморный пол. Колонны оплетены плющом, листья которого в темноте кажутся маленькими руками, ладошками детей, отпечатавшимися на этом камне.

С улицы храм не видно, он находится в самой глубине сада. Сейчас в нем горит огонь. Этого давно не было, я в своей жизни не видел, чтобы в храме горел огонь — мама боялась посещать своего бога после того, как папа вошел в ее дом, опозорил ее и само божество всех принцев, забрав себе его слезы.

В храме стоит статуя маминого бога. Никто, кроме принцев, не возводит статуй своим богам и не делает храмов. Я не знаю, выглядит ли мамин бог так, как его изобразили и выглядят ли как-нибудь вообще боги.

Мамин бог изображен, как юноша чудесной красоты, у которого на месте сердца дыра. Он проливает вязкие слезы о своем утраченном сердце, бог власти и вечной печали. На

голове у него золотая корона, которую раньше, пока храм еще не пришел в запустение, обагрляли вином.

Дыра в его груди повторяет форму человеческого сердца, и после смерти императора или императрицы избранной крови, новое сердце вставляли в эту статую. Оно сохло или гнило в статуе, но никто никогда не трогал его. Оно исчезало, когда вскоре должен был умереть очередной император.

Мамино сердце должно оказаться в нем.

Папа лично отнес в храм сердце маминой сестры, а мама никогда не переступала больше его порог. До сегодняшнего дня. Когда я подхожу ближе, то слышу мерный свист плети, этот звук я ни с чем не спутаю, в детстве мы с мамой и папой часто ходили на скачки, мама и Атилия были в красивых шляпках, а мы с папой смотрели, как бегают лошади.

Я отчего-то не зову маму, подхожу ближе молча. Факелы на колоннах зажжены, и мамина фигура купается в золоте, льющемся со всех сторон. Она абсолютно обнаженная, стоит на коленях у статуи с гниющим сердцем внутри.

Мама стегает себя плетью и плачет. Я слышу ее голос:

— Прости мне, прости мне, прости мне это, скажи мне, что делать. Верни мне его. Верни его им. Верни Империи. Я умоляю тебя.

Каждое "прости мне", каждое "верни" она сопровождает ударом плети. Ее спина вся в ссадинах, готовых лопнуть от крови. Ее белая, прекрасная спина. Ровная линия позвоночника исполосована, как скобками, следами от плети. Темнее впадина между лопаток, снизу, с затылка, стекает струйка крови.

Я не могу пошевелиться и не могу ничего сказать. Мне странно видеть, как женщина, с которой я когда-то был единым целым, оставляет на себе раны. В маме так много отчаяния и чувственности, что я могу только смотреть. Я хочу, чтобы она прекратила делать себе больно, но не могу ее остановить. Я хочу знать, какая на ощупь тень между ее лопатками.

Если я окликну ее, это будет значить, что я видел, что она делает с собой, поэтому все слова замирают в горле, как я ни стараюсь хоть что-нибудь сказать.

Она выпрямляется. Кровь стекает по ее спине. Когда она поднимается, я вижу ее совсем другой, чем всегда. Я вижу ее той женщиной, которая и подарила мне жизнь, той женщиной, которую когда-то взял папа и только поэтому я живу сейчас на свете.

Она поднимает с пола халат, надевает его и запахивает так, что ткань на спине мгновенно пропитывается кровью.

И я понимаю, что ничего не могу ей сказать, я отхожу в тень, пробираюсь домой так, будто сделал что-то ужасное и думаю, как сказать Кассию, что я ее не нашел с таким стыдом, будто я что-то украл.

В темноте уютно и хорошо, но уже не так хорошо, как когда внутри меня не ворочалось ни одной мысли, а это значит, что я просыпаюсь. Просыпаться неприятно, телефон вибрирует так, будто решил стать бормашиной, а в носу стоит неприятный, гнилостный запах, вызывающий тошноту еще прежде, чем я успеваю понять, почему здесь вообще так пахнет и где это здесь.

Сосуды пульсируют, поэтому я не открываю глаза, мне нравится смотреть, как под веками становится красно и кружевно. Я нащупываю телефон, надеясь что к тому времени, как я до него доберусь, он затихнет. Но оказываюсь слишком расторопным, телефон вибрирует у меня в руке, и я на ощупь продвигаюсь к кнопке приема звонка, все еще тайно надеясь перепутать ее с соседней.

Но интуиция меня не подводит, и в награду я слышу голос Юстиниана. Он быстро, почти незаметно желает мне доброго утра, а потом провозглашает:

— Надеюсь ты в курсе, Марциан, что мы живем в эпоху, когда вещи потеряли свое значение. Зачем кому-либо могут понадобиться императорские регалии, если точно такие же вещи может получить любой! Теперь, когда производство всего, чего угодно поставлено на поток, мы не можем говорить о существовании особенных вещей, все можно дублировать за деньги. Однако этот факт только усиливает роль богатых в нормировании ценностей и поведения!

Я бормочу что-то, чего сам не понимаю, не отдавая себе никакого отчета в том, как шевелится мой язык.

— Что, Марциан?

— Жаль, что производство чувства такта не поставлено на поток, — говорю я.

— Первые пять минут после сна представляют собой апофеоз твоего остроумия.

— Мне это уже говорили, — отвечаю я. — Хочешь поболтать с Нисой?

Больше всего я радовался, что со временем, когда я уехал в Анцио, Юстиниан перестал звонить мне по утрам, чтобы рассказать свои мысли. С одной стороны, это и есть дружба, с другой стороны я плохой друг до завтрака.

— Хочу, — говорит Юстиниан. — Ее коэффициент интеллекта позволит ей понять мои гениальные наблюдения.

— Это, наверное, чужие гениальные наблюдения.

— Весь мир текст, Марциан, все уже сказано до нас, а мы можем лишь позиционировать себя по отношению к цитатам.

— Это точно цитата.

Я морщу нос, но не потому что ненавижу Юстиниана, я к нему даже хорошо отношусь, а потому что запах мертвечины делает меня окончательно бодрым и вовсе не в приятном смысле. Я вспоминаю, что было вчера, вспоминаю маму и то, что я ей так и не сказал, и ту девушку, Венанцию, и моего папу, и все загадки, которые задала мне мама Офеллы.

Всего так много, что мне хочется залезть под одеяло, и чтобы все исчезло, а я был в теплой темноте еще много-много лет, и мог думать. Но оказывается, что даже одеяла нет.

Я открываю глаза, в комнате все прежнее, только Нисы нет. Шторы задвинуты, но сквозь них все равно пробивается слабый родничок света.

— Ниса! — зову я, потом предупреждаю Юстиниана. — Ты подожди, сейчас она тебя послушает.

Я встаю, иду по полу, он холодный, а ноги у меня босые, так что прохлада сразу взбирается вверх по позвоночнику. Удушливый запах гниющего мяса невыносим, я иду к окну, распахиваю его, впускаю утреннюю прохладу и понимаю, что совсем немного проспал, солнце еще молодое и холодное, и площадь еще тихая, с ее стороны ни звука не слышно, и сад кажется нарисованным, потому что птицы в нем не поют, не шевелят ветви фруктовых деревьев. Воздух кажется мне сладким, и я жадно его вдыхаю.

Одеяла действительно нет, но в отличии от того, как попасть в мир моего бога, по этому поводу у меня есть идеи. Я стучусь в ванную, запаха гниения оттуда не исходит, потому что свет туда не проникает.

— Ниса, — говорю я. — Хочешь поговорить с Юстинианом?

Она говорит:

— Ты думаешь, мне недостаточно плохо?

— Тебе может понравиться. Некоторым нравится.

Щелкает замок, и она впускает меня в ванную. Ниса сидит в полной темноте, тут же закрывает за мной дверь, так что я успеваю увидеть только то, что она завернута в одеяло, как начинка в тесте.

Мясная начинка, ну да. Противное выходит сравнение. Ее глаза в темноте — источник слабого света, разные зрачки будто парят в желтоватой пустоте.

— Я не хочу, чтобы ты меня такой видел.

— Я тоже не хочу тебя такой видеть, — говорю я честно.

— Я посмотрела в зеркало, и мне противно. Я отсюда до вечера не выйду.

— Так и будешь сидеть в ванной?

— Да, — говорит она. — Лучше я умру от голода, чем выйду отсюда.

— А помыться мне дашь?

— Мойся. Но я не выйду.

Я нащупываю в темноте выключатель. Яркий искусственный свет делает так, что в ванной все снова есть, включая Нису. Она стоит, завернутая в полотенце, бледная, но не разлагающаяся, как под светом солнца. Глаза у нее беззащитные и очень грустные. Мне становится ужасно печально, и я обнимаю ее, вернее одеяло, мягкое и покрытое клеточками. Некоторое время мы так и стоим, потом Ниса говорит:

— Ну все, прекрати.

— Что?

— Ты меня утешил, давай, прекрати. Иди мыться. А я буду под одеялом.

Я отпускаю ее, и она через некоторое время шепчет:

— У меня раньше не было друзей. Я не очень знаю, как это.

— У меня есть друг, но мы друг другу не нравимся.

Я даю ей телефон, слышу голос Юстиниана из динамика:

— Ничего не понял, но контекст не подразумевает моего участия в любви на троих?

Ниса садится на пол, накрывается одеялом, получается будто недоделанный детский шалаш без балок. Шалаш очень ленивого ребенка. Из-под одеяла голос Нисы доносится приглушенно, я слышу:

— Привет, Юстиниан. Твой друг решил передать тебя мне.

Он слушает, потом смеется, и я чувствую что-то вроде укола, как будто меня ужалили,

но изнутри, а не снаружи. Я раздеваюсь и залезаю под душ, слова Нисы становятся совсем неразборчивыми, и отчасти я этому рад. Мне совершенно не стыдно быть рядом с ней голым, хотя я уверен, что она смотрит за мной, из любопытства. Эта ситуация меня заводит, но она не кажется мне располагающей к сексу, потому что совсем не похожа на все мои истории, которые так заканчивались прежде.

Вода шумит, и она теплая, от всего этого я становлюсь чуть счастливее. Иногда до меня доносится смех Нисы, приглушенный тканью.

Когда в голове разогреваются от воды мысли, я смотрю на дробящийся в лампочке свет и начинаю думать. Грациниан мне сказал, что кто-то должен дать советы моей голове, а не душе. Я чувствую, что я уже близко к разгадке, у меня есть рецепт, только нужно его понять. Как будто мне двенадцать, и я пытаюсь решить задачу, и ответ рядом, но не получается его нащупать.

Но кое-какие цифры у меня уже получились, теперь нужно их сложить. У меня есть совет для души, теперь нужен второй, для головы. Кто всегда отвечал за мою голову?

Ответ приходит, и от него мне становится так радостно, я выключаю воду, говорю:

— Ниса, я все придумал! Я поеду в моей учительнице, нет никого умнее нее, она даст мне совет для головы.

Ниса выглядывает из-под одеяла, говорит:

— Ты голый.

А что говорит Юстиниан, я не слышу — Ниса крепко прижимает трубку к уху.

— Да, я же мылся.

Ниса облизывает губы, потом говорит:

— Я хочу есть.

Я беру у нее телефон, говорю Юстиниану:

— Ты извини, Ниса хочет есть, поэтому она пойдет завтракать. Пока.

— Я слышал, что ты говорил о моей...

Но я уже бросаю трубку, надеясь, что он не перезвонит. Ниса поднимается на ноги, на ней ничего, кроме моей майки, а на мне даже моей майки нет. Мы смотрим друг на друга, я беру ее за подбородок, и она открывает рот, демонстрируя зубы. Я делаю так, как иногда делал с девушками, а она делает так, как девушки иногда делали со мной — обнимает меня за шею.

Я привык к отсутствию живого тепла в ней, и мне даже нравится ее прохлада после горячей воды.

— Я с тобой не поеду, — говорит она. — Оставь мне крови и свой телефон.

Я давлю ей на затылок, и она, как будто даже не желая этого, впивается зубами мне в шею. Боль привычная, и я думаю — ранки ведь не воспаляются, хотя и болят. Неужели у Нисы такие стерильные зубы?

Я не чувствую ничего особенного, никакого удовольствия от боли, но мне нравится ощущение нашей близости, такой полной, такой окончательной, будто Ниса всегда есть у меня, а я всегда есть у нее, и эта близость делает нас жадными. Я закрываю глаза и жду, когда все начнет кружиться, даже считаю. Ниса отстраняется как только темнота начинает плыть, и я переступаю с ноги на ногу, хватаясь за раковину. Я перехватываю ее за руку, тяну на себя, и мы едва не соприкасаемся носами.

Меня не тянет ее поцеловать, но и не хочется отстраняться.

А потом я думаю, что хочу уйти до того, как проснется мама, до того, как папа еще что-

нибудь сделает, что покажет, кто он теперь такой.

Ниса отстраняется, потом берет стакан, куда я обычно плескаю жидкость для полоскания рта, и сплевывает туда глоток крови.

— Фу, — говорю я. Ниса со мной соглашается.

— Суровые времена требуют суровых мер, — говорит она. — И ты все еще голый.

Я одеваюсь, выхожу из ванной, Ниса просит принести ей коробку с телефоном, который ей подарил Грациниан, долго разбирается с ним, заставляя его пищать, потом вбивает мой номер.

— Позвони Юстиниану, а то он будет обиженный и грустный, — говорю я. — Тогда начнет думать, что современная культура зашла в тупик.

Я задергиваю шторы, чтобы Нисе было не противно выйти из ванной, если все-таки придется, и выхожу. В коридоре темно и тихо, еще нет восьми утра, и сон у дворца глубокий. Я пробираюсь на кухню, беру то, что попадается мне под руку (салат в вакуумной упаковке, кусок сыра и яблоко). В детстве я любил быть незаметным, ходить так, чтобы никто не слышал, сидеть там, где никто не будет меня искать.

А потом мама сказала мне, что мне незачем прятаться, что она любит меня и что гордится тем, что я у нее есть. Тогда я стал радостнее и перестал прятаться и слушать Кассия.

А сейчас я меньше всего хочу видеть маму. Мне кажется, будто я не смогу с ней разговаривать, ни слова сказать не смогу, и меня охватит тот же глубокий стыд. Я люблю ее больше всего на свете и больше всего на свете я боюсь ее увидеть.

Мне встречается только Кассий, но Кассия никто, никогда видеть не хочет, я не исключение. Он рывкает:

— Я с ней сам поговорил. Молодец я, а? Прямо сын ее. А ты куда намылился?

— Здравствуй, Кассий, — говорю я. — Никогда не видел, как ты спишь.

Я прижимаю к себе еду, потом мне становится стыдно, и я говорю:

— Хочешь яблоко?

А он надо мной смеется.

— Мы от тебя слишком много требуем, — говорит он, наконец, и голос его сразу мрачнеет. — Иди, давай, куда хочешь.

— Я поеду к моей учительнице.

— Дигна будет просто в восторге, — говорит Кассий. Он улыбается, а я смотрю на его шрам. Он розовый и длинный. Розовый, как блеск на губах Офеллы. Как что-то, что принесло столько боли может быть такого очаровательного цвета?

Я говорю:

— Ниса спит. Но когда проснется, выпусти ее пожалуйста.

— Я за твоей девкой следить не буду.

— Но это твоя работа.

Вот как я оказываюсь на улице, а Кассий еще говорит, чтобы я не возвращался. Думаю, другие преторианцы надо мной смеются, когда я не вижу.

Я вызываю машину, это очень сложно, потому что мне нужно не потерять еду. Пока иду к дороге, грызу яблоко, пока жду, ем сыр, и только оказавшись в душном салоне пластиковой вилкой ем цветастый салат.

— Это все не игрушки, — говорит мне водитель. — Посмотри, какие яркие помидоры.

— Очень красивые, — говорю я. — Хотите?

— В них гены лосося, или еще что-то такое, я читал. Генномодифицированные продукты, неизвестно, что с тобой от них будет через двадцать лет. Фармацевтические корпорации в заговоре с пищевыми. Они хотят, чтобы мы все лечились от рака.

Я смотрю на водителя, глаза у него светлые, скулы бледные. Он говорит:

— У меня четыре вида рака. Но я могу сдерживать рост раковых клеток, когда сплю.

Я говорю:

— Посмотри на небо в час, когда заканчивается день.

Он говорит:

— И ты увидишь его глаза.

Мы сразу лучше друг друга понимаем, и я говорю, куда мне нужно ехать. Мы едем в пригород, дороги пустые, зато навстречу нам, в центр, несутся машины. Солнце бьет в лобовые стекла, делая их похожими на пластины льда.

Я слушаю про рак и корпорации, ем вилок салат, и мне становится хорошо, я вдруг понимаю, что сегодня получу ответ на мой вопрос. Может быть, я и не спасу папу, пока что, но я буду знать как. Я многое сделал, и скоро все станет простым и ясным.

Я на всякий случай спрашиваю:

— А вы видели бога?

Водитель смеется, взъерошивает светлые волосы, а потом подмигивает своему отражению в зеркале заднего вида.

— Я видел императора. И он был прекрасен. Ты-то не помнишь тех времен, а я вошел вместе с ним в Город.

Я думаю, что это хороший знак, потому что я тоже хочу еще раз увидеть папу. Мир становится все зеленее, а дома встречаются реже и реже, зато они большие и богатые. Здесь живет много ветеранов той войны, они не хотят жить в элитных районах Города вместе с принцессами и преторианцами, которые будут их терпеть.

Они хотят жить как принцессы и преторианцы, но в другом месте.

Мы едем по аллее, гравий шуршит под шинами, а дубы, обширно раскинувшие свои сочные, зеленые ветви, закрывают от нас солнце, так что его совсем немного просачивается к нам. Водитель останавливается, говорит:

— Меня зовут Гаутфред.

— Я — Марциан.

Водитель хмурит брови, у него выходит смешная гримаса, очень артистичная — Юстиниан тоже так умеет.

— Я имею в виду, по-настоящему.

— А, — говорю я. — Спасибо вам, до свиданья.

Я протягиваю ему деньги и выхожу из машины. Солнце, как мед, капает на начищенный капот, на нем подтеки, которые изгибаются, когда машина трогается. Мне становится обидно, что у меня настоящего имени нет.

Нет имени такого, каким называют людей моего народа.

К концу аллеи дубы становятся друг к другу все теснее и теснее, оттого все темнеет. Телефон издает писк, я смотрю на экран. Ниса пишет, что научилась набирать смски. Я некоторое время смотрю по сторонам, пока между похожими на кляксы дубовыми листьями не мелькает пушистый хвост. Тогда пишу, что видел белку.

Потом белок становится много, они носятся друг за другом, одинаковые, нервно подвижные и так же нервно замирающие. Учительница живет в отдалении ото всех, даже от



своих боевых товарищей. И дорожка, наверное, посыпана гравием, чтобы идти сюда было неприятно. Дом у нее большой, окруженный лесом снаружи и оплетенный паутиной внутри.

Я здесь был один раз, перед отъездом в Анцио, и тогда учительница мне не порадовалась. Она вообще никому не радуется — соседей у нее нет, Кассий приезжает редко, а прислуги она не держит. Дом огромный, папа не пожалел для учительницы земли и денег, но уютным его ни сделали ни простор, ни богатство. Темная кирпичная кладка до самой треугольной крыши делает дом похожим на склеп, окна кажутся в нем неестественными и наклеенными. Швы между кирпичами давно позеленели от сырости, теперь кажется, что дом древнее, чем он есть, а доски на крыльце скрипят, и от этого впечатление только усиливается. Только ограду учительница содержит в абсолютном порядке и уважении к ней, она покрашена и блестит. Многочисленные дубы, которым все равно есть ограда или нет, и которые заменяют учительнице сад, кажутся еще одной стеной между ней и миром. Место зловещее, каким ему и полагается быть. Если спросить любого принцепса или преторианца, в каком месте должна жить ведьма, он что-то такое и опишет. Я открываю калитку, учительнице нет нужды ее запирать, сюда почти никто не ходит, а если придет, то встреча с хозяйкой дома будет эффективнее запертой двери.

Сада здесь толком нет, дубы так и стоят, зеленея и впитывая солнце, и все, кроме них — кирпич дома, крыльцо, темные занавески на окнах, кажется тусклым.

Я нажимаю на звонок, кнопка поддается не сразу, как будто в последний раз ей пользовались так давно, что она уже перестала быть кнопкой. Открывают мне тоже не сразу. Но я долго жду, и дверь все-таки распахивается. На пороге стоит мальчик лет шести, смотрит на меня большими, темными глазами. Я пытаюсь угадать в нем черты Кассия, но они мне только чудятся в излишней остроте его подбородка и в тонких губах.

— Привет, Кезон, — говорю я. — Я помню тебя еще совсем маленьким. Ты вырос.

Мальчик продолжает смотреть на меня, а потом закрывает дверь. Я вспоминаю, что оставил пустую коробку из-под салата в машине, мне становится стыдно. Я еще раз нажимаю на кнопку, на этот раз она поддается быстрее, и Кезон открывает почти сразу.

— Я — Марциан.

Он бормочет что-то вроде "мама съест твои глаза" и снова закрывает дверь. В третий раз все происходит еще быстрее. Я говорю:

— Кезон, твоя мама не будет есть мои глаза. Мы друзья.

— Вы не друзья, — говорит Кезон. Наверное, это все-таки правда.

— Но ты ее все равно позови.

Кезон бы и еще раз дверь закрыл, я это вижу по его глазам, но в этот момент я слышу голос учительницы.

— Впусти его, у меня голова болит от этого звона.

— Здравствуйте, учительница! — говорю я.

— Я тебя больше, слава богине, не учу. Ты давно можешь называть меня Дигной.

Я делаю шаг вперед, Кезон с неохотой уступает мне, и я оказываюсь в темном помещении. Здесь много белого, но из-за тяжелых занавесок и темного пола, белый потолок и двери смотрятся глухо, неярко.

Единственное яркое пятно здесь — лимонное пятно солнца, умудрившееся пройти сквозь листву дубов и преломиться в стеклянном овале, оставленном в белой двери. На стекле вырезаны линии и треугольники, и еще какие-то знаки — уже совсем не для красоты. Когти моей учительницы легко могут процарапать стекло, и я хорошо представляю, как она

оставляет на нем все эти отметки.

Здесь много кружева и бархата, и я даже не знаю, чего больше. Все кружево белое, а бархат — темный. Пахнет пылью и чем-то алкогольно-ягодным.

Учительница говорит:

— Ты, наверное, пришел не для того, чтобы полюбоваться моей прихожей. Как минимум я бы посоветовала тебе полюбоваться гостиной.

И я иду любоваться гостиной. Хотя, наверное, нельзя называть гостиной место, где так редко бывают гости.

Учительница спускается по лестнице, шаг у нее всегда неторопливый, как будто у нее вечно болит голова. Она вроде и ведет себя естественно, но я замечаю, что она приветливее со мной, чем обычно.

— Лекарство не подействовало, — она говорит утвердительно больше, чем спрашивает. — Передай матери, что я больше ничего не могу сделать.

— Мама меня не посылала, — говорю я. — И на самом деле — можете.

Я сажусь на кресло в гостиной, прямо перед зеркалом в тяжелой оправе. Кезон вертится неподалеку, будто боится, что я что-нибудь стащу. Вещи здесь редко меняют свое местоположение, поэтому у окна я еще все еще вижу колыбель Кезона, хотя когда я был здесь в первый раз, он уже из нее вырос. Кисейная ткань рассыпалась по колыбельке так, что кажется, будто там все еще кто-то лежит, а ненадежные ножки колыбели сейчас закачают ее от малейшего порыва ветра.

Я вожу пальцем по бархатным цветам на обивке кресла, повторяя их контуры, мне почему-то неловко смотреть в зеркало. Учительница подходит к окну, плотнее задергивает шторы.

— Кезон, — говорит она. — Принеси чай.

— Хорошо. А когда ты съешь его глаза?

— Сегодня у меня нет аппетита, может быть, в другой раз.

Она может шутит, а может и нет — по ней никогда не скажешь. Учительница оборачивается ко мне и замирает, как статуя. На ней длинное, полностью закрытое платье. Черные кружева поверх плотной зеленой ткани. Обнажены только руки — длинные, смуглые пальцы венчают загнутые когти, от природы черные и бритвенно острые. Мы с народом ведьмовства родственны, потому что наш бог — ночное небо, а их богиня — луна. Лицо учительницы всегда скрыто за вуалью, такой темной, что я понятия не имею, как она видит. Иногда мне кажется, что она толком ничего и не видит, приучилась жить, как слепая, поэтому здесь так темно — ей свет и не нужен.

Я не знаю, смотрит ли она на меня, но говорю:

— Простите за беспокойство.

Платье у нее длинное, до самого пола, и там где заканчиваются кружева, а видно только изумрудно-зеленую ткань, оказывается, что она ярче, чем мне сначала казалось. Говорят, что от длины когтей ведьм зависит сила их проклятий, но это не так. Сила их проклятий зависит от желания их богини. Их богиня, богиня проклятых, хочет, чтобы они несли ее слова в мир, поэтому ведьмы должны проклинать. Как народ воровства кормит свою богиню красивыми вещами, ведьмы дают своей богине силу с помощью слов, прославляя ее, когда проклинают кого-то. Поэтому никто не любит ведьм, воров и наш безумный народ. Поэтому папа создал Безумный Легион из тех, кому не было места в Империи. Наши народы воевали вместе и все еще близки друг другу.

А учительница воевала вместе с папой, она присоединилась к нему одной из первых, и уж точно первая из своего народа. Раньше, когда папа еще не вошел во дворец, когда не стал императором, ведьмы жили очень плохо, едва ли не хуже всех.

У нас были свои поселения, не очень комфортные конечно, но кое-кто в них и сейчас живет, народ воровства кочевал, а у ведьм совсем ничего не было. Они зарабатывали проституцией, никакой другой работы для них не существовало, было запрещено брать их на работу, да никто и не хотел особенно. Спать с мужчинами за деньги было единственной их возможностью заработать и продлить свой род, потому что мужчин у ведьм не было, все мальчишки, которые у них рождались всегда наследовали народ отца, потому что богиня не принимала мужчин. Это была ужасная жизнь — у них не было никаких гарантий, им приходилось вырывать себе когти, а это все равно, что зубы вырывать. Когти, конечно, отрастали, но унижение и боль не забывались.

Многие считают, что учительница носит вуаль из-за шрама, оставленного ей преторианцем на войне, а преторианские шрамы никогда не заживают. Это не совсем правда, хотя лицо учительницы действительно изуродовал преторианец, только это было до того, как она присоединилась к войне. Этот человек оставил ей не только шрамы, но и Регину, а она даже не знает его имени. На войне она его не убила, хотя мечтала. Может отец Регины и сейчас где-то ходит, а может его убили. Это мне все Юстиниан рассказал, он любит поболтать. Может, и приврал немного. Я надеюсь. Было бы очень грустно, если бы все это оказалось правдой.

Учительница давно не открывает своего лица, и по ней ни за что не скажешь, что когда-то у нее была такая унижительная и страшная жизнь.

Кезон приносит чай, холодный, в высоких стаканах с запотевшими стенками и листьях мяты, плавающих в темной жидкости, как в янтаре. Только тогда учительница говорит:

— Мне очень жаль того, что произошло с твоим отцом.

Я говорю:

— Как раз об этом я хотел поговорить.

Она поворачивается к Кезону, медленно вытянув руку указывает в сторону двери. У нее все движения такие, словно время для нее течет по-другому, медленнее, чем для остальных людей или меньше для нее значит.

— Хорошо, мама, — тихо говорит Кезон. — Я посмотрю мультики.

Меня не удивляет, что у учительницы дома есть телевизор. В конце концов, она не принимает гостей, не говорит по телефону, не выписывает газет. Телевизор — ее способ узнать, что происходит за границами ее мира, надежно охраняемого старыми, толстыми дубами.

— Иди.

Кезон без энтузиазма отправляется на кухню. Наверное, его больше интересуют мои глаза, чем мультики. Через пару минут тихий дом оживляют звонкие и далекие голоса нарисованных персонажей. В мультфильмах у существ особые голоса, не детские и не взрослые, и не человеческие вообще. В детстве я думал, что мультфильмы, это параллельный мир, но я не хотел туда попасть, потому что там все слишком ярко.

Учительница протягивает руку к колыбели, качает кого-то, кого там нет, и ткань легко колыхается. Чай оказывается сладким, лимонно-мятным и очень холодным, прямо зубы сводит.

Она говорит:

— Мне действительно жаль, Марциан.

Так говорит, что я в этом ничуть не сомневаюсь, хотя голос ее почти не меняется, а выражение ее лица остается скрытым от меня.

— Он был хорошим человеком.

Я смотрю на лестницу. Она доходит до угла и начинается снова, в другую сторону, от этого у всей гостиной делается несколько безумный вид. Надо мной качаются на веревочках очень правильные круги из лунных камней, похожие на макеты планет в музее. И хотя все они разного размера, все эти планеты — Луны. В рамке за моей спиной блестит серебром серп полумесяца, светит над столиком под которым лежат засушенные цветы, такие дряхлые, что только шипы на стеблях сохранили свой вид.

Учительница говорит:

— И его любят. Это великое горе не только для тебя, твоей сестры, твоей матери, но и для всех нас.

— Одна моя подруга сказала, что он дал ее народу все на этой земле.

Учительница издает тихий смешок, если бы змеи умели смеяться, они бы делали это так.

— Аэций сказал бы, что ее народ сам взял все, чтобы быть живым и свободным. Я знаю его лучше тебя, потому что знаю дольше. Он страдал от того, что мы страдали, и так сильно хотел спасти угнетенных, что пролил намного больше крови, чем нужно, чтобы остаться в здравом уме.

Она тянет руку к колыбели, закрывает тканью, будто кого-то внутри нужно охранить от тусклого света. Ее руки очень ловкие, хотя если посмотреть на эти длинные когти, так никогда не подумаешь.

— Вы гораздо больше похожи, чем ты думаешь. Когда он был молодым, он хотел только защитить нас всех. Мы все были куда горячее него, мечтая о том, как войдем в Вечный Город.

Я отпиваю еще чая, он пахнет мятой и остужает мне голову, становится спокойнее. А она продолжает говорить о папе, и мне приятно слушать. Я всегда знал, какой мой папа герой, как он отважен, и как много он изменил в Империи. Но я никогда не слышал, что он — хороший человек.

Учительница говорит:

— Он всегда делал то, что хотел. И ему всегда удавалось. Он был безжалостным воином. Но это не все, что ты должен о нем знать, Марциан. Он считал всех равными, он боролся за то, что считал прекрасным — за свободу. Знаешь, почему я говорю тебе все это?

Я качаю головой.

— Потому что, Марциан, однажды твоего отца не будет на свете. И от него останется только история. А история всегда упрощена, между ней и реальностью такая же разница, как между вещью и ее фотографией. Она плоская, ты не можешь рассмотреть ее со всех сторон и множество важных моментов остается за кадром. Это примитивное сравнение, но и ты ведь не самый умный юноша? Ты должен знать правду о своем отце.

Она замолкает, снова покачивает колыбель, а потом говорит:

— Я хотела бы от него дочь. Жаль, не случилось.

Это вовсе не звучит так, будто учительница в папу влюблена. От другой женщины, другого народа — непременно бы именно так и звучало, но для ведьмы самая главная дань уважения мужчине — родить от него дочь и влить его кровь в свой великий народ. То, что

учительница говорит о папе высказывает ее восхищение им, а вовсе не желание.

Но вот кого она так качает в колыбели — их нерожденную дочь, мою несуществующую сестру. И тогда я понимаю, что мне совсем не нравится в этом разговоре. Учительница говорит так, будто папа уже мертв, и это навсегда.

Тогда я подаюсь вперед, быстро и горячо шепчу ей:

— Вы не понимаете! Я его верну! Мне просто нужен совет! Я все сделаю! Я найду его!

— Кого ты найдешь, Марциан? — спрашивает она. А мне кажется, что чай у меня в руке сейчас вскипит, такой жар у меня в ладонях.

— Бога! И папу! Он все может, может и папу вернуть! Я уже узнал, что народ воровства что-то красивое подарил своей богине, в ее особом месте, и за это она впустила их в свой мир. Значит, я должен что-то подарить нашему богу, на его особом месте! Я даже знаю, где его особое место. Там, где та, которая нас всех спасла, убила своих детей! Я найду то место, и что-то особое ему подарю, тогда я приду к нему и попрошу. Он мне не откажет. Он любит папу, я уверен. Раз даже вы любите, а я думал, вы никого не любите! Только подскажите мне, что подарить! Я не хочу убивать своих родных и вообще никого не хочу убивать, но вдруг он только на это обратит внимание?

Тишина становится такая, что я слышу, как персонажи какого-то мультфильма обсуждают поломку на своем космическом корабле писклявыми, яркими голосами.

Наконец, учительница говорит:

— А ты знаешь, где это особенное место?

— За Рейном, — говорю я. — Далеко. Надо на поезде ехать.

— А где конкретно оно — знаешь?

— Нет, но я спрошу.

Она снова молчит, и я слушаю про то, как чинить космические корабли. Затем она снова говорит, и я слушаю про то, как спасти папу.

— Поезжай в Бедлам, Марциан, в вашу столицу. Оттуда пришел твой отец. Я знаю вашу историю, но не настолько хорошо, чтобы подсказать тебе, где именно это место. Думаю, где-то в лесах, окружающих Бедлам. И там тебе точно подскажут.

Я вижу в зеркале, как глаза у меня светятся, кажутся еще светлее.

— Вы мне верите?

Она кивает. Я не вижу ее лица, но я уверен, она смотрит серьезно.

— Я хочу, чтобы ты попробовал. Что до дара, который хочет твой бог — и здесь я тебе не подскажу. Но ты мыслишь чужими категориями, а найти то, что ты ищешь может только тот, кто мыслит за пределами шаблонов. Тебе не нужно повторять то, что сделала ваша прародительница. Но ты должен понимать, что твой бог — бог безумия. И ему нравятся совершенно особенные вещи.

— Сумасшедшие люди?

Она терпеливо вздыхает, потом снова подходит к окну. Ее силуэт кажется изящным, совсем девичьим, хотя на момент начала войны ей было девятнадцать лет.

— Ему нравится безумие, Марциан. Соверши безумство.

— Какое?

Она качает головой. И я точно знаю, что она скажет. Сейчас снова будет про мой, собственный, особенный путь, то же самое, что Грациниан сказал. Но она только повторяет:

— Соверши безумство, Марциан, и приди к нему с этим в груди. Тогда, наверное, он примет тебя. Мы будем надеяться.

Моя учительница всегда была строгой, она никогда не скрывала от меня, что я глупый и часто насмеялась надо мной. Но сейчас она — единственная, кто по-настоящему верит, что у меня все получится. Даже Офелла не верит, хотя помогла мне. А учительница — верит.

Я говорю ей:

— Спасибо вам. Я никогда не забуду, как вы помогли мне. Я поеду в Бедлам и совершу там что-нибудь безумное.

— Надеюсь тебе хватит смелости, Марциан.

Снова становится так тихо. Все вокруг — тихое, прохладное и мягкое. Я допиваю чай, встаю с кресла, и в этот момент вместо мультяшных голосов, я слышу вдруг, очень отчетливо, голос знакомый мне с самого рождения, и даже до него — мамин голос.

— Граждане Империи, — говорит она, и я бегу на кухню. Там на стуле с высокой спинкой перед телевизором сидит Кезон. Телевизор смотрит сверху, висит в углу, там, где так любят притаиться пауки. Кезон ест мороженое из креманки, оно пахнет вишней, и наверху у него — вишенка.

Мама по ту сторону экрана, она в черном, руки затянуты в перчатки, черный воротник перехвачен черным платком, она похожа на мертвую Нису или ее мать, когда мы впервые встретились. И она выступает в Сенате.

Мужчины с жадными глазами расселись полукругом, смотрят на маму, ждут, что она объявит. Ждут, и в то же время уже знают. Принцепсы, мечтающие вернуться к прежней жизни. Они читают ее — одежду, выражение лица. Вся страна видит маму, когда она скорбит.

Мне стыдно и больно, как будто она стоит перед ними голой.

— Мне приходится сообщить вам прискорбную новость.

Сердце мое падает, в глазах темнеет от того, как болит в голове. Неужели я опоздал? Папа — умер?

— Император Аэций временно недееспособен. В данный момент он тяжело болен, и никто не может гарантировать, что он придет в себя.

Сердце мое поднимается. Я ожидал чего-то намного худшего. Но зачем мама говорит это? Она хотела скрыть папину болезнь, а сейчас выступает перед всей Империей.

— Молитесь своим богам о здравии вашего императора, — говорит мама. Голос ее, сначала неуверенный, сейчас обретает неожиданную властность и красоту, он перестает быть тихим. — Но то, что Аэций не способен сейчас управлять страной и, возможно, не будет способен, не означает, что достижения его будут забыты.

Запись, кажется, передает эхо, вдруг поднимающееся от маминого последнего слова. Теперь она по-настоящему громко говорит.

— Я продолжу дело своего мужа. Я верю в то, во что верил он. Я верю в то, что Империя принадлежит всем живущим в ней народам, и что мы сможем научиться жить вместе. Сейчас мы в самом начале этого сложного пути, и я надеюсь, что Аэций нас не оставит. Но если так случится, я не отступлюсь от его слов и не забуду его обещаний. Я буду всеми силами пытаться сохранить мир между нашими народами и не упущу ни одного закона, который принял Аэций, а так же использую положения, которые он собирался вынести на следующей встрече с Сенатом. Давайте не будем терять надежды, но и не будем позволять страху охватывать наши души. Империя изменилась, и мы изменились вместе с ней. Аэций сделал для этой страны столько, что никто и никогда не сможет вернуться к тому существованию, которое было прежде Безумного Легиона. Но мы будем двигаться вперед, к

другой, но лучшей жизни, к совместной жизни всех наших народов.

Мама замолкает, и сенаторы аплодируют, хотя им явно вовсе не понравилось то, что мама сказала. И это опасно. Папу они, по крайней мере, боялись.

Я говорю:

— Мне нужно домой.

Учительница стоит у двери. Я не знаю, какие у нее сейчас глаза и даже предположить не могу. Она говорит только:

— Иди, Марциан. Сделай то, что задумал. Это будет лучше, чем молитвы. Если ничего не получится, все будет кончено.

Я вижу, как ее когти впиваются в столешницу, и с резким, раздирающим мне голову звуком оставляют четыре глубоких, белых раны на красном дереве.

Машина приезжает та же, что привезла меня сюда утром, и водитель тот же, только теперь он взволнован.

— Здравствуйте, Гаутфред, — говорю я. Он не отвечает мне, и машина трогается слишком резко, а на поворотах он нас с ним не щадит. Он мне говорит:

— У меня семья, детишки. Я думал, у них будет будущее. Я не хочу обратно.

Я говорю:

— Никто никого не выгоняет.

— Так-то даже лучше, что она сказала. Я подозревал. Давно его не было видно, я как сердцем чувствовал. Жене сказал, а она не верила, говорила в отпуске, отдохнуть надо. Если он умрет, мы тоже покойники. Сенат всегда найдет способ сладить с императрицей. А его — его победить было невозможно.

Я думаю, что он недооценивает мою маму. Мне просто хочется сказать ему, что все будет хорошо.

Если я только придумаю, как совершить безумство.

Но сначала мне нужно поговорить с мамой.

В Сенате мамы уже нет, она передала свое сообщение всей стране, прозвучала со всех экранов, теперь она дома. Во дворец меня пропускают и без Кассия, я снова всем примелькался после года отсутствия. У папиной комнаты дежурит заплаканная Атилия.

— Где мама? — спрашиваю я.

— Все кончено, — говорит она.

Сегодня все это говорят, все для всех вдруг сразу кончилось от того, что мама сказала.

— Где мама? — повторяю я мягче.

— В храме.

Я хочу еще что-нибудь ей сказать, но она отталкивает меня, а сама прижимается лбом к двери.

— Выпустишь меня, Атилия? — говорит папа.

— Нет. Для тебя это опасно.

— Ты предательница, милая. Я выпотрошу тебя, потому что ты меня предала.

Голос у папы сладкий, как мед, смешливый. Я стучу кулаком в дверь.

— Скоро тебя тут не будет!

— Ты мне угрожаешь?

Он смеется надо мной, но я сбегая вниз по лестнице. Темнеет, а оттого сад будто отдает всю свою внутреннюю прохладу, воздух насыщен его запахом. Я думаю, что нужно будет зайти к Нисе, все ей рассказать, сводить ее погулять, и мы вместе подумаем, как быть.

Я думаю о чем угодно, лишь бы не думать о том, что мама больше не верит в то, что папа поправится.

Что для нее все кончено.

Она стоит в храме, в кругу света от горящих факелов. На этот раз она не обнажена, ее тело предельно закрыто, она даже перчатки не сняла. Мама смотрит на статую своего бога и, наверное, мысленно что-то ему говорит. Я вспоминаю ее обнаженную спину, тонкую линию позвоночника, мучительно склоненную голову.

— Мама!

— Марциан, — она не оборачивается.

— Зачем ты рассказала? Ты ведь не хотела! Ты говорила, что тогда всем будет плохо!

— Знаешь, почему я не хотела? Я боялась, Марциан. Я боялась взять на себя ответственность и делать то, что я должна делать. Я так надеялась, что он поправится, но этого не случится. И мне нужно принять эту правду. И моей стране нужно принять эту правду. Ничего не будет в порядке, и это я должна буду закончить то, что начал он. Он хотел бы, чтобы я была честной. Это все, чего бы он от меня хотел.

— Но ты должна подождать мама, еще немного! Еще пару дней! Я уже близок к тому, чтобы вернуть его! Мне только надо совершить безумство и поехать в Бедлам!

Она оборачивается, глаза у нее полны слез, но поза такая напряженная, что даже воинственная.

— Ты не поедешь в Бедлам! Там опасно, Марциан! Ты не сможешь спросить у бога, почему папы больше нет. Ничей бог не отвечает на такие вопросы.

— Но я должен найти бога. Я должен сделать для папы все!

— Ты не должен подвергать себя опасности.

— Я не принцепс, там мой народ, такие же люди, как я. Такие люди, которых ты никогда не поймешь! И это ты подвергаешь себя опасности! Теперь все знают, что папа больше не может защитить нас.

Я замолкаю, и она молчит. Мы сказали друг другу лишние вещи. Глаза у мамы становятся сухие, даже злые.

— Я могу защитить вас, — говорит она холодно. Мы смотрим друг на друга, у нее глаза темнее обычного, губы сжаты тонко-тонко, как будто она терпит боль. Я склоняюсь к ней, целую в лоб.

— Прости меня. Я боюсь за тебя. Ты этого не хотела. А я хочу тебе помочь.

Она не реагирует, смотрит на меня, каменная, как бог за ее спиной. Маленькая и воинственная, наверное, папа впервые увидел ее такой. Мысль эта оказывается очень быстрой, но еще быстрее действие, следующее за ней. Я целую ее, губы у нее холодные и податливые в то же время. Я думаю, сейчас она оттолкнет меня, и все закончится. Она упирается ладонями в мои плечи, движением, которое должно завершиться, но не завершается. И я тоже не могу остановиться. Я ни на секунду не забываю, что именно я делаю. Когда я целую ее, она остается моей мамой, женщиной, давшей мне жизнь. Но именно поэтому я не могу отпустить ее. Я хочу ее, хочу эту тайну, скрытую внутри нее.

Наконец, она отвечает мне, как будто сдается, и сразу становится мягче, будто устает от этой злой прямооты, которую держала с тех пор, как я видел ее по телевизору. Язык у нее холодный и ласковый, как ее руки. Я перехватываю ее, поднимаю, она совсем легкая, и прижимаю к колонне. Она цепляется за меня, как будто боится высоты, щеки у нее покраснелись, и из-за того, что она выглядит совсем юной девушкой, из-за того, как она



судорожно цепляется за меня, я ощущаю себя отцом, который был с ней в первый раз.

Я как бы одновременно он, и я сам, и она принадлежит нам обоим. Под тонкой полоской кожи, видной между платком и воротником, жилка на ее шее бьется так быстро, будто сейчас ее сердце, как у птицы, разорвется. Я чувствую, что и у меня внутри — так же. Она отбрасывает перчатки, гладит мое лицо, нежно и отчаянно.

Мы ничего друг другу не говорим, потому что стоит сказать хоть слово, и ничего не случится.

Она тесно прижимается ко мне. Как будто оттого, что мы так близки пропадает необходимость в том, чтобы говорить. Я срываю с нее платок, и она отклоняет голову, показывая мне шею, которую прежде целовал только отец. Я и сейчас вижу цепочку заживающих укусов, которые он ей оставил.

То, с чего все началось — я увидел на ее руке синяки, сиреневый браслет, напоминающий о том, кем стал отец. Теперь я вижу намного больше.

Она мягко подается ко мне, так что я отступаю от колонны, но держу ее. Говорить нельзя, у нас обоих — обет молчания, мы связаны им, объединены. У нас есть только движения. Когда я опускаю ее на каменный пол, я думаю: кого она видит?

Я думаю, что совершаю еще большее богохульство перед ее богом, чем папа когда-то. Когда мама оказывается на полу, она чуть подается вперед, и когда я касаюсь ее колена, оно дергается в сторону. Она перепуганная, но ее движения ни с чем не спутаешь — она меня желает. Я стягиваю с нее платье, а она расстегивает на мне рубашку, гладит, с удивлением, будто понять не может, что это я, будто ее удивляет, что у меня есть кожа, а под кожей — мышцы и кости. Может быть, это правда удивительно. Когда-то я был ничем внутри нее.

Она прикасается губами к ранкам, оставленным Нисой, невесомо, так что это не больно вовсе, заглядывает мне в глаза, задает вопрос, который нельзя озвучивать. Я улыбаюсь ей, глажу по голове, нежно, успокаивающе, как будто мы совсем в другом месте и в другое время. А потом мама подается ко мне и целует там, где сердце, я чувствую его биение ровно в том месте, где замирают ее губы. В этом поцелуе нет ничего распушенного, но я вдруг совершенно перестаю себя контролировать, будто она что-то во мне выключает. В ней есть какая-то особенная магия, она не пленительно красива, не распушенна и стеснительна, но ее нежность дразнит и пьянит намного больше, чем если бы она оказалась раскованной и нетерпеливой.

Я стягиваю с нее платье, ткань не дается, сходит с треском, и на секунду она пытается ее удержать — самыми кончиками пальцев. А потом сама помогает мне избавиться от ее белья.

Я смотрю на ее тело, и у меня нет ощущения, что я вижу его в первый раз, хотя мама никогда не позволяла себе ходить при мне в неподобающем виде.

У нее большая грудь, но узкие бедра, у нее родинка на солнечном сплетении, тонкий, детский шрам там, где под кожей прячутся ребра. Все это кажется мне знакомым, будто я видел ее обнаженной уже сотню раз. Но ее тело не просто тело женщины, которую я хочу.

Я был с ней одним, и эта тайна внутри нее — моя, особая, собственная.

Только когда я касаюсь ее груди, сжимаю между пальцев сосок, я понимаю, насколько то, что я делаю преступно и запретно, мне становится плохо от этого, как никогда не бывало. И хорошо тоже, как никогда не бывало.

Она стонет, губы у нее покраснелись. Я склоняю голову набок, наблюдаю за ней, трогаю ее грудь. Глаза у нее затуманенные, но при взгляде на нее мне кажется, что я

поступаю жестоко.

У нее между ног влажно, она готова принять меня, как и любого другого мужчину. Я делаю с ней то же самое, что делали мужчины с женщинами во все времена. То же самое делал с ней отец, и только поэтому я вообще существую, видел все, что видел и знаю все, что знаю. Сама моя жизнь, все мои самые счастливые и самые чудесные моменты уходят корнями в то, что он делал с ней против ее воли. А я люблю ее. Я люблю ее и хочу быть с ней совсем другим, чем он.

Мама сама расстегивает ширинку на моих штанах. Она принимает меня легко, со стоном, тесно прижавшись ко мне, как будто ей даже недостаточно близко. Когда я держу ее за бедра, двигаясь в ней, мои пальцы попадают ровно по оставленным им синякам, будто мы оба играем на ней, как на инструменте, какую-то безусловную мелодию. Я убираю руки, я не хочу делать ей больно.

Тело ее из теплого становится горячим. Она стонет, мучительно, будто это и плач в то же время, хотя глаза у нее сухие. Я целую ее щеки и лоб, а она гладит мою спину, с ней времени нет, будто ничего еще не существует.

Мы занимаемся любовью долго, пока не доходим до какого-то животного исступления, когда меня нет, и ее нет, и мы не хотим быть.

Только лаская ее, пристально наблюдая за ее лицом, я впервые замечаю, в чем мы похожи, что у нас есть общие черты.

Она распаляется не сразу, сначала испуганная, только целует меня, ласково и со страхом передо мной, потом обнимает все сильнее, сама двигается мне навстречу, и тогда я понимаю, что и страсть у нас похожа, и ласки.

Только кончив в нее, я ощущаю, что она — моя, а я — чудовище. Так должен был ощущать себя отец в тот момент, когда моя жизнь только началась. Мне становится так плохо, что почти физически больно, а она вдруг гладит меня по голове, целует в губы, так нежно, что боль уходит, будто она для этого создана, чтобы меня утешить.

Мы не говорим, не решаемся. Мы лежим рядом, и она целует меня, зарывается пальцами мне в волосы, и от ее ласки у меня будто незаживающая рана, которую я сам себе оставил, затягивается.

Теперь она кажется мне еще меньше, еще беззащитнее, чем раньше. Я ростом почти как папа, и это удивительно, потому что когда-то я был меньше пыльного зайчика под кроватью, и она носила меня в себе, в этом хрупком, бледном теле.

Я касаюсь губами ее соска, когда она говорит:

— Знаешь, я не могу сказать, что хорошо его знаю.

Ее голос кажется мне незнакомым, я уже не думал, что она когда-нибудь еще скажет мне хоть слово.

— Но однажды, когда мы лежали, так же как сейчас, он рассказал мне кое-что. Он ведь только на треть нормальный. Он мне говорил, что у него нет представления о том, что мир стабилен.

Она говорит нарочито отстраненно, как будто лекцию читает, но голос ее чуть подрагивает.

— Он говорил, что все распадается и дробится, когда он на это не смотрит. Камеры ему нужны не только потому, что он боится, что его убьют, хотя и этого тоже. Он считает, что только он контролирует пространство вокруг, людей, время, все. В этом его беда, и его величие. Представляешь, Марциан, такая жуткая и жалкая фантазия человека, который не

понимает, что мир не разрушается, когда он выходит из комнаты. Но именно поэтому, милый, он считал, что ответственен за все, что происходит с его миром. И он правда хотел изменить его к лучшему. Он знал, что только он это может, и не мог смотреть на то, как другие страдают из-за него.

— Ты полюбила его за это? — спрашиваю я.

— Тогда — нет. Тогда все было совсем по-другому. Я и тебя тогда еще не знала, хотя ты уже был. Но я заужала его, хотя он и напугал меня, и насмешил. Чувства у меня были очень сложные.

Она ловит мою руку, и мы сцепляем пальцы.

— Ты очень похож на него не только внешне. Если ты не сделаешь того, что, по-твоему, должен, ты не сможешь жить. Отправляйся туда, если ты не можешь по-другому.

## Глава 9

Я чувствую себя, будто пьяный и не могу ее видеть, и люблю ее невозможно. Она уходит молча, сжав напоследок мою руку, как будто я ребенок. А я остаюсь в храме, сидеть на полу и смотреть на ее прекрасного бога.

У каждой семьи принцепсов есть свой храм с такой же статуей, где вместо сердца императора — сердца предков семьи, а взамен — вечная молодость и долгая жизнь, дар их бога, дар его слез.

Но глаза маминого бога сухие, он отвернулся от нее, ему ее не жалко. Только сейчас я замечаю у ног статуи железную маску. Она изображает неизвестного мне зверя, скорее просто хищника, чем какое-то конкретное существо — железные зубы, вытянутая морда, большие, с острыми уголками глаза.

Я прежде никогда не рассматривал маминого бога подробно. И меня удивляет, что кому-то столько прекрасному может понадобиться скрывать лицо за такой уродливой маской.

Теперь в саду совершенно темно, и оттого что луна скрылась за облаками, он кажется таинственным, а все его населяющее почти уродливо искажено разросшимися тенями. Меня охватывает тоска, я ужасно хочу, чтобы солнце встало прямо сейчас, и оттого, что это невозможно мне становится еще хуже.

Начинается дождь, и я смотрю в небо. Мне представляется, как звонит Юстиниан и объясняет мне, что со мной происходит — в этом он гораздо лучше меня. Скорее всего Юстиниан назвал бы мое состояние посткоитальной тоской или сказал бы, что по крайней мере я — Эдип, и теперь могу следовать своей судьбе.

Дождь становится сильнее, теперь он хлещет по мне, и мне кажется, что это не капли, а крохотные камушки, которых я заслуживаю великое множество. Я хочу быть наказанным, потому что я виноват. Чувство это приходит не сразу, но оказывается таким же оглушительным, как удовольствие от ее близости.

Мне плохо, я не нахожу в себе места и даже воли, чтобы не стоять под дождем.

Я никогда не стану таким, как отец. Отец — величайший человек своей эпохи, а я — дурак.

Он сходит с ума, а я даже этого не могу.

Я люблю ее, мы так близко. Мы всегда будем близки, и ничто не разлучит нас. И я должен спасти папу, ради нас всех. Я люблю свою семью, я люблю свою маму, мы близки.

И я спасу его, потому что он нужен нам. Мысли тяжело вращаются по кругу, они густые, вязкие, как воск, и я жду, когда они застынут.

В этот момент я вижу, как за водяной пылью и густыми, дымными облаками проступает крохотная соринка звезды. Блестящая точка в мироздании. И тогда я понимаю, он смотрит на меня.

Он открыл один из миллиарда своих глаз и глядит. Я раскидываю руки и кричу, мгновенно понимая больше, чем когда-либо в жизни.

— Смотри! Смотри на меня! Мы были вместе здесь, в храме ее бога! И я не испытывал ничего подобного раньше! Я совершил ошибку! Я ненавижу себя! Порази меня! Убей! Где

твой бог, мама?

Звезды одна за другой высыпают на небе, будто кто-то бросил горсть сахара на черную скатерть. Иногда мне кажется, что они подмигивают мне. Небо — живое, оно тяжело дышит. Наш бог не плачет, а дождь — это его слюна, слюна идиота.

— Я отвратителен во всем, что я сделал! А теперь верни моего отца!

Гром раздирает небо. Папа говорил, так воет наш бог, от желания или злобы. Я смеюсь, а потом падаю, и это оказывается совсем не больно, всюду мягкая трава. Я словно отпускаю руль, и знаю, что меня только благодаря удачи, вынесет туда, где мне нужно оказаться. В голове пульсирует боль, но и это приятно, а дождь холодит мне лоб.

Я возвращаюсь в комнату мокрый и счастливый. Ниса сидит на моей кровати, набирает сообщения в телефоне. На тумбочке стоит стакан с засохшими пятнышками моей крови, похожими на томатный сок.

Я говорю:

— Мы с тобой поедem посмотреть другой город в Империи!

— Я и тут не все посмотрела, — говорит Ниса, ее зрачки путешествуют вслед за буквами на экране.

— Я рада тебя видеть, — говорит она, потом высовывает кончик языка, торжественно нажимает какую-то кнопку. — Но ты со мной не переписывался, и я решила общаться с Юстинианом. Мне нравится набирать сообщения.

— Мы едем в город безумных людей!

— Я думала, это город безумных людей.

Я сажусь на кровать рядом с ней, смотрю, как разбиваются о стекло капли, с сочным, фатальным стуком, а потом обнимаю ее. Ниса запрокидывает голову на мое плечо.

— У тебя глаза горят.

— Я сошел с ума, я совершил безумство! Я спасу моего папу!

Она протягивает руку и ее холодные пальцы гладят меня по носу, как кота.

— А давай позовем Юстиниана?

Я встаю с кровати, хожу по комнате, потом стаскиваю Нису и беру на руки, она обнимает меня, но выражение лица у нее скептическое.

— Позовем! — говорю я. — Позовем Юстиниана! Всех позовем, но никто, кроме Юстиниана с нами не поедет! Собирайся, мы отправляемся прямо сейчас! Я позвоню Юстиниану!

Пока Ниса одевается, я достаю телефон. У меня пятьдесят пропущенных сообщений, я решаю почитать их в поезде. Юстиниан берет трубку сразу, будто звонка поджидает.

— О, надеюсь, ты хочешь набить мне морду, потому что у тебя красная пелена перед глазами от ревности!

— Нет, — говорю я. — Хочу пригласить тебя в Бедлам.

— Чтобы там убить? Гениальный план, раскрыть убийство, совершенное в Бедламе будет сложно.

— Нет, чтобы ты составил мне компанию в путешествии к моему богу, который должен спасти императора! Там, правда, для тебя ничего особенно интересного не будет, но Бедлам опасное место, и я подумал, что ты только порадуешься.

— Ты экспериментируешь с наркотиками?

И я начинаю смеяться, чем, наверное, подтверждаю его предположения.

— На вокзале, — говорю я. — Через полчаса.

Я бросаю трубку. Если я хорошо знаю Юстиниана (а у меня было много времени, чтобы его узнать), теперь он точно придет. Юстиниан часто говорит, что хорошая интрига стоит не только денег, но и жизни. Бедлам опасное место, там сумасшедшие все, то есть абсолютно все. Это и не совсем город, хотя когда-то, еще до великой болезни, он им был. Каким бы ни стал Бедлам теперь, не стоит ходить там в одиночку, и чем больше нас будет, тем безопаснее.

Еще папа говорил, что всегда хорошая идея взять с собой преторианца, который не хочет перерезать тебе горло.

Ниса встает передо мной. Она замотана в черное, как мумия, а блестящие глаза скрыты за темными очками. Руки у нее в мотоциклетных перчатках, так что только кончики ее бледных пальцев остаются открытыми.

— Круто? — говорит она.

— Очень черно.

— Думаешь чем-то нужно оживить?

Она достает из пакета элегантную коралловую шляпку и надевает на голову, мы смеемся.

— Вот это, наверное, мама решила мне купить, чтобы оживить мой образ.

Мы снова начинаем смеяться, громко, взхлеб, так что в груди становится неприятно. Такой смех бывает, когда очень волнуешься и хочешь расслабиться, и смеешься до полного бессилия над всякой чушью.

Я говорю:

— Шляпку возьми, в Бедламе будешь маскироваться под одну из нас.

Мы выходим на улицу, дождь все еще льет. Кассия нет, но если бы я сказал ему, что отправляюсь в Бедлам, он сказал бы: там тебе самое и место.

И был бы прав. Там наш народ, там и есть мое место.

До вокзала мы идем под дождем, Ниса прыгает в лужи, поднимая брызги, и кажется что дождь льет со всех сторон, сверху, снизу, слева и справа. Он такой сильный, что за ним ничего не видно, и мы с Нисой мокрые насквозь.

Звезд тоже больше не видно, но теперь я знаю, что мой бог увидел меня. Он меня ждет.

Ниса говорит:

— Я люблю дождь! У нас в стране дожди бывают редко! Они поят нашу богиню, и она радуется дождю, и те, кто поднялись из земли во время дождя считаются самыми счастливыми!

Я говорю:

— Дождь мокрый, а мне нравятся мокрые вещи! По-моему они приятные!

На вокзале из какого-то термополиума, полного туристов, льется музыка, ненавязчивая и очаровательная, какая-то женщина поет о любви в поздний час, последней любви. Я беру руку Нисы, она, конечно, еще холоднее, чем моя от дождя, и мы даже немного танцуем. Я верчу ее, а она хватается за мою руку, прижимается и отстраняется, и хотя мы танцуем совсем по-разному, потому что в наших странах так принято, суть всех танцев — приблизиться и отдалиться, и двигаться так, чтобы закружилась голова, позволяет нам танцевать слаженно.

Мы не устаем из-за дождя, он остужает жар. Я говорю:

— А почему ты такая веселая?

А Ниса говорит:

— Потому что ты! Ты мой донатор, мне передаются твои эмоции! Поэтому я в необъяснимой эйфории!

— Моя эйфория тоже необъяснима!

Мы и не замечаем, что музыка заканчивается, потому что дождь становится для нас музыкой. А потом кто-то хлопает, и мы замираем. Юстиниан говорит:

— Невероятно! Эмоции заменяют музыку! Тесный контакт, синхронность, преодолевающая границы культур! Я в восторге! Когда поедем получать велосипедной цепью по головам?

— Сейчас, — говорю я. На Юстиниане леопардовый плащ, длинный и мокрый джински, кожаные штаны и армейские сапоги, а прическа его выглядит так, будто он забрызгал свои волосы лаком сразу после сна, а потом они размокли, но не до конца.

За ним стоит девушка, почти скрытая пеленой дождя. Мне требуется пара секунд, чтобы вспомнить ее. У нее розовый зонт с кружевной оборкой, надежно укрывающий ее, яркие резиновые сапоги с конфетками, изображенными на них, но такое же короткое и легкое платье, как и в прошлый раз, как будто Офелла решила быть практичной, но до конца выдержать эту линию не смогла. Она говорит:

— Я готова помочь всем, чем смогу, — говорит сквозь зубы, как будто на самом деле не готова. Но если бы она не хотела, могла бы и не быть здесь. Она добавляет, будто боится показаться слишком сочувствующей:

— Потому что я сделаю что угодно, чтобы моя семья снова не оказалась на улице. И если я могу только участвовать в плане, включающем в себя поездку в Бедлам, я даже это сделаю.

— Потому что она страдает от гиперответственности, — говорит Юстиниан.

— Кстати, любой план, в ходе которого нужно ехать в Бедлам, обречен на провал.

— И от гиперкритицизма.

А потом вспыхивает молния, и я вспоминаю удары плети, которыми награждала себя мама, и неровные ссадины, остававшиеся после них — так же изранено, хоть и только на секунду, небо. Офелла первая срывается с места, и мы бежим за ней, в теплое и светлое здание вокзала, где все люди выглядят так, будто у них никогда не было собственного дома. Мы с Юстинианом распахиваем тяжелые двери, Ниса и Офелла забегают внутрь, оставляя за собой дорожки воды, как утопленницы в фильме ужасов.

— Я куплю билеты.

— А я куплю дамам выпить!

— Я не пью, — говорит Ниса. И тогда я понимаю, что завтра утром Юстиниану и Офелле многое придется объяснять. Но это будет только завтра утром. Девушка, продающая билеты, сидит в перчатках на размер больше, чем ей нужны. Она — ведьма, скрывает свои когти. Миловидная девушка, у нее покрытый веснушками нос и яркие, зеленые глаза, а длинные волосы стянуты в хвост.

Она вежливо здоровается со мной и улыбается, потом сцепляет зубы, явно подавляя зевок. Вот за это боролся мой папа. Он хотел, чтобы у этой девушки был шанс заниматься чем-то неопасным, простым и не унижительным. Чтобы у нее была обычная жизнь, как у всех. Мой папа добился этого для нее, и для многих таких, как она.

Поэтому я иду его спасать.

— Мне нужно четыре билета в Треверорум.

Вообще-то никто не называет Бедлам так, как он подписан на карте и в билетах, но я

решаю быть очень серьезным.

Она даже просыпается от удивления.

— Поезд отходит через пятнадцать минут, — говорит она.

— Это хорошо, — говорю я. У меня есть хитрость, я советую ей:

— Вы посмотрите, может быть билеты в люксовые вагоны есть?

— Есть, — говорит она. Я совсем не удивляюсь, потому что почти никто из тех, кто может себе позволить билеты в первый класс, не поедет в Бедлам.

Я беру четыре билета, возвращаюсь в зал ожидания и вижу, что Офелла ест хлеб, густо намазанный медом, а Ниса только смотрит, с завистью и восторгом одновременно. Юстиниан же крутится вокруг них, рассматривает с разных ракурсов, будто примеривается, как бы нарисовать.

Но я-то знаю, что если и нарисует, то они все равно будут похожи на полосы.

— Марциан! — он обнимает меня, так крепко, что плечо сводит. — Видит мой бог, я много вкладывал в нашу дружбу и, наконец, получил дивиденды! У нас будет приключение!

— У меня четыре билета в первый класс, поезд отходит через десять минут.

Офелла смотрит на меня так, будто я опять глупость сказал, глаза у нее становятся строгие и радостные одновременно, Ниса хлопает в ладоши.

— Ощущаешь то же, что и я? — говорит Юстиниан. — Чувство вины, одолевающее правящий класс?

Я не думаю, что правящий класс одолевает чувство вины, поэтому иду к перрону. Ниса выхватывает у меня билет и провозглашает:

— Четвертый путь, друзья!

А Юстиниан продолжает говорить, вдохновенно, и слушать его поэтому приятно, как радио.

— Забавный факт из наших жалких жизней! Мы все отправляемся в путешествие, то есть переходим в лиминальное состояние, теряя свой текущий статус! Но на самом деле у нас никогда и не было стабильной идентичности, мы все в той или иной мере маргинальны. Офелла из народа воровства, мы с Марцианом полукровки и дети войны, Ниса — иностранка, так что и вовсе является классической переходной фигурой. И мы все отправляемся в место, которое является буквально столицей маргинальности — Бедлам, потому как безумие во всех без исключения культурах исключает тебя из действующей социальной реальности.

— Кроме нашей, — говорю я. — В нашей культуре действующая социальная реальность безумна.

— Ты разрушил мою теорию, сгинь с глаз моих, мы больше не друзья.

Мы выходим в прохладную реальность, поезд уже издает тяжелые вздохи. Юстиниан закуривает, Офелла, которой явно тоже хочется, толкает его в бок.

— Здесь нельзя курить.

— Для меня не существует законов и правил, я маргинальный человек в лиминальной ситуации. Ты думаешь, я просто так все это сказал?

Сигарета его, правда, быстро тухнет от дождя, и Юстиниан бросает ее на рельсы, туда, где вскоре она станет ничем под колесами поезда. Заходим в вагон, теперь становится холодно, потому что мой организм решает, наконец, что путешествие закончилось и пришло время осознать неудобства от дождя. Хотя путешествие только началось.

Мы показываем билеты улыбчивому, как и все проводники в вагонах первого класса,



человеку, и он провожает нас в наше купе. Оно оказывается снежно белым, с большим окном, на котором не штора, а будто бы кожистое веко древней рептилии, серое и эластичное, спускающееся сверху вниз. Здесь четыре кровати, немного шире, чем в обычных вагонах, но выглядящие намного комфортнее, подушки, сложенные треугольником, как паруса на кораблях, бороздящих океаны синих одеял. Есть даже мини-бар и кулер с водой, такие же белые и начищенные, как все здесь.

Ниса остается довольна, садится на нижнюю слева кровать, говорит:

— Эта — моя.

Офелла так и стоит в проходе, потом улыбается.

— Так аккуратно.

И это, наверное, самый лучший комплимент в ее понимании. Она ставит свой зонтик в изящную подставку для него и проходится по купе, затем садится на кровать напротив той, что теперь принадлежит Нисе. Юстиниан говорит:

— Мой доброжелательный сексизм не позволяет мне протестовать. Я лезу наверх.

А мне нравятся верхние полки, на них всегда качает, и если закрыть глаза, можно представить, что ты в середине океана, и это убаюкивает. Я забираюсь наверх, и в этот момент поезд трогается, едва не скинув меня с моего места, как норовистая лошадь.

Где сейчас мама? На месте папы. Теперь она решает государственные дела.

Офелла говорит:

— На самом деле я не так уж часто путешествую. И не против съездить куда-нибудь. Там есть достопримечательности?

— Я уже шутил про велосипедную цепь, которой нас тамогреют? Так вот, это не совсем шутка.

Ниса говорит:

— Я здесь для того, чтобы путешествовать, поэтому если меняогреют велосипедной цепью, я в Парфии так и скажу, что вы тут все ублюдки.

А я говорю:

— Спасибо вам.

Юстиниан еще некоторое время говорит, и я слушаю его, чувствуя, что дремлю.

— Друзья мои, мы должны понимать, что сопричастны великим событиям, мы входим в историю, как в портовую шлюху — никто и никогда не узнает об этом, но мы насладимся сполна! Помните! Нарратив стоит того, чтобы быть рассказанным только если случилось нечто экстраординарное! Поэтому при любой возможности мы будем кутить, превращать сопротивление в товар и переходить границы дозволенного!

— Ты уже перешел границы дозволенного, Юстиниан! Я хочу почитать! — говорит Офелла, раздраженная до предела. Юстиниан в ответ сбрасывает на нее свой леопардовый плащ.

— Ты урод!

— Я боюсь, что ты замерзнешь!

— Я надеюсь, что ты замерзнешь, и умрешь!

— Просто супер, — говорит Ниса. Офелла еще некоторое время читает в тишине, а потом еще больше злится и погружает в темноту нас всех, потому что выключатель находится в ее власти. Она не может заснуть и ворочается, Юстиниан слушает музыку, а Ниса внизу смотрит в окно на то, как проплывают мимо огни населенных пунктов и струящиеся провода.

Я надеюсь, что веко ящера не пропускает свет, как шторка иллюминатора в самолете.

Раздраженная Офелла источает негодование, и я тоже не могу заснуть, поэтому достаю телефон и смотрю пятьдесят своих сообщений от Нисы. Она пишет: привет. Затем пишет: как дела? Еще пишет: ну? Пишет: тут ходит Кассий, но в комнату не зашел. Он смешной. Я листаю ее сообщения, и они встают передо мной сплошной стеной, как текст в книге.

Ты чего не отвечаешь?

Где ты, Марциан?

Я не волнуюсь, мне скучно.

Вот бы сейчас поесть. Не тебя.

Мороженое. И сосиску! И колбасы, много колбасы.

Колбаса и сосиска у вас одно и то же?

У тебя в комнате паук. Я не собираюсь его убивать. Он на счастье.

Ты меня бесишь.

Ты что не умеешь писать?

Стоп, ты же написал мне про белку.

Мне с тобой повезло.

Не хочешь общаться, не общайся.

Я переписала из твоего телефона телефон Юстиниана. Спорим, он будет общаться.

Ты тупой.

Извини.

На девятнадцатом сообщении я начинаю засыпать, и быстро проматываю их до последнего желтого конвертика на экране. Ниса пишет: Приходи скорее, я скучаю.

Я улыбаюсь, потом накрываюсь пахнущим чистотой одеялом и засыпаю. Просыпаюсь я не от трупного запаха Нисы, а значит окна действительно плотно закрыты. В купе темно, так что решить, наступил ли день я тоже не могу. Я слезаю, стараясь никого не разбудить. Офелла спит, свернувшись калачиком, беззащитная и похожая на маленькую девочку, она кажется мне очень трогательной. Ниса располагается на кровати со всем возможным комфортом и даже превосходит его, потому что нога ее болтается в проходе. Юстиниан что-то бормочет во сне, переворачивается, снова что-то бормочет, а потом дышит мерно и тихо.

Я быстро проскальзываю в коридор, стараясь запустить в купе как можно меньше света, и тут же закрываю за собой дверь. Редкие люди уже ходят умываться, но шумно еще не стало. Утро как бы началось, но не разгорелось еще. А может, просто запустение вагона первого класса в едущем в Бедлам поезде производит на меня такое впечатление. Я заглядываю в окно, держась за поручень. Трясет в коридоре сильнее и приятнее.

Передо мной открывается холодное на вид, туманное пространство, населенное, в основном, елками. Леса здесь густые-густые, совсем не такие, как в Италии. Поезд проплывает по мосту над черной рекой, и корни деревьев спускаются к самым ее берегам, будто чтобы напиться.

Я никогда не видел этой природы прежде, но у меня есть ощущение, что я еду домой, и все происходит правильно. Отсюда, однажды, приехал папа. А теперь я возвращаюсь сюда вместо и для него.

Трава здесь какая-то странная, будто ржавчиной тронута, и вообще вся природа строже, яснее. Горизонт кажется прямым из-за ровных верхушек елок, и сами они стоят, как будто их кто-то очень аккуратный поставил в пластилин. Мне не верится, что это здесь живет наш безумный народ. Итальянская природа буйная, она больше про хаос и про свободу, и больше

подходит тому, что я думал о нас. Мне надоедает смотреть на то, какое все одинаковое и туманное. Здесь когда-то было самое сердце войны, отсюда шел Безумный Легион. Но земля больше не выглядит развороченной, ее раны затянулись.

Человеку, я думаю, больше свойственно создавать, чем разрушать. А когда он разрушает, ему плохо. Я стараюсь не разрушать вещи, потому что хочу быть счастливым. Я снова захожу в купе, быстро, как будто за мной гонятся злодеи из фильма, закрываю дверь. Ниса сидит на кровати, смотрит в черное окно, будто что-то там видит, и расчесывается в темноте.

— Надо теперь говорить.

— Ну, — отвечает она. — Наверное.

А потом складывает руки на груди, смотрит на меня, будто я во всем виноват.

— Хорошо, ладно, точно надо сказать. Доволен?

— Не доволен, — честно отвечаю я.

— Если бы ты вчера не чувствовал себя так, я бы с тобой не поехала.

— И что бы ты ела без меня? Ты что думаешь, что я виноват?

— Нет, я тебе просто говорю.

— Ты говоришь таким тоном, как будто это из-за меня.

— Потому что это правда из-за тебя. И из-за меня. Из-за нас с тобой. А теперь я в замкнутом пространстве.

Мы говорим тихо, практически шипим друг на друга, и эти звуки, наверное не очень приятные, будят Юстиниана. Он свешивается вниз, говорит:

— Уважаю ваше право на личное пространство так же, как вы — мое право на здоровый сон.

— Нам нужно тебе кое-что сказать, — говорю я.

— Вы встречаетесь? Это ничего, я ее у тебя отобью.

Мы с Нисой молчим. На самом деле я не знаю, встречаемся мы или нет. Или мы так дружим? Ниса касается пальцем кончика своего носа, давит, будто нажимая какую-то невидимую кнопку, которая придает ей решительности.

— После того, что я скажу, ты не захочешь со мной встречаться.

— У тебя триппер? О, не переживай, я люблю приключения!

— Теперь я не захочу с тобой встречаться.

Мне и смешно, и немного обидно. Я не чувствую к Нисе какой-то очень яркой ревности, но я как будто не совсем отделяю ее от себя. Ощущение странное, у меня такого не было.

У меня было другое: мама. Я стараюсь не думать о том, что случилось, потому что сразу становлюсь другой — печальный и болезненный, как будто у меня везде кровь, и сам я — рана.

Офелла спит, все в той же позе, отчаянно обнимает одеяло. Я думаю, лучше по очереди им сказать. Офелла переживет меньше стресса, если Юстиниан уже выдаст худшую реакцию, которую может.

Ниса повязывает платок, осторожно убирая волосы. Снова не видно ничего, кроме ее глаз. Она берет перчатки и натягивает их, но пальцы остаются свободными, и она вытягивает руки, будто хочет погреться у несуществующего костра. Я без слов понимаю, что пора. Чуть вздергиваю шторку, так что узкая полоска утреннего света проникает в купе.

Запах гнили теперь вовсе не сладкий, мерзкий, но ко всему можно привыкнуть, и он больше не кажется мне таким чудовищным. Белые пальцы Нисы мгновенно окрашиваются сиреневым и черным, распухшие, кажушиеся неповоротливыми, они тем не менее двигаются

как живые, и оттого выглядят еще более жутко. Ниса закрывает глаза, и я вижу опухшие от загустевшей, гниющей крови сосуды на ее веках. Указательный и большой пальцы прямо там, где смыкаются с кожей перчаток, обнажены до самой кости. Юстиниан смотрит во все глаза, я не знаю, чего от него ожидать — он мог бы и заорать от испуга, а мог бы и целовать эти руки. Он смотрит на Нису, потом снова на ее руки, на блестящие островки плоти под гниющей кожей. Только пальцев, думаю я, вполне достаточно. Увидеть больше я бы не хотел. Мне жаль Нису, и в то же время она, разлагающаяся на свету, проживет намного и намного дольше меня, целого, живого, с бьющимся, горячим сердцем.

Юстиниан зажимает пальцами нос, говорит:

— Я всякого повидал, но нюхал куда меньше.

Получается смешно и гнусаво, но мы с Нисой смотрим на него серьезно. Прими нас, думаю я, хотя вообще-то причем здесь я? Юстиниан рассматривает ее руки с горящим, даже не очень вежливым интересом, потом спрашивает:

— Больно?

Ниса качает головой.

— Так наказали твой народ?

— Это дар, — говорит Ниса. Она хмурится, затем нараспев тянет:

— Матерь наша земля, дает нам жизнь вечную, но наполовину мы принадлежим ей, и она берет свое. Земля пожирает наши тела.

— Вечную жизнь?! Ты серьезно! О, я бы хотел жить вечно! Я бы столько хотел увидеть!

А потом взгляд его натывается на ее пальцы, сбивается вместе со словами. Он говорит:

— Если ты откроешь лицо, меня стошнит.

— У всего есть свои плюсы и минусы, — говорю я.

— Дурачок прав. Слушай, а причем здесь солнце? Почему ты не разлагаешься, скажем, после вечернего чая? Или от заката до восхода луны?

— Потому что солнце питает мою богиню, греет ее тело, и она пожирает и переваривает наши тела.

— Какой хтонический ужас! Мне нравится!

Но я вижу, что ему нравится намного меньше, чем он показывает. Глаза у него большие и внимательные, как у человека, который очень хочет показать, что ему приятно на что-то смотреть, а на самом деле нет. Юстиниан слезает с верхней полки и наступает на Офеллу. Она вздрагивает, подсакивает, и в этот момент, наверное, видит самое худшее, с чего можно начать день. Разлагающиеся пальцы Нисы тянутся к ней, хотя на самом-то деле Ниса в этой застывшей позе провела уже пять минут. Офелла, ошеломленная сначала грубым пробуждением, а затем этим зрелищем начинает визжать. Ниса бросается к ней, чтобы зажать Офелле рот, но явно не думает о том, как это выглядит, а Юстиниан, не удержавшись, падает на пол.

— Офелла! — говорю я. — Офелла, все в порядке!

Наверное, я говорю неубедительно. Я хватаю Нису за руки, прижимаю к себе.

— Все хорошо! — говорю я. — Она...

Она что? Не очень хорошо было бы сказать, что она не дикая. Ниса такой же человек, как и мы все.

— Она хорошая, — говорю я, наконец, и тогда Юстиниан начинает истерически смеяться. Некоторое время визг Офеллы и смех Юстиниана представляют собой один и чудовищный звук, а потом Офелла смотрит на Юстиниана, и вдруг глаза у нее становятся

скептическими. Наверное, она понимает, что никто здесь не собирается никого убивать, как в фильмах про живых мертвецов.

— Что это было?! Что это, мать твою, было?! Это твой дебильный прикол, Юстиниан?

Но Юстиниан не перестает смеяться, а Ниса вдруг начинает плакать, и слезы у нее вполне настоящие, и я понимаю, как ей обидно. Я прижимаю ее к себе, глажу по голове. Офелла ругается, Юстиниан смеется, а Ниса плачет, только я ничего не делаю. Раздается стук в дверь, настойчивый и нервный, и я закрываю шторку, пальцы Нисы приобретают прежний вид. Я открываю дверь, улыбаюсь проводнику.

— Прошу прощения, — говорит он. — Я слышал крики.

Офелла на секунду кажется предельно разозленной, и я почти уверен в том, что она сделает что-то ужасное, расскажет про Нису или в чем-нибудь нас обвинит, но ее лицо вдруг становится очаровательным, улыбка придает блеску ее глаз совсем другое значение.

— Простите, пожалуйста! Мне приснился кошмар!

А я напоминаю:

— Мы едем в Бедлам.

— Я не хотел вас беспокоить.

— Мы уже все обеспокоены и без вас, не стоит переживать, — выдавливает из себя Юстиниан. Ноздри у проводника трепещут, запах он явно улавливает, но не соотносит с чем-то детективным и человеческим. Может быть, думает, что раз мы едем в Бедлам, то и гнилое мясо с собой в рюкзаках везем.

Он еще раз извиняется, закрывает дверь, я возвращаюсь на кровать, и тогда Ниса утыкается мне в колени, и я глажу ее по голове.

— Извинитесь, — говорю я.

— За что? Что вообще происходит?

Лицо Офеллы снова становится раздраженным, и я вздыхаю.

— Ниса рассказывала про свой народ.

— Я засмеялся, потому что абсурдность ситуации зашкалила, и я почувствовал катарсис не-смысла.

Пока я объясняю про народ Нисы, она лежит у меня на коленях, больше не плачет. Плакала она вообще всего минуту, а теперь просто не хочет показываться. Я глажу ее по голове, как кошку, и она, кажется, довольна. В основном, наверное, тем, что мне приходится все объяснять. Только когда я заканчиваю говорить про их богиню и про то, что они живут вечно, наполовину мертвы, а наполовину живее всех живых, Ниса поднимает голову.

— А питаемся мы кровью!

Бросив это провокационное заявление, она снова утыкается головой мне в колени. Объясняться опять приходится мне:

— Они питаются кровью, — говорю я. — Но все в порядке, я же жив. Маленькие парфяне могут питаться только кровью того, кем в первый раз питались, поэтому они не убивают.

— Потом не все убивают, — бормочет Ниса. Получается не очень разборчиво, но все равно жутковато. Если убивают не все, то какое-то количество, значит все равно убивает и, наверное, немалое. Грациниан и Санктина наверняка среди тех, кто не оставляет своих жертв в живых. Хотя, может быть, я к ним слишком придираюсь из-за разницы культур.

— И если вы постоянно вместе, выходит что это тобой она питается? — спрашивает Офелла.

— Да, — говорю я с гордостью. — Я — ее донатор.

— А покажешь? — спрашивает Юстиниан. — Такая артхаусная порнография, да?

— Это тебе не цирк, — говорю я. Но Ниса снова поднимает голову, ее длинные зубы блестят, Офелла и Юстиниан тут же подаются назад, как люди, которые увидели змею. Я думаю, что страх перед длинными зубами лежит глубоко в человеческих головах, он далекий и первобытный, и поэтому его сложно сдержать — все отвыкли от него.

— Вообще-то пора, — говорит Ниса. Офелла закрывает глаза руками.

— Я это видеть не хочу!

— Просто лучше здесь, — говорит Ниса. — Не хочу привлекать внимание, хотя бы пока мы не выйдем из поезда.

Офелла кивает, не отнимает руку от глаз и сжимает зубы. Юстиниан наоборот смотрит очень внимательно. Я сажаю Нису к себе на колени, она отводит воротник моей рубашки. Я очень благодарен ей за то, что она спускает платок только уткнувшись мне в шею, но я все равно чувствую влажную гниль ее кожи, и трупный запах усиливается, но уже не вызывает у меня тошноту. Ниса пьет быстро и жадно, на этот раз больше и дольше, чем обычно. Только смотря на Юстиниана, на его взгляд я понимаю, что мы с Нисой и в самом деле делаем нечто интимное, а может даже и эротическое. Ниса не останавливается, когда я начинаю чувствовать себя слабее, и только когда у меня в глазах темнеет, она отстраняется, облизывает треснувшие губы, и тут же скрывает их платком.

— Я хотела выпить побольше, сегодня может быть сложный день, это чтобы тебя не беспокоить.

Я киваю, хотя смысл ее слов пролетает мимо меня и приземляется где-то далеко, как перекинутый через забор мяч.

— Ты в порядке, Марциан? — спрашивает Офелла, голос у нее обеспокоенный, и звенит где-то надо мной.

— Лучше всех, — говорю я, надеясь, что это ее убедит. — Только немного полежу. Или посижу. Смотря в каком я сейчас состоянии. Вот в таком меня и оставьте.

— Ты его не убила?

Ниса качает головой, я скорее ее движение отмечаю, чем по-настоящему вижу. Офелла берет свой розовый рюкзачок, ставит на коленки и долго роется. Она с шуршанием что-то разворачивает, вкладывает мне в руку.

— Это гематоген. Наслаждайся.

Я не то чтобы наслаждаюсь, вкус сахара и коровьей крови не особенно мне приятен, и легче не становится, но мне приятна забота Офеллы.

— Ты его чуть не убила!

— Я знаю, когда остановиться, скоро он придет в себя.

И в голосе Нисы я слышу даже какую-то гордость, она знает что-то, чего Офелле с Юстинианом не понять, чувствует как-то по-другому. А обо мне Ниса говорит так, будто я ее собственность. Я где-то слышал, что в Парфии все еще есть рабы, поэтому может это и логично. Культурно обусловлено, так бы Юстиниан сказал.

Юстиниан спрашивает:

— А как насчет зубов? Они вытягиваются, когда ты хочешь?

— Когда я голодная.

— А когда их нет, ты во рту не чувствуешь ничего лишнего?

— Конечно, не чувствую, их же нет.

Офелла тоже не выдерживает, спрашивает:

— А как ты понимаешь, что хватит?

Ниса задумывается, некоторое время молчит, и меня баюкает стук колес, я бы пять минут вздремнул, но приходится жевать гематоген. Зачем Офелла носит его с собой? Вряд ли для таких случаев.

— Это сложно объяснить. Это как зрение или слух, только для крови. Я чувствую ее ток. Ощущаю, сколько ее. Не цифрами, не литрами. Как бы как мы глазами определяем расстояние до предмета. Далеко, близко. Примерно, в общем.

Она замолкает, ей явно неловко. А потом толкает меня в плечо.

— А твои друзья любопытнее, чем ты, Марциан! Ты был куда меньше удивлен!

— Дураки имеют привычку принимать на веру самые невероятные вещи и отрицать то, что считается константами. Это, собственно, главная причина, почему мы здесь.

В этот момент к великой радости Юстиниана, который так вовремя подвел итог, что получилась замечательная композиция момента, поезд останавливается. По радио на потолке объявляют точное время прибытия в Треверорум.

Встать у меня получается легче, чем я ожидал, может быть, гематоген и вправду волшебная вещь, а может быть Нису никогда не обманывает чутье, но идти приятно, даже приятнее обычного, потому что очень легко.

Ниса плотнее заматывает платок, сменяет перчатки на те, в которых не видно пальцев, еще более плотные, и надевает капюшон. Она выглядит отчасти как Грациниан и Санктина, когда я их встретил, но в более современном варианте. Скорее девушка, которая водит мотоцикл и слишком часто нарушает правила дорожного движения, чтобы показывать свое лицо, чем жуткое ночное существо уже не вполне человеческой природы.

Я далеко не такой расторопный, каким себя ощущаю, поэтому Юстиниан обгоняет меня, а Ниса тянет за руку.

— Быстрее! — шепчет она. — А то поезд уедет обратно вместе с тобой!

На самом-то деле я не такой дурак, чтобы не догадаться — Ниса хочет быстро выйти на открытое пространство, чтобы никто не успел заметить, что трупный запах исходит от нее. Мы выскакиваем на перрон быстрее многих, потому что багажа у нас нет. Понимание, что мы приехали в очень странное место приходит мгновенно. И дело вовсе не в людях. Они, как и на любом другом перроне, встречают друга друга, плачут, обнимаются, смеются, берут друг у друга сумки и взхлеб что-то говорят. Может быть, Юстиниан, Офелла или Ниса могли бы переживать из-за того, что все эти люди — ненормальные, в том или ином смысле, и что с виду не сразу скажешь, насколько они могут быть безумными. Но я не переживаю: я сумасшедший, и моя сестра, а мой папа сейчас даже еще более сумасшедший, чем обычно. Станным мне кажется другое — сам город. Перрон — просто небольшое гладкое пространство, и за лестницей нет никакого вокзала, только кассы, похожие на киоски с журналами. Голый асфальт, проржавевшие, давно некрашенные поручни, так что уже и непонятно, какого они были цвета, и больше ничего, даже никаких палаток с газировкой и шоколадками. За этим относительно нормальным пространством начинается сам Бедлам. Он не кажется в полной мере ни городом, ни лесом, и нигде в Бедламе не видно границы между этими двумя явлениями. Обычно есть парки, где деревьев много, и дворы, где их — небольшие островки, еще они растут вдоль дорог, чтобы собирать пыль. И даже если кажется, что никакой логики в том, как растут в городе деревья нет, на самом деле она есть. Они как бы имеют свои места, где их ждут. В Бедламе деревья внедряются в город. Они

растут посреди разбитых дорог, на площадях, стоят впритык к обшарпанным, невысоким домам и магазинчикам, стоят вместо заборов и между их прутьями и досками, обрубая их непрерывность.

Большие и небольшие, зеленые и начинающие желтеть, все эти деревья выглядят как их дикие, лесные собратья, а не чахлые, утопленные в смоге городские уродцы. Дома невысокие, поэтому сначала мне кажется, что мы и вовсе не в город приехали, а в поселок. И хотя домов и магазинов достаточно много, они выглядят отделенными друг от друга плотной пеленой листвы.

Папа никогда не рассказывал мне о Бедламе, и поэтому я не особенно представлял, чего ждать. Юстиниан говорит:

— Очень концептуально.

Ниса свистит, и человек рядом с нами закрывает уши, как будто свист этот вышел у Нисы нестерпимо громким. Я говорю:

— Очень зеленый город.

И мы все понимаем, что сейчас что-то должна сказать Офелла. Мы оборачиваемся, а ее рядом нет.

— Ее что уже украли? — спрашивает Ниса. Я слышу голос Офеллы.

— Я что по-вашему дура — расхаживать просто так в месте, где полно сумасшедших?

Но ее по-прежнему нет рядом.

— О, дорогая, молись, чтобы они приняли тебя за голоса в своей голове.

И я понимаю, что Офелла ведь, как и все из ее народа, может становиться невидимой. Интересно, какую невероятную красоту она видит сейчас?

— Только не отставай, — говорю я.

— И не подумаю. У тебя есть план?

Я о нем не думал, но он у меня есть. Мы спускаемся по лестнице, железные скобы удерживают ее от окончательного разрушения. Все здесь запущено, забыто, но не только потому, что многие предпочли уехать из Бедлама и раствориться в Вечном Городе, и в других городах Империи. Здесь, в общем-то, и нет цивилизации, и надежды на нее нет. Все уступает этому глубокому, высокому лесу.

— Мы пойдем в музей, — говорю я. Юстиниан пожимает плечами.

— Не зря же мы здесь, музеи это замечательно, хотя они, конечно, никогда не показывают ничего живого, потому как все, что оказывается в музее, уже умерло, иначе ему нет нужды там быть. Кроме меня, конечно.

Я говорю:

— В музее знают историю, так?

Ниса говорит:

— Ну, или делают вид.

— Там нам подскажут, в какую сторону идти, чтобы дойти до места, где наша прародительница принесла в жертву своих детей.

Я чувствую рядом Офеллу, от ее руки исходит невесомое, нежное тепло. И мы входим в Бедлам. На самом деле я не знаю, где здесь музей, поэтому приходится спросить. Я обращаюсь к милой девушке, выгуливающей собаку.

— Здравствуйте! Не подскажете, где здесь музей?

Она смотрит на меня с полминуты, глаза у нее внимательные, даже слишком. Одной рукой она сжимает поводок, а пальцы другой ее руки путешествуют от шеи до подбородка,



пробегают по коже, как паучьи лапки, и движение это постоянно повторяется. Она говорит:

— Прямо, до площади, а там вы увидите его, он слева.

И ничего особенного в ее голосе нет. Мы идем дальше, и я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на нее еще раз. Она стоит в той же позе, ее пальцы так же путешествуют от шеи к подбородку, и она смотрит нам вслед.

Очень приятная девушка. Идем мы, как в лесу, и площадь узнать сложно, потому что это тот же лес, только с редкими бетонными блоками под ногами. Это не деревья проросли в бетоне, а бетон аккуратно уложен там, где можно. Все здесь подстраивается под лес и уступает ему. Неестественно видеть здесь людей, занимающихся обычными для города делами. Они выгуливают собак, носят сумки из магазинов, курят на балконах. Словом, делают все, что с лесом не сочетается.

А вот машин мало, как и дорог. Они выглядят здесь как реки. Идти по Бедламу очень одиноко из-за того, что постоянно приходится огибать деревья, и нельзя ходить рядом, а можно только друг за другом.

На самом деле легко увидеть, что люди здесь чокнутые, хотя они не так сильно отличаются от обычных. Есть и те, по кому сразу все понятно — женщина, кормящая ворон, растрепанная, как ее подопечные птицы, разговаривающий сам с собой мужчина, то ли в сильном подпитии, то ли в психозе, в каком иногда бывает Атилия. Я вижу маленькую девочку, она танцует на бетонной плите между двумя деревьями, совершает ровное число движений: влево, право, прыгнуть на одной ноге, хлопнуть в ладоши, и снова.

А есть другие, которые одеты как все и делают все то же, что и все. И, судя по лицам Юстиниана и Нисы, те, которые как все, кажутся им более жуткими.

— Как здесь вообще живут люди? — спрашивает Ниса.

— Я тут не жил.

— Зато, знаешь, здесь такой свежий, наполненный кислородом воздух, что даже почти не ощущается, как ты гниешь.

— Юстиниан, знаешь, почему тебя все ненавидят?

Но прежде, чем Юстиниан ответит, я показываю рукой в сторону того, что, наверное является музеем. Над этим зданием, больше похожим на барак, так и написано. Ну, на самом деле не совсем так. На окнах решетки, но сами окна заложены кирпичом. А в слове "музей" даже я вижу две ошибки. Написано "муззэй". Решетка очень красивая, от полукруга, похожего на восходящее солнце, идут лучи перекладин. Все остальное — уродливое.

— Вот музей, — говорю я. — Там нам все подскажут.

На лице Нисы читается недоверие. Я делаю шаг вперед, и в этот момент меня перехватывают за руку, очень крепко.

— Ты ведь сын Бертольда, да? Да?

Я слышу варварский акцент такой яркий, что едва понимаю, что именно говорят, оборачиваюсь, чтобы переспросить и вижу синеглазую женщину, стареющую и красивую. У нее спутанная коса волос, такая толстая, что кажется она состоит еще из нескольких кос. Она пускается вниз, почти к самым ее коленям. Коса у нее сочная и рыжая, еще рыжее, чем волосы Регины и Юстиниана. Такая, словно ее в краску окунули. На ее тонком лице время давно проложило магистрали морщин, но нос и губы очень красивы.

А самое странное в ней это глаза, они смотрят отчаянно, и кажется, что синеют от этого еще сильнее.

Ее рука с длинными, морщинистыми пальцами берет меня за подбородок, и я замечаю, что ногти у нее покрашены с математической аккуратностью, ни единого пятнышка лака на коже. Узловатые пальцы обхватывают широкие кольца с массивными камнями, оправы которых похожи на вензеля.

— Сын Бертхольда? — переспрашиваю я. Я и вправду не уверен в том, что она сказала, слишком неразборчивые получаются ее слова — рычащие, ударяющиеся от зубов. Еще я не знаю, кто такой Бертхотльд. Но этого я не знаю всего секунду. Забытое имя, которое папа не использовал с того дня, когда началась война. Папино первое имя, которое он, наверное, и сам уже забыл, и я его почти забыл. Папа всего один раз рассказывал нам с Атилией, как его звали прежде, чем мы появились на свет.

— Сын Бертхольда, — повторяет она, как будто само это имя утоляет какую-то ее глубокую жажду. Ее улыбка больше напоминает оскал, крепкие белые зубы клацают.

— С чего вы взяли? — говорю, а Юстиниан говорит:

— Я бы на твоём месте спросил, кто такой Бертхольд?

Я чувствую Офеллу рядом, ее теплая рука на секунду касается моих пальцев, как будто она хочет меня увести.

— Я знаю, кто такой Бертхольд. Наверное. Не всех Бертхольдов на свете, конечно, но кое-какого знаю.

И он правда мой отец.

Женщина отпускает меня, и только тогда я понимаю, что ее прикосновение было болезненным, словно она хотела залезть мне под кожу.

— У тебя его глаза, — говорит она. — Эти глаза я никогда не забуду.

Я думаю, что тоже не забуду ее глаза. Мы могли бы сказать друг другу комплименты.

— У тебя его черты. На секунду я подумала, что прошлое смешалось с будущим, и вот он, совсем юный, на площади в свою честь. Но ты ведь его сын! У него есть сын, я знаю! Эта дрянь принесла ему потомство.

— Не смейте так говорить о моей матери!

От злости меня бросает в жар, а потом ее становится жалко.

— Госпожа, вы имеете в виду императора Аэция? — спрашивает Ниса. Она подчеркнута вежлива, и я понимаю — ей жутковато говорить с сумасшедшей. Это смешно, потому что Ниса зубастая, кроваядная и мертвая.

Женщина кивает, у ее духов удушливый, гвоздично-розовый аромат, настолько сильный, что перебивает даже исходящий от Нисы запах. Она только на секунду одаривает Нису

взглядом, радужка ее синих глаз вспыхивает, двинувшись, и снова глаза женщины впиваются в меня.

— Я — Хильде. Ты меня не помнишь, не знаешь. Он не говорил тебе, да?

Папа ничего не говорил мне о женщине по имени Хильде, но я вообще-то не особенно спрашивал его о том, как он жил в Бедламе. Я видел, ему не нравится об этом говорить, и вообще не нравится, что Бедлам все еще существует, и кому-то все еще приходится там жить.

— Не говорил, — отвечаю я. — Но мы с моими друзьями здесь как раз для того, чтобы помочь моему папе.

Она вдруг начинает смеяться, смех у нее птичий, выдающий ее возраст лучше морщин. Он обрывается так же внезапно, как и начинается. Лицо ее становится серьезным, бледный язык мелькает между неестественно белыми зубами.

— Давай-ка поговорим дома, Бертхольд.

— Я не Бертхольд.

— Или Бертхольд, — говорит Юстиниан. — Я бы с ней не спорил.

Я тоже решаю с ней не спорить. Я слышу шепот Офеллы, меня обдает другим запахом, молодым и клубничным.

— Мы что серьезно пойдем с ней? Она сумасшедшая!

— Она знает папу, — говорю я. — Значит, захочет нам помочь.

— Она похожа на злодейку из фильма, — говорит Ниса. Хильде идет не так далеко, но на реплику Нисы не обращает никакого внимания. Она вправду напоминает злодейку, скорее даже из мультфильма, чем из фильма. На ней длинный матерчатый плащ, темно-синий, почти черный, с лисьим мехом на вороте, кое-где уже исчезнувшим, а кое-где цветущим очень пышно. Платья или юбки под этим плащом не видно, поэтому выглядит так, будто на ней только черные колготки и красные лакированные туфли, выглядящие совсем новыми. Высокие каблуки то цокают по бетону, то замолкают, касаясь земли. Хильде огибает деревья совершенно автоматически, как будто даже не видит их. Ее походка кажется странной, словно бы она и не мертвецки пьяна, но близка к этому. Мы огибаем музей, углубляясь в город. Всюду кирпичное крошево тонет во влажной, дающей приют деревьям земле.

Кажется, будто никто здесь ничего не делал, чтобы возвести город, он сам всходил, где придется. Хильде не говорит нам больше ни слова, а мы иногда переглядываемся со смесью недоверия и азарта. Очень жаль, что я не вижу Офеллу, но зато я чувствую, как она разозлена.

Дорог здесь, в общем-то, нет. Есть тропинки, изменчивые и петляющие, проложенные только шагами. Дом Хильде находится недалеко от музея, он выше других домов здесь, больше похож на панельную многоэтажку, каких папа множество возвел по подобию этой в Вечном Городе. Только этажей здесь не так уж много, всего четыре, и время явно не пощадило дом. В Вечном Городе дома чаще белые или кремовые, а их предок из Бедлама сделан из темно-красного кирпича. Некоторые окна в нем выбиты, оскалены, а некоторые могут похвастаться просто блестящей чистотой. Мы заходим в подъезд, его темная прохлада остужает мне голову. Белый утренний свет почти не проникает в окна из-за деревьев, тесно приникших к ним. Мы поднимаемся вверх, и я понимаю, что окна на каждом этаже расположены по-разному, изнутри это особенно заметно, потому что снаружи буйная зелень закрывает почти все. Эти окна как слепые глаза. Стук каблуков Хильде кажется жутковатым даже мне, хотя в целом ничего в ней страшного нет — просто сумасшедшая старушка, одна из многих.

Интересно, под какими она родилась звездами? Ниса берет меня за руку, а Юстиниан насвистывает какую-то песенку, старую и звенящую в пустом пространстве подъезда. На третьем этаже Хильде останавливается, достает ключи, а потом вдруг бросает их на пол, и они с очень жалобным и резким звуком бьются о камень.

— Я ненавижу это песню, — сквозь зубы цедит она, и мне на секунду кажется, что сейчас, будто в кино, она запустит руку в карман, достанет блестящий револьвер и выстрелит Юстиниану в голову.

— О, прошу прощения, — говорит Юстиниан. — Мне казалась, она довольно нейтральная. Итальянские цветы и жаркое лето, и...

— Мы умирали тем летом, — говорит она, и Юстиниан замолкает, хотя мог бы сказать, что его мать тоже воевала. Мы все теряемся в присутствии Хильде. Перед ней и стыдно, и жалко ее, и жуть от нее накатывает волнами, как запах ее духов.

— От тебя пахнет смертью, — говорит она Нисе. То есть, она подбирает ключ, вставляет его в замок и не оборачивается, но все мы знаем, к кому она обращается.

— Извините, — говорит Ниса. А наверху, на последнем этаже, звон ключей или наши голоса, пробуждают в чьей-то глотке мерный, постепенно усиливающийся вой. Звериный, почти не похожий на человеческий, идущий горлом у кого-то, как кровь, этот вой, заглушенный стенами, кажется еще пронзительнее и уродливее. И я понимаю, почему папа хотел освободить людей Бедлама.

Не только из-за бедности и убогости жизни в этом городе, а из-за того, что всюду здесь было отчаяние, топкое, как болото, страшная, убогая жизнь сводит людей с ума еще больше.

— Большинство домов здесь оставлены, — говорит вдруг Хильде вполне нормальным голосом. — Раньше Бедлам был полон, теперь все, кто могут, уезжают.

— А вы не можете или не хотите? — спрашиваю я. А она впускает нас в свой дом, где во все стены, в потолок и пол вьелся запах ее духов и еще какой-то, тоньше и пронзительнее, совершенно старческий. Пахнет нафталином, и старыми-старыми вещами, забытыми в мире снаружи. А вот пылью не пахнет, все чисто и аккуратно, паркет даже блестит, там где на нем еще остался лак. В темной прихожей глаза Нисы светятся особенно ярко, и это страшное золото кажется мне успокаивающим. Я случайно наступаю на ногу Офелле, и она тихонько шипит. Вдруг Хильде поворачивает голову, как дикая птица, заметившая добычу, кажется, человек так резко голову повернуть не может. Она замирает, а потом расплывается в улыбке.

— Добро пожаловать.

Все здесь старое, как Хильде, а может и старше нее. Они с этой квартирой явно старели вместе. Хильда приводит нас в гостиную, где в углу стоит патефон, древний, с откинутой крышкой, если закрыть которую, патефон окунется в чемоданчик, и ничто не будет выдавать его, кроме рычажка. Когда-то о таких удобных патефонах все мечтали и, наверное, в Бедламе сложно было его достать. Все здесь строгое, старомодное, и одновременно с этим кокетливое. В центре комнаты располагается большой, потертый диван, накрытый атласным покрывалом с кисточкой, так что дырки стыдливо выглядывают только на спинке. У окна стоит красная ширма с золотыми узорами в виде зверей, и это кажется мне странным. Ширма, это что-то интимное, женское, нужное, чтобы скрыть себя от посторонних глаз, и ей место явно не в гостиной и не у окна. Комната просторная и вместе с тем тесная от старых, ненужных вещей. Большой шкаф полон сервизами, которые нужно сменять каждый день, чтобы использовать каждый хотя бы раз в две недели, фортепьяно, по которому Хильде проходит пальцами, явно расстроено. Потолки здесь высокие для типового здания, выше,

чем в квартире Офеллы, например. Хотя я не много таких квартир видел, так что утверждать было бы нечестно. Потолок остается единственным прибежищем грязи, тут и там чернеют пятнышки, то ли замершие насекомые, то ли застарелая до полного почернения пыль.

— Я приготовлю вам чай, — говорит Хильде. Она уходит на кухню, и мы остаемся в этой комнате одни. Она выглядит даже менее безумно, чем жилище Офеллы, и в то же время отчего-то в ней жутко. Я запрокидываю голову, смотрю на лампу, скрытую под оранжевым, обрамленным кружевом абажуром.

— Очень миленько, — говорит Офелла, и я предполагаю, что она стоит у окна, а потом сами собой раздвигаются тяжелые, как занавес в театре и такие же красные шторы, и у меня уже не остается никаких сомнений в том, где именно Офелла. Я даже радуюсь, что угадал.

— Похожа на старушку, которая нас отравит, — говорит Юстиниан с каким-то заразительным весельем. А я замечаю, что здесь нет ни одной фотографии, хотя такие старые квартиры, населенные старыми людьми обычно усыпаны свидетельствами их молодости.

А ведь мой папа на самом деле такой же, ненамного младше, просто не выглядит так. И в такой квартире не живет.

Мы рассаживаемся на диване, теснее, чем можно было бы, чтобы оставить место для нашей невидимой подруги.

— Ты уверен, что не стоит все-таки в музей зайти? В музеях обычно работают адекватные люди.

— О, моя дорогая Ниса, это город сумасшедших, адекватных людей с точки зрения нас с тобой здесь нет. Разве что Марциан, но, в основном, потому что мы привыкли к нему.

Хильде возвращается с подносом, железным, с приподнятыми краями, похожими на цветочные лепестки. По тому, как дрожат на нем чашечки, я понимаю, что у Хильде трясутся руки. Она со звоном ставит поднос на столик перед нами, и я думаю, что в последнее время постоянно пью чай, даже устал от него.

В центре возвышается идеально круглый торт, полностью покрытый белым кремом, похожим на волны, а вокруг него, как култ или детский хоровод, стоят маленькие чашечки, у кое-каких из них края сколоты, на других затерся рисунок, но эти чашечки-калеки все еще красивы, потому что сделаны из фарфора, а его тонкость прекрасна сама по себе.

— Я ждала гостей, — говорит Хильде. Она садится в кресло перед нами, сцепляет украшенные кольцами руки старческим, беззащитным жестом. За окном будто бы лес, редкие проплешины которого кажутся ошибками и уродствами, а не человеческими жилищами.

После паузы Хильде добавляет:

— Я ждала тебя, Бертхольд.

Я снова хочу сказать, что вовсе я не папа, но Юстиниан пихает меня в бок, и мне становится больно и обидно, я молчу.

— Я думала, я тебя не увижу. Ты стал великим человеком, теперь они лижут твои ботинки в Вечном Городе, а кто я?

Действительно, кто она? Мне так хочется задать этот вопрос, но он будет какой-то очень невежливый. Хильде подносит пальцы к губам, потом словно вспоминает, что ногти покрашены и покрашены хорошо, рассматривает их, затем хватает нож, слишком резко, чтобы нам было комфортно, и начинает резать торт. Под сливочным морем показывается песочный бисквит.

— Наша мама умерла, пока ты боролся за нас. Ты говорил, что можешь видеть красоту в нашей жизни, но ты и оставил нас. Мы родились здесь, это наш дом. Ты разрушил наш дом и опустошил.

Я смотрю на нее, и вдруг вижу, что несмотря на то, что у нас разные глаза, и разный их цвет, и у меня, и у нее, и у папы одинаковые красноватые синяки под глазами, будто мы долго не спали или веки у нас воспалены. Значит, Хильде — моя тетя? Отец никогда не говорил о ней.

— Зачем ты уехал? Столько людей погибло за твою мечту, Бертхольд.

А потом я вижу, что глаза ее наполняются слезами. Никогда я не был в более неловкой ситуации — незнакомая мне пожилая женщина плачет, смотря на меня, и она — моя тетя, принимающая меня за моего отца. Я не знаю что сказать.

— Молчишь? Ты всегда молчал.

Ее руки тем не менее продолжают раскладывать по блюдам куски торта, она передает их Нисе и Юстиниану, и даже мне совершенно механически. Она нас видит, гостеприимно угощает, и в то же время говорит со своим братом о своей неизбывной боли — эти два события происходят как бы параллельно и для нее, и для нас.

— Я никогда не приеду туда, Бертхольд. Там живут наши враги. Лучше я умру здесь, чем буду жить бок о бок с теми, кто унижал нас.

Я не решаюсь есть свой торт, хотя он представляется очень вкусным, Ниса только смотрит на него с тоской, зато Юстиниан наслаждается всем вполне и выглядит так, словно смотрит представление.

— Разве ты не понимаешь? Нам не место там, брат, никому из нас. Мы пересотворены нашим богом не так, как они. Мы должны знать свое место, и оно здесь. Мы не сможем жить там, как птицы не могут жить под водой.

Мне становится так ее жаль, ее узловатые пальцы трут камни на кольцах, она волнуется и плачет. Я говорю:

— Я не Бертхольд, тетя Хильде. Я Марциан, его сын.

Ее блестящие от слез глаза, похожие на драгоценные камни в ее кольцах не меняются, но рука мгновенно вскидывается, как змея. Она отвешивает мне пощечину, да такую, что в голове звенит, а зубы клацают.

— Вы что с ума сошли?!

Голос у Нисы впервые становится очень злой, не просто резкий, а громкий, но Хильде не обращает на нее никакого внимания.

— Грязь и мерзость.

Она сплевывает мне под ноги.

— Когда эта принцесская шлюха понесла от него, я поклялась больше ни слова ему не писать. А теперь ты, ублюдок, в моем доме!

— Вы сами меня пригласили. И вы сами поняли, что я его сын!

Она вдруг берет чашечку чая, добавляет себе сахар, со спокойным достоинством помешивает его ложкой, постукивает, изымая из фарфора мелодичный звон.

— Грязь, падаль, гниль, очернил нашу кровь, — говорит она. Потом спокойно отпивает чай и пододвигает к нам сахарницу.

— Не стесняйтесь, — говорит она. — Чай получился слишком крепкий. Без сахара пить его совершенно невозможно.

Эта раздробленность, распад восприятия заставляет мою голову заболеть. Хильде

одновременно выплевывает слова ненависти в мою сторону и остается гостеприимной хозяйкой, озабоченной только чаем в звенящих чашечках.

— Погода сегодня холодная, а то можно было бы выйти на балкон, — мечтательно говорит она. — Там, фактически, терраса.

Ее ложка погружается в сливки на торте, она говорит:

— Я хотела бы, чтобы ты и твоя сестра сдохли. Ублюдки, недостойные нашего горестного бога. Дети врага, опозорившие моего брата.

Она говорит:

— Но, думаю, к полудню солнышко выглянет.

И злые слезы текут по ее лицу.

— Я понимаю, что вы ненавидите меня, я понимаю.

— Только хотела еще раз взглянуть на его лицо, — вдруг шепчет она. Слезы каплют в чай, когда она склоняет голову.

— Это просто потрясающе, — говорит Юстиниан. — Невероятно, я в восторге! Я напишу такую пьесу!

— Ешьте, пожалуйста, торт, — отвечает Хильде. — Не стесняйтесь.

— Мне так не хочется ранить вас, — говорю я. — Мне так жаль, что вам, то есть, тебе, то есть вам все-таки — плохо. Я бы хотел, чтобы было легче. Я не знаю, правда, как вам будет легче.

Она отпивает чай, смотрит на меня ясными, старческими глазами.

— Если ты сдохнешь.

— Наверное, я когда-нибудь умру, но дело в...Бертхольде.

Она ставит чашку, чай взмывает вверх, а потом проливается на стол.

— Что с ним?!

— Ему нужна помощь. Очень нужна. И ему может помочь только наш бог.

— Наш бог не ходит среди людей.

— Но есть место, где он однажды был.

Ниса внимательно слушает, глаза ее следят за нами, она даже голову поворачивает то ко мне, то к Хильде, как кошка, смотрящая за игрушкой, которую дергают туда и сюда.

— Ты имеешь в виду, Звездный Родник?

— Я не знаю, — честно говорю я. — Может быть, я имею в виду его. Не уверен. Это там наш матриарх убила своих детей?

Она улыбается, говорит:

— Ты хороший мальчик. Да, это случилось там. Святое место пришло в запустение. Тайный сад в лесу, за городом. Но я храню ключ от него. Я могла бы показать тебе, в конце концов, каждый небесный мальчик должен увидеть его однажды.

— Спасибо!

Я улыбаюсь ей, и она повторяет мою улыбку, оказывается, что они у нас похожи.

— Папа тяжело заболел, — говорю я. — Он стал другим. Но наш бог обязательно его вернет.

Выражение ее лица не меняется, все та же блаженная улыбка, все те же синие, спокойные глаза. Она берет нож, и я думаю, хочет отрезать еще кусок торта и все, наверное, так думают, потому что сидят спокойно. Но Хильде берет нож и всаживает его в стол, так что он стоит там, как ложка в густом меде.

— Тогда твой долг — убить его!

Прежде, чем ее узловатые пальцы снова дотягиваются до ножа, его перехватывает Ниса, держит перед собой. У ножа рукоятка с розочками, лакированная и симпатичная.

— Они влезают в их шкуры, но это другие люди, — говорит она. — Другие люди. Не дай ему жить в теле Бертольда. Защити его тело и душу. В старые времена, когда такое случалось, жена должна была убить мужа или муж должен был убить жену. Но твоя бесполезная мать не способна дать ему милосердной смерти. Это уже не твой отец, он никогда больше им не будет. Воткни нож ему в сердце, и освободи его. Две души в одном теле приносят страдания обоим.

— Две души? То есть, он все еще там?

Она говорит такие страшные вещи, а я радуюсь. Если папа все еще там, то бог точно вернет его.

— В теле твоего отца живет совсем иной человек, новый человек, а твой отец может только смотреть, как он разрушает его жизнь. Это наказание для непокорных, и единственное избавление от него — смерть. Убей его. Сделай то, что ты должен сделать.

Но я знаю, что должен сделать совсем другую вещь.

— Вы проводите меня к Звездному Роднику?

Она кривит коралловые губы, с презрением смотрит на меня.

— Ты не был достоин и никогда не будешь.

— Но вы же только что сказали, что каждый должен увидеть это место!

Ниса не выдерживает, ругается, но Хильде не слушает ее.

— Ты не достоин и никогда не будешь достоин. Ты с самого рожденья противен богу. Отмечен им, как порченный скот!

Я чувствую, как начинает болеть голова, и я падаю перед ней на колени, цепляюсь за подол ее красного, строгого платья.

— Тогда скажите мне, как стать достойным! Я знаю, он ждет меня! Папа ждет меня! Ваш брат!

Она больно пинает меня, и в голове взрывается салют такой силы, что искры его я вижу перед собой.

— Мы так близко! — говорю я. — Осталось совсем немного! Просто проведите меня к нему, и он заговорит со мной.

— Наш бог давным-давно не говорит ни с кем, а уж тем более не заговорит с ублюдком.

Она снова хочет пнуть меня, но Юстиниан поднимает меня на ноги, говорит:

— Спасибо, госпожа, теперь, пожалуй, настало время расставаться!

— Расставаться? Но как же ключ?

— Врет она все про ключ, просто сумасшедшая старушка! Спасибо за завтрак, хотя он и является кирпичиком для моего будущего диабета!

— Кто эти люди? — спрашивает Хильде.

Ниса говорит:

— Социальные работники.

— Где Офелла? — спрашиваю я. Юстиниан подталкивает меня к коридору.

— Она сама разберется, взрослая же девочка!

Я оборачиваюсь. Хильде стоит у кресла, кажется, будто она позирует невидимому художнику. Но кажется так ровно до тех пор, пока она не издает визг. Я различаю в нем проклятья.

— Отродье! Выродок, пусть бог покажет тебе, что такое горе! Пусть бог покажет тебе,



что чувствовала я! Одиночество, Бертольд, одиночество! Мразь! Мразь, как и твой сын! Ты заслуживаешь смерти! Пусть погаснет звезда, под которой ты рожден!

Затем голос ее снова переходит в визг, и редкие слова, которые встречаются в этом потоке звука уже не произнесены на латинском, а оттого кажется, что она бессловесно воет. А на самом деле, наверное, еще хуже проклиная меня на варварском.

Юстиниан и Ниса выталкивают меня из квартиры, закрывают дверь, а Ниса еще и спиной к ней прижимается.

Я спускаюсь по лестнице, но к первому этажу голова так раскалывается, что приходится сесть на ступеньки. Я и не замечаю, как Ниса садится рядом. Юстиниан обходит меня, говорит:

— Чудесная сцена, однако теперь я лучше понимаю твоего отца. Родись и вырасти я в этом болоте и среди этих людей, я бы тоже захватил Империю, только чтобы всего этого больше никогда не видеть.

Наверху до сих пор воет парень, который еще более дурак, чем я, и мне хочется делать это вместе с ним. А вот Хильде замолкает.

— Ты как? — спрашивает Ниса.

— Мы пойдем и еще у кого-нибудь спросим, — говорю я. Наверное, мой голос звучит грустно, но я не отчаиваюсь, просто расстроен, что Хильде так горестно, и я никак не могу помочь ей.

— Вот, — говорю я. — Я попрошу папу приехать к ней, когда он будет в порядке. Может, они помирятся?

Юстиниан начинает смеяться, но Ниса дергает его за рукав, говорит прекратить и снова пристально смотрит на меня. Она показывает мне нож с красивой ручкой, лезвие блестит и перепачкано кремом.

— Смотри, я нож ukrала.

— Это не очень хорошо, — говорю я. — И вообще чаепития это не очень хорошо. Еще ни одно не закончилось счастливо.

Я прижимаюсь головой к холодным поручням, и боль перестает быть такой горячей.

— Нужен ключ, — говорю я.

— Нет, ключ точно больше не нужен, — говорит Офелла. Я по-прежнему ее не вижу. Сверху, прямо мне в ладони, падает ключ, и я слышу, как она спускается вниз по лестнице.

— Старая стерва это заслужила, — говорит она. — Кроме того, он очаровательный.

Последняя часть оправдания выходит не очень убедительной, но очень милой. Я смотрю на ключ в моих ладонях, множество завитушек переплетаются на его основании, а в самом центре его блестит, отправляя концы своих лучей во все стороны, золотая звезда.

— Спасибо тебе, Офелла!

— Я хочу накопить денег и поступить в университет, а не узнавать, что такое кочевая жизнь. Так что ты не в долгу передо мной.

Я сжимаю ключ в ладони, в этот момент дверь наверху распахивается, и я слышу стук каблуков Хильде.

Я, Юстиниан, Ниса и, наверное, Офелла одновременно срываемся с места и бежим вон из подъезда, и потом не останавливаемся тоже. Я крепко сжимаю ключ в руке и чувствую, как пульс бьется даже в ладони.

Мы бежим очень долго, а мне и вовсе кажется, что бесконечно, но боль в голове утихает, хотя кровь пульсирует, как горячее море. Мне кажется, мы никогда не остановимся, но я не уверен в том, что хочу. Движение становится частью меня, и мне нравится, что мы бежим вместе. Наверное, у меня внутри все еще есть кто-то первобытный, которому нравится бегать с другими такими же.

Останавливаемся мы только совершенно потерявшись. Ниса, которая быстрее нас всех, потому что скорость ее уже не человеческая, останавливается у детской площадки, разворачивается, будто пытается загородить дорогу бегущим коням. Мы тормозим, и я едва не падаю, проехавшись по влажной, темной земле.

— Офелла? — говорю я.

— Я тут, — отзывается она, я слышу ее прерывистое дыхание, но не вижу, покраснели ли ее щеки и растрепались ли волосы. А мне хочется увидеть.

Вокруг деревья, лес все больше поглощает город, и старая детская площадка, находящаяся на пути к превращению к металлолом, кажется мне последней границей, отделяющей лес в его окончательной власти от беспорядочных кусков, которые все-таки можно назвать городом. Туман стелется по земле, тусклые от времени краски, покрывающие карусель и горку, кажутся нежнее и жутче. Я оборачиваюсь, чтобы рассмотреть место, где мы оказались. Неподалеку стоит изуродованный давней бомбежкой двухэтажный дом, зеленая, почти сравнимая с цветом листьев, краска кое-где осталась не сожрана копотью. Половина дома снесена взрывом, скалятся оставленные квартиры, где, наверное, однажды жили и, может быть, умерли дети, которые катались на этой карусели. Странно видеть куски чьей-то жизни, которые брошены так давно и так сильно изранены войной. Висят оборванные провода, снесенная стена открывает комнаты, вещей в них уже нет, но кое-где остались обои. Похоже на большой и открытый кукольный дом, который посыпали пеплом, забрали оттуда вещички и человечков, а вместо них накидали камней.

— Вряд ли там кто-то живет, да?

Юстиниан говорит:

— Может, община подростков-футуристов? Если нет, то я бы ее там поселил. У меня есть знакомые.

— Юстиниан, само слово "футуризм" противоречит тому, что ты сейчас сказал, — говорит Офелла. Я уже почти привык к тому, что ее нет, но она как бы есть. Как будто она — часть моих мыслей.

— Связь времен распадается быстрее, чем ты думаешь. А будущее не всегда утопия. Я бы сказал, в большинстве случаев будущее это дистопия, основанная на ужасе перед прошлым.

— Никто тебя не понимает.

— Только ты меня не понимаешь, Офелла. Марциан меня понимает, правда, дорогой?

— Я не понимаю, где мы, — отвечаю я. Хотя Юстиниана я тоже не понимаю, но мне совсем не хочется его обижать. Я смотрю на ключ, он оставил в моей ладони красноватые отпечатки, витые и быстро исчезающие. Я сжимаю и разжимаю руку, но ключ не исчезает. Я так близко.

Влажный туман хочется потрогать руками, он густой, как табачный дым и по-лесному свежий.

— Мы что потерялись? — спрашивает Ниса. Она опускается на сиденье карусели, она поддается с жутким скрипом. Ниса отталкивается ногой от земли и медленно плывет в молочном тумане, выдирая из металла заунывный визг.

— Это сложно сказать, — говорю я. — Поэтому пусть скажет Юстиниан.

— Скажу так: соотношение между забвением и спасением явно не в нашу пользу.

— Не преувеличивай, — говорит Офелла, а Ниса все кружится и кружится, смотря в истыканное верхушками деревьев небо.

— Мы просто вернемся обратно, — говорит Офелла. — Мне кажется, я помню, как идти.

— Тогда мы будем идти на твой голос.

Я сажусь на землю, вожу пальцами между тонких и нежных стеблей умирающих травинок. Осень здесь наступает раньше. На нготь мне влезает крохотный жучок, ползет вверх, затем сворачивает. Он маленький и смешной. Юстиниан снова принимается насвистывать, и свист этот легко вплетается в пение металла. Момент какой-то странный, он никому не нравится, но все стремятся его продлить. Когда я, наконец, встаю, Офелла говорит:

— Пора идти. Нужно вернуться в город до темноты. И, возможно, найти место, где переночевать. Здесь есть гостиницы?

— Встречный вопрос: ты бы хотела в них ночевать?

— Ты злой человек, Юстиниан, — говорю я. А Офелла появляется перед нами очень странным образом. Сначала ничто, пустота и воздух, блестит, переливается, обретая ее силуэт, а потом появляется и сама Офелла, быстро, как будто ее окатили водой, и поток мгновенно смыл с нее краску, маскировавшую ее под окружающий мир. Она стоит, растрепанная и сложившая руки на груди, но глаза ее еще минуту мерцают, улавливая что-то, и я не вижу в них себя, хотя Офелла стоит прямо передо мной. А после глаза у нее становятся разочарованными. Она говорит:

— Ужас какой. Еще более чудовищно, чем я себе представляла.

И мне ужасно интересно, что именно она видела, пока была невидимой, как был украшен Бедлам для нее. Но это тайны ее богини, и мне кажется неудобным спрашивать об этом.

— Ты перестала трусить? — спрашивает Ниса.

— Просто здесь никого нет, бессмысленно прятаться.

Она медлит, а затем все-таки добавляет:

— И вообще нельзя увлекаться с путешествиями туда.

Мы понимающе киваем, хотя на самом деле ничего не понимаем. Офелла поправляет розовый рюкзачок, отворачивается от нас и идет назад быстро и важно, как девочка, которой поручили продать как можно больше шоколадного печенья, чтобы собрать деньги на школьную ярмарку. Ниса слезает с карусели, тоскливо тянет:

— Голова совсем не кружится.

— Зато тебя не стошнит, — говорю я.

— Только благодаря тебе я умудряюсь сохранять позитивный настрой.

Мы бежали долго и было не совсем понятно, от чего. Вряд ли Хильде в ее возрасте догнала бы нас, даже я это понимал, но отчего-то никому не пришло в голову остановиться.

Может быть, Бедлам был местом из которого хотелось бежать, а может быть встреча с безумной старушкой никого не делает стабильнее. Мне ее очень жаль, кроме того, она моя тетя, у нас одна кровь. Но я совсем не чувствую вины за то, что Офелла украла ключ. Во-первых, потому что это сделала Офелла, во-вторых потому что ключ нужен мне для очень важного дела, и я его потом верну.

— А вдруг бабуля уже всех на уши подняла? — спрашивает Ниса. — И нас теперь разорвут сумасшедшие.

— Быть может, — говорит Юстиниан. — Но особенно по этому поводу не переживай. сумасшедшим повод не нужен, так что они могут устроить нам самосуд и без видимых причин.

— Прекрати, — говорю я. — Не все такие.

— Но кто-то такой.

— Это что был расизм?

— Моя мать — ведьма, я не могу быть расистом.

Мы путешествуем между деревьев. Высокие пушистые елки и тонкие осины с редкими крохотными веточками чередуются на нашем пути. Я слышу шорохи, вижу движения, и у меня теперь нет никаких сомнений в том, что города больше нет. У Офеллы сомнения, наверное, есть, потому что она решительно идет вперед.

— Ты уверена, что нам в ту сторону? — спрашивает Ниса.

— Абсолютно. У меня идеальная топографическая память.

— Лично я не помню, чтобы мы здесь бежали. Может быть, у тебя идеальное ориентирование по магнитному полю, как у птиц, и ты все-таки выведешь нас в нужное место, но мы здесь совершенно точно не проходили.

— Прекрати ее задирать, — говорю я. Но лес и вправду становится все гуще и гуще, теснее жмутся друг к другу деревья, и темнее становится от того, как сплетаются их кроны над нашими головами. Звучно взвизывает вверх какая-то птица, ее темную тень даже сложно рассмотреть, но она явно большая.

Ниса говорит:

— Интересно, падальщики меня проигнорируют?

Юстиниан смеется, а мне не смешно. Я подхожу к Офелле, дергаю ее за рукав, и она оборачивается, нервная, и губы у нее дрожат.

— Что тебе?!

— Мне кажется, нам не сюда.

Офелла достает из кармана пачку тонких сигарет, ее палец скользит по колесу зажигалки, но искру она выжечь не успевает, слишком нервно все делает. Я выхватываю зажигалку, и дрожащий огонек получается у меня с первого раза. Офелла нервно затягивается, с сигаретой она, выглядящая младше, чем есть на самом деле, смотрится нелепо.

— Я точно знала! — шепчет она зло. — Я точно все помнила!

— Если тебя это утешит, я тоже думал, что нам в ту сторону, — говорит Юстиниан.

— Но нам оказалось не в ту сторону! И я понятия не имею, где мы!

— Успокойся, Офелла, — мягко говорю я. Мне хочется погладить ее по голове и успокоить, но ей это явно не понравится.

— Это все из-за тебя, Марциан!

— Из-за меня? Но ты сама захотела со мной ехать.

— Я не думала, что мы потеряемся в Бедламе! Мы не могли потеряться, я помнила дорогу! Все было в порядке!

Ее указательный палец, коронованный колечком с розовым кварцем, утыкается мне в грудь.

— Если я умру здесь из-за тебя, то...

— То что? — спрашивает Юстиниан. — Просто интересно!

— Заткнись!

— Хватит меня затыкать!

— Заткнитесь оба! — говорит Ниса. — Вы достали цапаться! Потрахайтесь уже лучше!

— Что ты сказала?

— Ты правда думаешь, что сейчас время ругаться?

Палец Офеллы так и утыкается мне под ключицу, и это даже перестает быть больно, становится приятно. Но проблема от этого не исчезает. Все начинают ругаться и очень громко обвиняют друг друга и меня. Я стою в середине, слушаю их, пока не перестаю понимать, что они говорят.

— Помолчите! — кричу я. — Замолчите все! Хоть на минуту!

И все, наверное от неожиданности, замолкают.

— Давай, мастер кризисного менеджмента, — начинает было Юстиниан, но Ниса прикладывает палец к губам, и он замолкает.

— Мы никак не можем быть далеко от Бедлама. Мы, конечно, быстро бежали и долго, но не настолько, чтобы уйти в леса. Здесь, наверняка, где-то недалеко люди. Просто этот город так построен, что очень быстро кажется, что ты в лесу.

— Но мы в лесу! — говорит Офелла. И голос ее, эхом разносящийся вокруг это подтверждает.

— Но мы в лесу, — говорю я. — Просто город совсем рядом. Давайте вернемся туда, откуда пришли. Там дом и площадка. Это жилище человека и детей человека.

— И как это нам поможет?

— Просто там мы явно были ближе к городу, — говорю я. Некоторое время мы молчим, потом Офелла кивает. Он зло бормочет себе что-то под нос, проходит мимо меня, обдав клубникой и негодованием.

— Неужели никто не рад приключениям? — спрашивает Юстиниан.

Но ответ очевидный. Обратно мы идем молча и понуро. Я расстроен, как, может быть, бывает расстроен игрок в карты, проигрывающий в последний момент. Мне всего-то не хватает что одного человека, который подскажет мне, куда идти. И теперь мне будет не хватать его очень долго. А в самом худшем случае я и мои друзья умрем здесь, и большие птицы растащат наши косточки. Может быть, кроме Нисы, которая уже умерла. Она будет отгонять от наших тел птиц большой палкой. А потом и она перестанет существовать, когда во мне совсем закончится кровь. Никому не хочется теряться в лесу, а тем более в лесу по соседству с Бедламом.

— Связь не ловит, — сообщает Офелла. Она с тоской смотрит на экран своего телефона. Ниса прокусывает подушечку пальца, потом размазывает выступившую каплю темной крови о дерево. Я вспоминаю, как она отмечала одежду, которую ей принес потом Грациниан. У них есть связь намного надежнее и древнее мобильной, и это меня немного успокаивает. Офелла смотрит на Нису, как на сумасшедшую, а Ниса только подмигивает ей. Мы продолжаем идти, Ниса периодически отмечает деревья. Я думаю, что если Грациниан в

Вечном Городе, чтобы добраться сюда ему потребуется как минимум тринадцать часов на поезде.

Потом я вспоминаю скорость Нисы, пытаюсь сопоставить ее со скоростью поезда, но ни к чему не прихожу. И мы ни к чему не приходим. Когда лес, казалось бы, должен начать расступаться, он только теснее нас окружает.

— Мы совершенно точно потерялись дважды, — говорит Юстиниан. — Безо всякой надежды на то, чтобы даже найти место, где мы потерялись в первый раз.

— Это вообще возможно? — спрашивает Ниса.

— Нет! Это невозможно! Мы ведь идем в верном направлении! Это просто не может быть правдой! Нельзя потеряться, если ты идешь в правильном направлении и никуда не сворачиваешь!

Я знаю, что сейчас все снова начнут ругаться, и от этого мне становится тоскливо. А потом вижу царапины на деревьях. Они странные, не то рисунки, не то буквы неизвестного мне алфавита, не то элементы какого-то орнамента.

— Смотрите! — говорю я. Я больше хочу всех отвлечь, чем правда думаю, что эти странные штуки на деревьях могут нам помочь. С другой стороны, если они здесь, то когда-то здесь был и оставивший их человек.

— Жутковато, — говорит Ниса. И хотя я не замечал в царапинах на деревьях ничего тревожащего, Ниса права. Они не изображают ничего страшного, не покрыты кровью, и в то же время от них исходит неправильное, какое-то расходящееся с реальностью ощущение. Его сложно отследить, но сосредоточившись на нем, сложно выкинуть из головы. Линии, круги, спирали вроде как ими являются, и в то же время не имеют формы. Они тревожаще бессмысленно расположены друг с другом, так что не представляют собой ни картинки, ни надписи. Спираль или то, что могло бы ими быть, уходит в такую глубину, что кажется пространство вокруг них начинает искажаться. Когда я был маленьким, в моде были тетрадки с обложками, на которые нужно было долго смотреть, чтобы увидеть другую картинку. Учительница говорила, что это называется оптическая иллюзия, и от таких штук может болеть голова.

Я говорю:

— Стойте!

— О, вот и примитивное искусство подвезли. И как скоро нас съедят каннибалы?

Я мотаю головой, показывая, что отвечать Юстиниану не буду. Сейчас нужно сосредоточиться на том, как выбраться отсюда. Я знаю, что ответы могут быть неочевидны. Этому меня научили детективы и Атилия, которая прятала мои вещи, когда мы были маленькими. Не всегда нужно быть внимательным, чтобы что-то найти. Иногда нужно быть рассеянным.

— Мы не в музее, Марциан, мы в лесу, и нам нужно отсюда выбираться, желательно до темноты.

— Нет, — говорю я. — Ниса, ты абсолютно права. Это жуткие картинки, значит надо на них посмотреть поглубже.

Юстиниан пожимает плечами, подходит ближе, склоняет голову набок.

— На мой взгляд, работа сырая, хотя при определенных условиях это можно счесть наивным искусством. Впрочем, я бы скорее распознал здесь ментальную дезорганизацию, порождающую специфические повторяющиеся паттерны, и здесь мы снова обнаруживаем фундаментальный вопрос о границах и сущности искусства.

— Ты идиот, — говорит Ниса. И я понимаю, что предотвратить ругань не получилось. Но мне это уже все равно. Я смотрю на судорожное нагромождение спиралей, изогнутые, дающие неожиданные крены линии, дрожащие многоугольники. Я выбираю спирали, потому что спираль уходит в бесконечность, а все бесконечное, это красиво. Я смотрю на нее, склоняю голову набок, как Юстиниан, потому что Юстиниан говорит, что это помогает ему видеть. Еще он говорит, что по-настоящему видишь вещь только посмотрев на нее совсем по-другим углом. Как бы выделив то, что она не есть.

Но спирали, заходящие друг за друга не есть все, они настолько ничему не подобны, что этим и жуткие. Я отхожу подальше, приближаюсь снова, а затем просто замираю, позволяя им плыть перед моими глазами, наслаиваться друг на друга и расходиться. Постепенно линии оживают, после мерного, механического движения, которое происходит из-за устройства моих глаз, спирали начинают крутиться произвольно. Они двигаются судорожно, почти пляшут, потом расплетаются вовсе. Я будто оказываюсь во сне, где двигается то, что двигаться не должно, а вот все, что может наоборот — замирает. Мои друзья стоят совершенно неподвижно, и хотя я знаю, что могу позвать их в любой момент, чувство одиночества вдруг вырывает меня из всего повседневного и простого, из мира логичных вещей.

И я уже не знаю, что могу позвать их. И я остаюсь один на один с тем, что однажды вырезала на дереве чья-то рука, и мне кажется, что это никогда не закончится. Я не могу отвести взгляд и двинуться не могу. Может быть, это такая ловушка? Липкая, как лента, на которой жарким летом собираются мухи. Картинки вдруг начинают двигаться в обратную сторону, будто и во времени они вращаются как-то неправильно, а потом они распадаются, и я судорожно хватаюсь за них, потому что не могу пошевелиться и отвести взгляд, и весь мой мир равняется этим линиями, которые уже и не на дереве вырезаны, а существуют сами по себе.

И перестают существовать.

Они дробятся, делятся, расходятся, распадаются, расплываются, рушатся и тают. Разрушаются, дробятся на отдельные точки, и то же самое происходит с точками, и все эти частицы расходятся тоже, как будто нет ничего неделимого и неразрушимого, а все только пища для этого бесконечного уничтожения. Мне кажется, что и остатки мыслей в моей голове тоже расходятся, и само содержимое моих мыслей — знания, воспоминания, страхи и желания — рассыпается. А это значит, что и сам я тоже умираю. Хуже, чем умираю — расщепляюсь на крохотные частички меня. Я везде, но я ничто, и от этого ощущения я соскальзываю в бездну, глубины у которой нет.

И все, никаких мыслей, только голоса без слов и слова без смысла, и этих точек все больше, их множество, а я хочу только стать нулем.

У точек нет определенного цвета, но они излучают свет в моей предельной черноте, в отсутствии меня самого присутствуют они. И если собрать с неба каждую из них и бросить, как игральные кости, я снова буду существовать. Если только вспомню, что такое существование.

А потом я понимаю: это звезды. Дробление, распад и маленькие точки на ночном небосклоне. Вовсе это были не мои мысли, не мои страхи, не я распадался на части, что хуже даже, чем умереть.

Я целый, я живой, я могу двигаться, я могу говорить.

Я только на секунду почувствовал себя, как бог бесконечно раздробленный в ночном

небе, мой безумный бог, который почти ничто. Я слышу, как плачет Ниса.

— Марциан! Марциан, пожалуйста!

— С ним уже бывало такое прежде?

— Он сам не придет в себя, нужно нести его!

— Если бы мы еще знали, куда нести!

Мои глаза больше не смотрят на странные царапины, оставленные кем-то, кто чувствовал моего бога или как мой бог. Мои глаза смотрят на ночное небо. И кто-то, кто не является моими друзьями и не является никем, говорит:

— Смотри за тем, что хочешь обрести. Я приведу тебя ко мне.

Ниса щипает кожу на моем запястье, больно и очень освежающе.

— Ты очнулся? Ты двинулся, Марциан!

Она взволнованно заглядывает мне в лицо: брови у нее нахмурены, губы сжаты до белизны.

— А я был без сознания?

— О, мой дорогой, ты пять часов паялся в одну точку. Мы успели оголодать и потерять надежду.

Я обнаруживаю себя лежащим на холодной траве, поднимаюсь. Мои друзья сидят вокруг меня, волнуются за нас всех.

— Ты впал в кататонический ступор, — говорит Офелла. — Раньше такое было?

— Нет, — отвечаю я. — Раньше такого не было.

— Я тебя даже кусала, чтобы разбудить!

— Ниса, ты кусала его, потому что была голодная, не выдавай это за помощь!

Шея у меня совсем не болит. Вообще ничего не болит, будто онемело, и в то же время я полон сил.

Я снова смотрю вверх, на усеянное звездами небо. Я должен найти то, что я хочу обрести. Небо усыпано звездами, и я должен следовать за своей. Мой бог сказал, что приведет меня к себе, а значит я должен смотреть на его бесчисленные глаза, и они укажут мне путь. Многие звезды на небе давным-давно мертвы, это факт из грустных книг и документальных фильмов. Говорят, после смерти мы становимся звездами, мертвыми глазами нашего бога, которые указывают на судьбу своих потомков. Где-то там, наверное, множество наших с папой предков, давным-давно мертвых, все еще сияют, чтобы я их увидел.

Сначала в ночном небе творится хаос, я не могу сосредоточиться и ищу знакомые звезды. Я знаю далеко не все, даже самые посвященные в божественные дела не могут знать всех звезд на свете. Но если бы мой бог хотел, чтобы я пришел, он бы указал мне путь под знакомыми звездами.

Далеко надо мной сияет северная, одинокая звезда.

— Глубина, — говорю я, указывая в небо. Путь должен уходить внутрь, в самую глубину, только тогда это путь к богу.

— Еще больше чокнулся, — вздыхает Юстиниан. А я ищу свою следующую звезду. За моей северной Глубиной сияет, далеко уйдя от нее, Путешествие, звезда тех, кто меняет все, не способен задерживаться на одном месте и жить одной жизнью. Затем, намного дальше и левее, я замечаю собственную звезду, ту самую главную, под которой я рожден — Милосердие.

— Мы идем далеко туда, а потом сворачиваем налево, — объявляю я.



— Убери свой указующий перст и объясни, с чего бы? — говорит Юстиниан. Я оборачиваюсь к нему и улыбаюсь, потом обнимаю его.

— Потому что мы почти пришли. Осталось совсем чуть-чуть. Мне жаль, что вы сюда попали вместе со мной и заблудились, но мой бог указал мне путь. Немножко еще пойдём, я поговорю с ним, и мы вернемся домой. Хорошо?

Юстиниан смотрит на меня, лицо его выражает недоумение, потом любопытство. Наконец, он говорит:

— Что ж, веда, пророк. Если уж тебя осенил великим знанием твой бог, то мы на тебя рассчитываем.

Ниса говорит:

— Да, я тоже в тебя верю.

Офелла закуривает ещё одну сигарету, на этот раз у неё получается быстрее.

— Что? Что вы хотите от меня? Да, конечно, я тебе верю. Как будто у меня богатый выбор убеждений в этом темном, страшном лесу.

Лес действительно темный и страшный, и вечер уже глубокий, а может быть это ночь — мы столько плутали, а потом я ещё и смотрел в дерево пять часов и совершенно потерял счёт времени. И смотреть на часы не хочется. Сейчас особенное время, и это все, что нужно знать. Где-то далеко кричат ночные птицы, лес не меняется, деревья похожи друг на друга, шорохи будто вечно повторяются, кустарники совершенно одинаково цепляются за штанины. Нам всем тоскливо, ведь оттого что все одинаковое, наша цель как будто не приближается и не отдаляется, как если бы мы пытались взбежать вверх по эскалатору, идущему вниз.

Офелла сначала держится в стороне, показывая, что обиделась на нас, но чем дальше мы идем, тем охотнее она разговаривает, а в конце концов вклинивается между мной и Юстинианом. Оказывается, что у Офеллы замечательное чутье, потому что ровно в этот момент Юстиниан говорит:

— Нам здесь явно не рады!

И никому не рады. Я вслед за Юстинианом вскидываю голову вверх. Только сейчас я замечаю, что деревья стали выше, чем им полагается быть. Они вздымаются вверх до самого неба, и оттого я кажусь себе не больше мышки в этом огромном мире. Тонкие и высокие, деревья выглядят жутко, как представления кого-то маленького о темном-темном лесе. Как детский рисунок, который кто-то воплотил в реальность. Но внимание Юстиниана вовсе не гигантские деревья привлекли, а то, что их украшает.

Насаженные на острые ветки осин, тут и там развешаны звериные головы. Разные, разные головы лесных тварей. Они свежие, будто бы все эти существа умерли только что, ни дальше пары секунд назад. Кровь и гной капаят из ноздрей и блестящих глаз, разинутые пасти источают розовую слюну и пену. Кажется, будто эти головы не просто так смотрят с осин, будто они — их логичное продолжение, древесные тела заканчиваются зубастыми головами, насаженными на ветки не по прихоти извращенного охотника, а потому, что составляют единое существо. Прямо над нами голова оленя, рот его разинут то ли в ярости, то ли в страхе, глаза налиты красным так сильно, что это заметно даже в изменчивом звездном свете. Ветвистые рога, как паутина, укрывают нити, на которых болтаются колокольчики.

— Очень доходчиво, — говорит Офелла. — Поворачиваем назад.

Юстиниан хватает её за руку.

— Подожди! Если что-то способно оторвать оленю голову, а потом повесить ее так высоко, вряд ли от него можно просто уйти.

Я смотрю на голову оленя. Она и вправду оторвана — клочья шкуры и мяса слишком неровные, так что либо резал пьяный, либо больной, либо эту голову просто оторвали. Теперь мы идем, высоко запрокинув головы, и всюду над нами звериные морды. Мы проходим мимо медведя, чьи огромные зубы заставляют нас еще больше испугаться — не потому, что этот медведь еще может нам что-нибудь откусить, а потому, что нечто разобралось с таким страшным существом, а значит оно — еще страшнее. У меня нет никакой надежды на то, что это был человек. Волчьи, оленьи, медвежьи и заячьи головы, все они висят очень-очень высоко, зато свет луны падает прямо на них, как луч софитов, и оттого мельчайшие движения капель крови под черным звериным губам нам ясны.

Теперь мы держимся совсем близко друг к другу, и даже морозный холод Нисы кажется мне милым и домашним. Ниса говорит:

— Какой сказочный лес! А я еще хотела посмотреть на леса! Леса — отстой, пустыни рулят!

С ветвей елок свисают длинные, похожие на игрушки связки из косточек, тонких, будто вычищенных изнутри до почти полной прозрачности и звенящих от малейшего ночного ветерка.

— Это что воздушные колокольчики? — спрашивает Ниса. — Как мило.

Она тянется к косточкам, но я дергаю ее к себе.

— Не трогай, — говорю я. — Это невежливо.

На дереве прямо перед нами, примерно на уровне моих глаз висит лисья голова. Искривленная страданием морда и широко распахнутые, желтые, как у Нисы, глаза с вертикальными зрачками заставляют меня отшатнуться. В рыжем лисьем лбу горит опал, под луной в нем разгораются и гаснут искры всех на свете цветов.

Юстиниан вдруг останавливается, смотрит на лисью голову, а потом мгновенно белеет, как будто у него сердце прихватило.

— Мне кажется, я понимаю, где мы. Марциан, мы опоздали всюду. Правда, я понятия не имею, почему вы здесь.

Я смотрю на опал, внутри которого бродит сияние. Учительница говорила, что это называется иризацией. Как будто в этом камне полыхает огонь или извергается крохотный, с ноготь размером, вулкан.

— Мы здесь, — говорю я, замороженный этой красотой. — Потому что мы шли искать моего бога.

— Мы его никогда не найдем. Это похоже на Великий Лес моего бога, куда мы попадаем после смерти. Может, из-за того, что моя душа здесь самая сильная, мы все попали к моему богу?

Я пожимаю плечами. Ни на секунду ему не верю — мы идем к моему богу по его знакам.

— Я представлял здесь все несколько менее пугающим. Как будто за дизайн по нашим легендам взялся какой-то паранойик.

Юстиниан осматривается, а Офелла и Ниса переглядываются.

— Глупости, — говорит Офелла. — Я попаду в свой мир, когда умру.

— А я в свой.

Юстиниан сжимает нос лисы, как будто у нее внутри клаксон, а потом замирает,

говорит:

— У вас еще есть шанс. Я знаю, чьи это охотничьи владения. Это Малый Зверь, он отправляет плохих преторианцев в небытие. Хотя так как вы не преторианцы вовсе, то вы очевидно самые плохие преторианцы здесь за долгое-долгое время.

— И что нам по-твоему делать?

— Идти вперед, — говорю я. — Это неправда. Не может быть правдой.

Я не мог так подвести папу и своих друзей.

— Марциан, — говорит Юстиниан. — Я бы на твоём месте замер.

А потом, почти без паузы, он кричит:

— Стой на месте!

Выходит настолько убедительно, что я замираю, но потом все равно оборачиваюсь. Юстиниан отличный актер, его испуганным глазам я не доверяю, но девочки жмутся друг к другу позади него, и даже Ниса выглядит такой беззащитной, что на себя не похожа. Тогда я, ощущая как передается мне их страх, смотрю вперед. В темноте между деревьев сияют опаловые глаза.

— О, — говорю я. — Привет! Ты — Малый Зверь?

Темнота расходится, как рана, и оно выходит из нее. Если это Малый Зверь, то мне не очень хочется думать, какой Зверь тогда Большой? Существо ростом, наверное, с половину дерева, причем гигантского дерева в этом лесу. А если встанет на задние лапы, то непременно достанет передними до уровня, где висят головы. Оно не является каким-то конкретным животным и даже не особенно похоже на что-то существующее. Зубастая пасть неестественно длинная, и все зубы похожи на клыки. Так я понимаю: оно в принципе не для природы создано, не чтобы питаться и жить, оно только убивает. Разрез пасти следует до самого основания черепа, и совершенно непонятно, как голова у этого зверя не распадается надвое. Длинный слюнявый язык не держится в пасти, а лапы, похожие на человеческие руки, только покрытые мехом, с длинными, гибкими пальцами переступают по земле. Искривленная спина вздымается вверх, а длинный, лишенный волос хвост, как у крысы, хлещет существо по облезлым бокам. Оно уродливое и даже не просто уродливое, а совершенно отвратительное, и только его опаловые глаза в запавших глазницах красивые до невероятности, завораживающие, такие, что хочется вечно в них смотреть. Оно раскрывает пасть, но многоголосый вой издают головы у нас над головами. Разные животные мычат, воют, рычат, скулят, и все это — предсмертные крики, записанные будто на диктофон, и повторяющиеся снова и снова, оглушающие. Существо напрягается и прыгает прежде, чем я успеваю что-либо сообразить. Но это скорее не существо быстрое, а я медленно думаю. Ниса толкает меня в сторону, оказывается рядом мгновенно, мне в это даже не верится, хотя я видел ее скорость прежде.

Я падаю на усыпанную иголками землю, но лежать и смотреть в небо у меня времени нет. Зверь хватает Нису, его лапа сжимает ее так, что будь Ниса живая, она бы уже кричала от боли. Я никогда не спрашивал у нее, чувствует ли она боль, но судя по тому, что она не кричит, ее боль явно слабее, чем при жизни.

Я не знаю, чем сражаться с большими и страшными зверями, я никогда с ними не сражался, но я хватаю палку потолще, карабкаюсь по спине существа, и это, из-за его искривленного позвоночника, оказывается довольно легко. Наверное, оно даже приспособлено для верховой езды. Может быть, на Малом Звере путешествует бог Юстиниана. Я цепляюсь за клоки растущий мех, забираюсь на существо и успеваю

вставить палку между его зубов, когда оно раскрывает пасть, чтобы, наверное, откусить Нисе голову. Палка толстая, и у меня есть время, чтобы ее тянуть, я заставляю существо шире раскрыть пасть, как какой-тонибудь ветеринар-стоматолог. Над нашими головами разносятся крики умирающих животных, а опаловые глаза существа издают мерцание. Ниса пытается вывернуться из хватки, и когда она дергается, то туманится у меня на глазах. Слишком быстрая, чтобы сохранять очертания. Когда я чувствую, что палка скоро сломается, я кричу:

— Юстиниан! Что делать?! Что с ним делать, оно сейчас убьет Нису!

— Это Зверь моего повелителя! Я не имею права говорить!

В морду зверю его повелителя летят камни, один за другим с совершенно разных сторон. Очередной даже попадает мне в бок. Офеллы не видно, и она все время перемещается. Я безумно ей благодарен, но когда зверь поворачивает голову, чтобы посмотреть, откуда летит камень, его клыки проезжаются по палке, разделяя ее на двое.

— Ниса! — кричит Юстиниан. Но это мало помогает нам троим. Офелла швыряет еще один камень, и существо поворачивается в ее сторону, едва не стряхивая меня. Я чувствую себя на аттракционе, где нужно удержаться верхом на бычке, у которого внутри пружинки. Лапа зверя тянется ко мне, и я знаю, что сейчас он снимет меня, как блоху. Юстиниан стоит, прижав руки к глазам, как маленький мальчик, каким я его когда-то знал. А потом он кричит:

— Глаза! Он чувствует боль в них!

За секунду прежде, чем когтистые пальцы меня коснутся, я втыкаю обломанные концы палок существу в опаловые, безумно красивые глаза. Его пасть раскрывается шире, а оркестр звуков над нами становится еще громче. Я стараюсь воткнуть ему палки в глаза вовсе не потому, что хочу, чтобы зверь умер, а потому, что не хочу, чтобы второй раз умерла Ниса. Лапа, держащая ее расслабляется, отбрасывает ее в дерево, легко, как мячик. Я для зверя, как блоха, и он все-таки меня хватает, как я ни стараюсь сделать больно его глазам. Я пытаюсь пробить их палкой и не могу, от них ощущение, будто они жидкие и твердые одновременно. Наверное, этот зверь сделан так, чтобы случайный парень вроде меня не мог его убить. Когти проходятся по моим ребрам, и это очень больно, но еще больше неприятно, как когда зубной сверлит зубы, только в миллиард раз хуже. Я кричу и думаю: а моя голова тоже будет издавать эти ужасные звуки после моей смерти? Еще один камень, большой и тяжелый, влетает существу в глаз, оно вздрагивает от боли, но глаза остаются целыми. Я решаю тогда посмотреть в эти глаза, чтобы увидеть перед смертью то, что красиво. Зверь валит меня на усыпанную иголками землю, что тоже неприятно, и передо мной раскрывается его бесконечная пасть. Я ничего кроме пасти не вижу, такая она большая и глубокая. А потом все сияет фиолетовым, и пасть закрывается за сантиметр от моего горла. Я вижу Юстиниана и его кухонный нож, сияющий ослепительным фиолетовым. Я совершенно не думал, что он спасет меня. Не потому, что Юстиниан плохой, а потому что страх перед богами очень древний и глубокий, и его ничем не выжечь.

То есть, вообще-то есть чем, потому что Юстиниан легко пробивает глаз существа своим преторианским ножом, и я чувствую запах паленой плоти, доходящий мне до самого горла. Брызги расплавленного опала падают на меня, горячие, как воск капающий со свечи. Юстиниан дергает руку влево, распарывая череп существа легко, как ткань или даже бумагу, и второй раз опал брызгает в темноту, и мгновенно все стихает, головы на соснах захлопывают пасти, и плоть начинает сползать с них, обнажать черепа, как будто жизнь

зверя, поддерживала и их. Кровь проливается сверху, как теплый дождь летом.

Юстиниан говорит:

— Не думал, что это будет так просто.

Он весь в крови и улыбается. От темноты и крови его зубы кажутся еще белее. Офелла появляется рядом с ним.

— Дай пять, дорогая?

Она дает Юстиниану пять, но почему-то не по руке, а по лицу.

— Почему так долго?! Они могли умереть!

— Потому что нелегко пойти против личного пушистика моего бога!

Я пытаюсь подняться, мне нужно найти Нису. Мне больно, и я вижу на рубашке длинные борозды от когтей, щедро украшенные кровью.

— Ниса!

Она лежит на земле, ее кости переломаны, и я вижу торчащие ребра, они пробивают живот и грудь, все кости изуродованы, и я почти уверен, что она мертва.

— Ниса! — повторяю я и чувствую, как слезы у меня текут горячие, как кровь. Она открывает глаза, и это кажется мне страшным и радостным одновременно. Только это уже не совсем Ниса. Глаза у нее дикие, голодные, и на секунду я думаю, может Малый Зверь вселился в нее, а потом понимаю, что желтые глаза Нисы горят ее собственным огнем. Она мгновенно оказывается передо мной на коленях, и на секунду мне кажется, что сейчас она расстегнет мне ширинку, потому что ее голод можно перепутать с похотью. Она отрывает кусок моей рубашки, приникает к ранам, и ее язык путешествует по их путям, слизывая кровь. Наверное, сейчас это даже лучше, после укусов Нисы кровь обычно не течет, значит она может ее останавливать. Мне больно и хорошо, я прижимаю ее голову к ранам, смотрю на нее сверху вниз, и вижу, как возвращаются на место кости, их осколки просто падают вниз, как ненужные детали, которые она легко восстановит. Язык Нисы утихомиривает боль, и когда она отстраняется, облизывает губы, я чувствую возбуждение.

— Совершенно неуместная сцена! — говорит Юстиниан. — Это ведь я герой! Я преодолел даже божественные законы!

— Это был не бог! — говорит Офелла. — Или, по крайней мере, не твой бог. Думаю, нас испытывают.

Я ищу на небе звезды, по которым мы ориентируемся. Земля мокрая от крови и отзывается на шаги хлоппаньем. Я вздергиваю Нису на ноги, говорю:

— Спасибо.

— И тебе спасибо. И, кстати, Офелла, тебя я тоже спасибо!

— Не за что, ребята!

— Кто-нибудь будет благодарить меня?

Я говорю:

— Ты спас нам жизни, Юстиниан.

— Я сломал внутренние ограничения.

— В этом и суть, — говорю я. — Внутренние ограничения.

Вот что мой бог больше всего не любит.

— Это было легко, — говорит Юстиниан. Но это ни для кого не легко. Впрочем, для Юстиниана, наверное, и вправду легче, чем для других. Мы идем дальше. Я говорю:

— Наверное, испытают вас всех.

Я нахожу направление, мои звезды, кажется, становятся еще ярче. И хотя бок все еще

болит, моя кровь исцелила Нису, потому что ее было много, и я даже рад, что меня оцарапали. Мы идем дальше, и Офелла непрерывно твердит:

— Только бы не я, только бы не я, только бы не я.

— Ты самое невротичное существо во Вселенной, Офелла, ты уже провалила испытание.

Ниса держится поближе ко мне, она почти нежная от сытости.

— Ты что все время недоедала? — спрашиваю я. Она смотрит на меня, глаза у нее большие, блестящие и совсем ночные.

— Я боялась за тебя.

— Чудесная, трогательная сцена, разбавляющая всеобщую напряженность.

— Не разбавляющая, — говорит Офелла. Я говорю:

— Офелла, ты не провалишь испытание.

— Это еще почему?

— Ты умная и сильная, — говорю я. Она проходит мимо, и запах клубники усиливается. Юстиниан вклинивается между мной и Нисой, обнимает нас обоих.

— Спорим, она провалит его, и из-за этого история изменит течение свое уже, надо думать, к следующей пятнице.

Юстиниан утирает кровь чудовища, смотрит на руку, и я понимаю, что его тошнит. Вовсе не от вида крови, Юстиниан ко всем физиологическим жидкостям за свою карьеру художника уже привык, а от осознания, чья это кровь. Офелла, ушедшая вперед, вдруг кричит:

— Ребята!

И я впервые слышу радость в ее голосе, от нее крик Офеллы кажется принадлежащим совсем другой девушке. Мы идем на ее голос и мгновенно из ночи попадаем в яркий день. В ослепительно синем небе я теряю свои звезды, но в первые секунды даже не жалею об этом. Лес продолжается, но теперь он совсем другой, между деревьями, как широкая река струятся стоящие один к одному синие тюльпаны, крохотные птички ныряют в кустарники, срывают сочные ягоды и улетаю ввысь. От легкого ветра колыхаются лавандовые моря вдалеке, и слышно, как мелодично жужжат пчелы. Свет ударяется о стволы деревьев, рассеивается, мягким золотом заливая все. Я вижу широкую дорогу, которая постепенно уходит в тень, теряет свою красоту. Офелла стоит посреди тюльпановой реки, раскинув руки. Птицы и бабочки вьются вокруг нее. С бабочек осыпается пыльца, делающая Офеллу блестящей. Их легкие разноцветные крылышки дергаются над ней, будто они специально делятся с Офеллой своим даром.

— Рай из твоих дневничков? — спрашивает Ниса. Она здесь явно чувствует себя неуютно. Вообще-то, наверное, хорошо себя здесь чувствуют только куклы и насекомые.

— Офелла! — говорю я.

— Вам ничто не угрожает, — улыбается она, и улыбка у нее выходит милой и счастливой. — Все в порядке, тут нет страшных зверей.

Даже стволы деревьев здесь просветлели, может потому, что их заливают солнце, а может это и вправду совсем другие деревья, чем те, которые мы проходили до этого. Они высокие, крепкие, с бежевыми стволами и длинными, кудрявыми и толстыми ветвями, похожими на тернии кустарника. Удивительно ровно растут они на протяжении всей дороги. Под ногами у нас валяются драгоценные камни и жемчужины, как будто это никому не нужные кусочки гравия. Ниса поднимает пару и сует себе в карман. На взгляд Юстиниана

она отвечает:

— Что? Моя мама любит драгоценности.

— Офелла! — зову я. Она не откликается, и я повторяю ее имя, Офелла меня будто не слышит. Она стоит, осыпаясь пылью огромных тропических бабочек с затейливыми рисунками на крыльях. И мне совершенно не хочется отвлекать ее, потому что на лице у нее блуждает счастливая и спокойная улыбка. Наверное, именно таким она видит лес, когда она невидимая. А как это видеть красивым весь мир, даже самые отвратительные его уголки?

Офелла покачивает головой в такт жужжанию пчел, словно оно для нее — музыка. А потом я вижу, как ее ноги в смешных резиновых сапожках отрываются от земли, и она мягко взлетает вверх, как девочка из красивых книжек с золотыми, витыми буквами на обложке. Офелла парит над землей, среди бабочек и птиц, сапоги слетают с ее ног, и она остается только в розоватых гольфах.

— Думаете, ей угрожает опасность? — спрашиваю я.

— Опасность разрыва сердца от милоты, но думаю для этого здесь не хватает котят, — говорит Ниса. Юстиниан толкает ее в бок.

— Тебе ведь тоже нравится, да?

А я вспоминаю, что этот бок еще недавно вспарывали ее ребра. Теперь все нормально, и Ниса задиристо отвечает Юстиниану.

— Нет, не нравится. Это глупо! Меня тошнит от этого места! Если Офелла хочет здесь оставаться, пускай! Мы вернемся за ней на обратном пути!

Ниса отправляется по идеальной, словно начерченной предварительно, светлой дорожке.

— Оставим героиню сказки там, где она должна быть. Пойдем, если это ее испытание, она его не прошла и поддалась искушению! С ней все будет в порядке, просто дальше ей не пройти!

— Мне не кажется, что все так просто, Юстиниан.

Но Юстиниан меня уже не слушает. Он нагоняет Нису, и вместе они тоже похожи на сказочных героев. Я пытаюсь протянуть руку к Офелле, но ее запястье обступают бабочки, и я не могу к ней прикоснуться, крылышки мягко оттесняют мои пальцы от нее. Я остаюсь в поблескивающей пылице, и следующая моя попытка дотронуться до Офеллы оканчивается точно так же.

— Иди, Марциан, — выдыхает она, улыбка еще раз скользит по ее губам. — Я просто здесь немного побуду, хорошо? Еще немного!

Она говорит, как будто я ее мама и бужу ее, чтобы она шла в школу. Да, и вправду, не будет, наверное, никакой беды, если я оставлю ее здесь ненадолго. Мы ведь вернемся.

Я бегу за Юстинианом и Нисой, они с готовностью принимают меня в свои ряды.

— Я предполагал, что искушение сильнее страха, но не настолько же, — говорит Юстиниан.

Я делаю шаг в сторону сгущающейся темноты, и вдруг куст колючей ежевики с крупными сине-черными ягодами протягивает свою колючую ветку ко мне и хватает так резко, что я падаю.

— А что все окажется не так просто, ты не предполагал? — спрашивает Ниса, но ответа на вопрос не дожидается (это значит, что вопрос риторический), бросается ко мне, пытаюсь освободить мою ногу, и ветки тут же обхватывают ее запястье. Вроде как это просто ветки, но они оказываются на редкость прочными. В руке Юстиниана загорается нож, но два раза

один и тот же трюк не срабатывает. Лезвие режет колючие ветви, но они отрастают обратно слишком быстро, и очень скоро Юстиниана тоже затягивает в нашу тесную компанию. Мы барахтаемся, как рыбы в сетях, но оказываемся все ближе прижаты друг к другу. Я думаю, что нужно хотя бы ягоду попробовать. Она кажется необыкновенно вкусной и сладкой, как будто в эту ежевику уже добавили сливки. Все наши попытки выбраться остаются безрезультатны, куст опутывает нас по рукам и ногам. Я думаю, что это, по крайней мере, не опасно, пока ветки куста не добираются до моей шеи, когда я и рукой пошевелить не могу.

— Офелла! — кричу я. Юстиниан кричит то же самое, но он умнее меня, поэтому добавляет:

— На помощь!

А потом воздуха кричать уже не остается, потому что колючие стебли надежно стискивают мне горло. В глазах темнеет, но в потрясающем свете остается Офелла, парящая в дали над цветами. Она безмятежна и не обращает на нас совершенно никакого внимания. Ниса кричит дольше нас всех, потому что ей воздух не нужен.

— Офелла! Пожалуйста, Офелла! Ты должна посмотреть на нас! Открой глаза!

Жужжание пчел меня убаюкивает, в какой-то момент оно становится похоже на навязчивую и прекрасную одновременно мелодию из музыкальной шкатулки. Мне сонно и темно, и хочется, чтобы эту шкатулку никогда не закрывали. Офелла в круге света совершенно прекрасна. А потом она вдруг падает, совершенно нелепо, и встает быстро, едва не поскользнувшись снова.

— Ребята!

Она подбегает к нам, садится на колени, сдергивает стебли сначала с моей шеи, потом с шеи Юстиниана.

— Можешь не спешить, — говорит Ниса. Под руками Офеллы стебли не взвиваются снова, они просто рвутся, ломаются, и она ранит руки о колючую ежевику, в которой нет ничего сверхъестественного. Я замечаю, что она плачет. Может быть, она слишком изранила руки.

— Тебе больно?

Офелла утирает слезы рукой, испачканной в крови и соке.

— Они такие красивые! Я не хочу убивать красоту!

— Уничтожение красоты, это тоже искусство, надеюсь ты утетишься таким образом, и не дашь нам умереть.

Чем больше Офелла рвет стебли, тем темнее вокруг становится, исчезают птицы и бабочки, лопаются ягоды под ее пальцами, затихают пчелы и вянут цветы. Красота вокруг разрушается. Когда последний стебель отпускает меня, Офелла уже плачет навзрыд. Мы встаем, а она остается сидеть, закрывая лицо поцарапанными руками. Сапогов на ней больше нет, и, наверное, они исчезли вместе со всем красивым здесь. Мы тоже исцарапанные, но далеко не такие расстроенные. Я обнимаю ее, и клубничный запах от нее сменяется запахом растерзанной зелени.

— Что же я наделала?

— Ты сделала это ради того, во что веришь, и ради дружбы. Это очень красиво. Правда!

— Ты серьезно? — спрашивает Офелла, и на секунду мне кажется, что она разозлена, но потом она обнимает меня в ответ. Я помогаю ей подняться, и некоторое время мы стоим среди черного леса, полного вянувших цветов и умерших птиц, такого темного и отчаянного. И очень мертвого. Потом нам приходится идти дальше, и Офелла смотрит в землю. Она идет



босая, но будто не обращает на это внимания.

— Я не могла вас оставить.

— Да, это было бы неправильным решением, — говорит Ниса.

— Но уничтожение красивого самый страшный грех у нас.

— Как у нас — неподчинение.

Земля у нас под ногами все еще усеяна мертвыми птицами и вянущими цветами. Я снова легко ориентируюсь по звездам, и это дает мне право смотреть только на небо.

— Прилив скорби, — говорит вдруг Ниса. — Мое время. Не переживайте, я покажу вам класс.

В этот момент ночь снова кончается, и над нами восходит палящее солнце, такое жаркое, что от него больно. Я оборачиваюсь к Нисе, чтобы спросить у нее, догадывается ли она, каким будет испытание, но в этот момент я вижу, как земля разверзается у нее под ногами, мягкая, черная, она открывает свои объятия. Я успеваю схватить Нису за руку, но как только она делает шаг вперед, земля снова распадается под ней, и я едва удерживаю ее. Солнце бьет в ее разлагающееся лицо, распухшее, синее, совершенно лишенное красоты. И она ужасно тяжелая, как будто набитая землей, удержать ее сложно. Юстиниан и Офелла тянут меня, чтобы я не свалился с Нисой. Но ноги мои все равно скользят по влажной земле к краю.

— Ниса!

— Марциан! — отвечает она, и я вижу, как лопаются и слезает кожа на ее губах. Я держу ее на вытянутой руке, как в танце, не потому что это красиво, а потому что за другую руку меня тянут Юстиниан и Офелла. Мы все неудержимо скользим к краю. В земле копошатся огромные черви.

— Что за мерзость!

— Это части моей богини, Офелла, — кричит Ниса. — Они сожрут меня. И вас, если вы попадете туда! Бегите!

— Это не твоя богиня!

— Даже если и так, я бы на вашем месте не стала туда падать! Не думаю, что вы проснетесь в своих постельках, удивляясь такому ужасному кошмару!

Пропасть позади все ширится, съедает деревья, кустарники, мертвых птиц и цветы, все валится в эту ненасытную пасть. Скоро туда провалится и Ниса. Ее рука скользкая и распухшая, и она совершенно не держится сама.

— Оставьте меня! — кричит Ниса. — Она всемогуща! Она есть все! Она ест все! Она и вас сожрет!

— Ниса, приди в себя, это не по-настоящему!

— Отпусти меня, Марциан!

Ее глаза, глубоко запавшие в глазницы, смотрят со смертным отчаянием.

— Держись, — говорю я. — Пожалуйста.

Нет, я не просто говорю, я умоляю.

— Я обманывала тебя все это время! — кричит Ниса. Она старается перебить грохот падающих деревьев, но получается плохо. От ее крика в меня летят кусочки чего-то липкого, скользкого. Наверное, это ее легкие. Или бронхи.

— Я отвратительная, мертвая тварь!

— Ты — моя подруга! Ты дорога мне! Я не брошу тебя!

— Мы все не бросим, — говорит Офелла.

— Я действительно обманывала тебя, Марциан! Ты — мой донатор!

— Нет, ты это прямо сразу сказала.

Рука у меня невозможно болит от напряжения, и Ниса, кажется, становится все тяжелее.

— Но я не сказала, что я должна убить тебя после завершения срока! Что по нашим законам обряд моего возвращения к жизни завершается твоей смертью!

Я останавливаюсь только на секунду, но от этого Нису тут же тянет вниз.

— Отпусти меня! — кричит она. И если бы она могла плакать под солнцем, она бы плакала.

— Я тебя не отпущу! Это правда?

— Да, это правда!

— Но я не собираюсь отпускать тебя, даже если это правда!

Мои ноги приближаются к краю, я неудержимо скольжу вниз.

— Мы погибнем вдвоем, Марциан! — говорит Офелла. Но она не отпускает меня, и Юстиниан не отпускает. А значит, они не отпускают Нису.

— Ты мой друг, у меня впервые есть друг! Я не хочу тебя убивать! Отпусти меня, Марциан!

Голодный черный рот земли раззявлен под ней.

— Хорошо, — говорю я. — Если ты хочешь этого. Если только ты правда уверена, я тебя отпущу.

— Я правда уверена!

Она смотрит мне в глаза, и я вижу, что ей страшно.

— Ты серьезно, Марциан? — спрашивает Офелла.

— Ты что с ума сошел?!

Мне хватает секунды, в которую они ослабляют хватку, то ли от удивления, то ли потому что ожидают, что сейчас я отпущу Нису, и хотят кинуться к ней. Я вцепляюсь в нее двумя руками и делаю рывок назад настолько сильный и отчаянный, насколько могу. Я скольжу по мокрой земле, еще не понимая, попадем ли мы оба в ее бездну. Я падаю назад, Ниса на меня, и мы даже проезжаем вместе. Ниса оказывается на мне, и я смотрю на нее. Прозрачно-розовая нитка слюны смешанной с кровью соединяет ее губы. Над нами висит большой шар солнца. Я думаю, что сейчас земля под нами провалится, поэтому я целую Нису. Солнце исчезает, и губы ее из треснувших и ужасно мягких, становятся гладкими и просто мягкими, как у всех девочек.

Поцелуй длится всего секунду, и к тому времени, как я открываю глаза, Ниса уже стоит, отвернувшись.

— Это правда? — спрашиваю я. Вдруг она просто так это сказала, чтобы я ее отпустил? Волновалась за меня.

Ниса на меня не глядит.

— Правда, — отвечает она.

— Мы что-нибудь придумаем, — говорю я. — Мы спасем моего отца, а потом будем думать над этим.

Я поднимаюсь, весь в царапинах, больших и маленьких, в порванной рубашке. Мои друзья выглядят не лучше, и мы не знаем, сколько нам еще идти.

— Эй, Марциан? — говорит Юстиниан с непривычной осторожностью.

— Что?

Юстиниан указывает рукой куда-то вперед, я сверяюсь с небом и понимаю, что и звезды

говорят мне смотреть и идти туда. Я вижу перед собой ограду, похожую на кладбищенскую, но еще тоньше и витую, как паутинка. За ней ничего особенного нет, только ручей, в который льет свет луна, и деревья. Лес продолжается, журчит вода. Позолоченная ограда отделяет небольшой его кусок, и получается, что эта часть леса, как картина в рамке. Вовсе не похоже на то, что можно назвать тайным садом. Я подхожу к воротам.

— Мы почти закончили! Скоро мы спасем папу!

— И страну, — говорит Офелла. Она делает шаг ко мне, но наталкивается на невидимую стену. Юстиниан тоже пробует пройти, но и у него не получается (хотя есть мало вещей, которые у Юстиниана не получаются). Ниса долго стоит отвернувшись, потом все-таки тоже хочет подойти к воротам, но даже у нее ничего не выходит, хотя мы связаны.

Юстиниан пожимает плечами.

— Со всей очевидностью мы оказались посреди момента, где герой композиционно должен остаться один. Будь осторожен и храни в сердце нашу дружбу и взаимопомощь. С точки зрения логики сюжета это обеспечит тебе наибольшие шансы на выживание и победу.

Офелла говорит:

— Мы будем тебя ждать. Не переживай, мы никуда не уйдем, ведь мы ночью, в темном лесу и потерялись.

Ниса говорит своим обычным, гнусавым голосом:

— Возвращайся.

Я на секунду пугаюсь, не сразу нащупав ключ, но когда он оказывается у меня в руке, остается только спокойствие.

Ключ идеально подходит к тяжелому навесному замку на воротах и открывает его так быстро и легко, что я не успеваю поймать замок, и он падает к моим ногам.

Вслед мне несется голос Юстиниана:

— И не забывай думать о банальностях!

Я не оборачиваюсь в его сторону, потому что если показать, что обращаешь на него внимание, он никогда не замолчит. И все-таки я уже по нему скучаю, и по Нисе, и по Офелле, будто не на пять метров от них отошел, а на целую вечность и, ну, пространственную вечность. Хотя, наверное, пространственная вечность, это вездесущность, и она сюда уж никак не подходит.

Юстиниан сказал думать о банальностях, но у меня не получается. Я начинаю рассматривать Звездный Родник и понимаю, что он совершенно не звездный. То есть, небо все еще звездное полотно, но вокруг никаких звезд нет, и обычные лесные травы тягуче пахнут вокруг, смешиваясь с ледяным запахом ручья.

Неужели Нисе и вправду нужно убить меня? Как ей, наверное, тогда тяжело. И все это время ей тяжело было со мной. Ей нужно было все сразу рассказать, и мы бы все придумали. Мне становится очень грустно за нее. Не потому, что мне все равно умру я или нет, а потому что я ничего не знал и был счастлив все это время, а она не была.

А в том, что мы с ней обязательно найдем выход я не сомневаюсь.

Ручей поет о чем-то, бежит, не уставая даже ночью, как человеческое сердце. Луна дарит ему серебряные гребешки, а в остальном он кажется черным, узким и извивающимся, как змея. Тут и там попадаются гладкие, блестящие от воды камушки, по воде несутся веточки и листья.

Здесь давным-давно никого не было, трава мне по пояс. Из-под ног у меня пару раз бросаются в бегство лягушки. Я встаю на колени у ручья и теперь, когда я на том самом месте, где должен быть, у меня совершенно нет идей о том, что должно случиться дальше.

Я ложусь на землю, слушаю пение ручья, пальцы мои скользят по глади воды.

— Дорогой бог, — говорю я. — Я пришел к тебе, я совершил безумство, и я готов говорить с тобой! Я хочу попросить тебя кое о чем, и это безумно важно. Важнее чем то мороженое, которое ты мне дал! Пожалуйста, выслушай меня! То, что я буду просить важно не только для меня, но и для всего моего народа, и для других народов тоже, хотя тебе и все равно до них.

Я прислушиваюсь к себе, но ощущений появляется не больше, чем когда я говорил с богом в собственной ванной.

— Пожалуйста! Помоги мне! Неужели ты не хочешь послушать меня? Я пришел сюда не ради себя! Или ради себя, но не только!

Все внутри молчит, мой бог не хочет говорить со мной, звезды на небе остаются неподвижными. Я поднимаюсь на ноги, вступаю в ручей и чувствую, как в ботинки тут же, будто только этого и ждала, проникает вода. Она очень холодная, и я подпрыгиваю на месте от неожиданности (хотя стоит ожидать, что промочишь ноги, если вступаешь в ручей).

— Я очень долго шел к тому, чтобы оказаться здесь! Мне везло и не везло, мне помогали люди, и я не могу подвести своего отца, и всех, кто шел со мной! Ты должен меня выслушать!

Я сам пугаюсь своего "должен", но тут же повторяю:

— Ты должен! Должен поговорить со мной!

Я иду вдоль ручья, и холод в ботинках уже не беспокоит меня, и камни, на которых я постоянно поскальзываюсь тоже. Я кричу в темное, усыпанное звездами небо:

— Я совершил безумство! Я переспал с собственной матерью! Я был неправильным, и сейчас я неправильный! Я нарушил все законы.

Потом я понимаю, что погорячился и поправляюсь:

— То есть, я нарушил главный из них! И я бы сделал это снова! Я хочу ее! Это достаточно неправильно для тебя!

Я чувствую, что даже говорить это тяжело, слова застревают в горле, и я выкрикиваю их так, будто выдираю с мясом. И хотя чувства все еще кажутся мне совершенно естественными, слова, которые выражают их, оказываются очень болезненными.

— Я хочу исправить то, что он сделал! Я хочу любить ее, как он никогда не любил!

Я беру камень и кидаю его в небо. Отлично, Марциан, заряди богу в глаз, это тебе непременно поможет.

— Я ненавижу его за то, что он заставлял ее страдать, но я люблю его, потому что в нем много хорошего, он честный и смелый, он любил меня и свой народ. Он заслуживает жизни!

Безусловно Юстиниан бы аплодировал мне. Выкрикнув последнее слово, я поскальзываюсь на камне и лечу в ручей. Я уже ожидаю, как обдеру себе руки в кровь, и как весь стану мокрый, и будет еще холоднее.

Я готовлюсь стать еще более злым на своего бога, но падение оказывается намного мягче, и никаких камней нет. Хотя даже в самом глубоком месте ручей едва доставал мне до щиколоток, у меня ощущение, будто я падаю в море, оно везде и такое огромное, что не за что ухватиться. Я ухожу все ниже и ниже под воду, которой и не должно существовать. Наверху нет неясного круга луны, и звезд, и силуэтов деревьев. Ничего нет, только захлестывающее меня море, бесконечная гладь воды. Я не могу вдохнуть, но оказывается, что это и не обязательно. Попытавшись выплыть, я наталкиваюсь на тяжесть моря надо мной. Но в то же время я и не тону, легкие не разрывает от недостатка кислорода, не мутится в голове. Вокруг темная вода, ничего сверху, ничего снизу, и справа и слева — тоже ничего.

Я просто существую, как доисторическая рыба.

В какой-то момент уютная вода сменяется холодным воздухом, который бьет мне в легкие так больно, что желание дышать пропадает надолго. И я могу не делать этого, как будто дыхание — совершенно необязательная роскошь. Холодный ветер дует ото всюду, он пронизывает до костей. Я, наверное, стою на чем-то твердом, но оно не имеет ни вида, ни формы. Вверху, надо мной темная бездна и внизу, подо мной такая же. Я стою в середине, которая ничем не выделяется из километров темноты вокруг меня. Я чувствую ужас перед возможностью падать дальше, и в то же время этот ужас приглушен. В мире, где не нужно дышать, не страшно и падать. Я наклоняюсь, чтобы потрогать то, на чем стою, но не ощущаю ничего, даже сопротивления воздуха. Я свободно протягиваю руку вниз, теряю равновесие и, перекувырнувшись в бесконечном ничто, падаю, правда недалеко.

Я запрокидываю голову. Вроде как упав я стал не выше и не ниже, чем был, и определить себя в пространстве мне затруднительно. Я улыбаюсь, закрываю глаза и раскидываю руки:

— Спасибо! Спасибо тебе! Я так благодарен тебе, мой бог! Я все-таки пришел к тебе!

Когда я открываю глаза, передо мной один за другим начинают зажигаться холодные белые огоньки. Маленькие и большие, похожие на сияющие без меры кристаллы, они

появляются из ничего, разгораются, но не разгоняют темноты. Мой бог открывает свои глаза.

Звезды вокруг меня перемигиваются, словно подают сигналы, которые я не могу считать. Они такие такие близкие, что, кажется, я могу дотронуться до них.

Я одновременно знаю, что звезды это гигантские горящие шары из газа и пыли, такие далекие, что до них никогда не достать, и в то же время вижу их ужасно близко. Может быть, мой бог не хочет сжигать меня настоящим, пристальным взглядом.

Звезд становится все больше, они заполняют пространство, и в какой-то момент меня оглушает многоголосый хор, каждая звезда говорит своим голосом, и я слышу среди множества незнакомцев свою сестру, своего отца и себя самого, так ясно, будто мы говорим одни.

Но говорят все сразу, живущие и умершие люди моего народа, и я удивляюсь, как у меня не лопаются барабанные перепонки. Наверное, в хоре этих голосов есть и женщина, которая первой пробудила моего бога. Они все говорят:

— О, творение моей крови! Ты хотел увидеть меня, что ж, я предоставлю тебе такую возможность. Твои грязные желания, твои мерзкие поступки, и ты сам — жалкое, порочное существо, я хорошенько изучу тебя прежде, чем решу, что делать с твоей душой.

Я падаю на колени, но не потому, что хочу, а потом что сила этих голосов придавливает меня, толкает вниз. Звезды сияют так страшно, они смотрят на меня, их лучи раскрывают мне жуткий и безжалостный свет. Я закрываю глаза, но веки оказываются недостаточно надежной защитой от холода и жара моего бога.

— Невыразимый ужас самого твоего существования слишком мал, чтобы насытить тебя, и ты пришел сюда искать моей милости, не понимая, что ты не более, чем песчинка, пролетающая перед моими глазами, и твоя добродетель и злодеяния ничто по сравнению с тем, что я вижу в прошлом, будущем и настоящем.

А потом вдруг все голоса, кроме одного затихают. Остается только тот, что принадлежит мне. Мой собственный голос говорит:

— Да ты мне нравишься, парень!

Я открываю глаза и вижу себя самого. Я стою надо мной, ничем не отличаюсь от себя в жизни. У меня бесцветные глаза, я не особенно гладко выбрит, покрыт царапинами, а моя рубашка и вовсе никуда не годится. Я будто в зеркало на себя смотрю, только ощущение странное, потому что я и мое отражение в разных позах и мимика у меня и меня разная, и от этого мое восприятие расщепляется до головокружения. Между нами, на самом деле, только одно отличие. У него на щеке сияет, будто в кожу врезан свет, мое созвездие. Оно, как татуировка, прочерчено по его коже (по моей коже) и горит, я вижу как оно переливается от его движений. Три моих звезды, протянутые в одну линию, где последняя точка уходит вниз.

Он хватает меня за руку, поднимает легко, будто я игрушка, которая ничего не весит.

— Ты пришел! Разве это не чудесно? Разве во всем этом нет иронии?

— Нет, — говорю я. — Я пришел по очень серьезному делу, в котором нет иронии.

— Во всем вашем мире она есть, ты просто не нашел ее в своем деле.

Он стучит пальцем мне по виску, потом склоняется ко мне и говорит, как будто по секрету:

— Противоположность солдата, это ребенок.

Он смеется, но смех этот резко обрывается, его локоть упирается в мой бок (получается я сам себя трогаю), и мой бог говорит мне:

— Это место для смеха!

— Я не могу засмеяться, я очень волнуюсь.

Он обнимает меня, махает рукой, будто указывает мне, куда идти.

— Видишь это место? Здесь есть все. И ничего нет! Но про ничего лучше не думай!

Когда делаешь шаг назад от фантазии, есть риск встретиться с реальностью!

Он хмурится, потом бьет сам себя по щеке, а я чувствую боль.

— Я слышал, боль отрезвляет. Давай-ка попробуем! Ты так мечтал сюда попасть, что ж, ты здесь!

Он вдруг шепчет:

— Он здесь, он здесь.

И звезды вторят ему иными голосами.

— Он может нарушить наше уравнение. Плюс один, минус один. Вся Вселенная сведется к нулю!

— Я не хочу нарушать твое уравнение!

— Тихо! Ты должен быть хорошим мальчиком, а то я лишу тебя сладкого и выну мозг из твоей головы.

И я понимаю, что он издевается, ведет себя ровно так, как папа с тех пор, как сошел с ума.

— Ладно, — говорит он. — Я и вправду издеваюсь! Но я ведь могу все, в том числе и издеваться!

Когда я снова смотрю на его лицо, отличное от моего лишь по созвездию на щеке, из его глаз текут слезы, крупные и прозрачные, мои.

— Я не хотел тебя обижать! Ты ведь меня простишь? Я бываю очень чувствителен!

Мне становится больно, будто ладонь царапает кошка. Я смотрю на его руки, вижу, как его ногти скользят по ладони, нажимают и отпускают.

— Не делай так, пожалуйста, мне больно.

— Я это заслужил! Ты это заслужил! Все это заслужили!

Звезды начинают пульсировать, сияние ослабевает и накатывает с новой силой, и я понимаю, что мой бог волнуется. Я хватаю его за руку, она теплая, точно такая же, как моя.

— Мы можем поговорить о том, зачем я пришел?

Он судорожно кивает, и его лицо снова озаряет сияющая улыбка. Он кажется смешным, потому что никакого определенного безумия у него нет, и он переливается, как свет в его звездах, никаким не становясь надолго. Жутко мне от другого.

Это — только его кусок, только три его звезды, его крохотная часть, даже не одна миллионная, и она — ничто, и хотя эта часть совершенно безумна, это не безумие целого.

— Конечно, мы поговорим, — отвечает он чуть погодя. — Что ты предпочитаешь? Я не люблю синий, зеленый и все круглое. Значит, мы будем пить чай!

О, думаю я, потрясаясь. С каждой чашкой чая в последнее время моя жизнь становится все хуже и хуже.

Он идет вперед, чуть покачиваясь.

— Мы должны прийти в твой дворец? — спрашиваю я. Я не знаю, есть ли у моего бога дворец, но ведь куда-то мы идем.

— Это мой дворец, — отвечает он. — Но нужно сделать ровно сто шагов.

— Это обязательно? — спрашиваю я. Я очень хочу вернуть папу и попасть домой, поэтому быть терпеливым никак не получается.

И миллиард голосов снова выкрикивает оглушительное "да", которое едва не ставит меня на колени, как в первый раз. Тогда я перестаю спрашивать и просто иду. Я не понимаю, как я шагаю в абсолютной пустоте, но если не смотреть под ноги, то ее совсем не отличишь от пола.

А если смотреть, то видно, как бесконечно далеко уходят вниз скопления звезд. Мне хочется протянуть руку к одной из них, но я боюсь разозлить моего бога. Наконец, он останавливается в одном из неприметных мест (потому что приметных тут нет вовсе), долгое время вглядывается куда-то.

Я молчу, и на меня накатывают тоска и одиночество этой темной бездны неба, и я понимаю, что молчание здесь раздавит меня.

— Я не хотел тебя злить.

— Это ничего страшного!

Он два раза цокает языком, словно подманивает какого-то зверька или птицу, и перед нами появляется укрытый длинной скатертью круглый столик. Скатерть скорее зеленая, чем голубая, но точно я сказать не могу, в мертвенном свете звезд все цвета смотрятся странно.

Мой бог отодвигает стул, садится, и я сажусь тоже. Перед нами появляются чашки, рисунки на которых все время меняются, так что я успеваю отследить только лошадку, похожую на тех, которые крутятся в карусели, мотылька с большим глазом между крыльев и череп, все это нарочито нежно нарисовано, и я бы мог часами себя занимать, пытаюсь рассмотреть постоянно меняющиеся рисунки.

В чашках уже налит чай, в светлой жидкости плавают лепестки каких-то цветов. Никаких угощений нет, и хотя бы это меня радует. За последнее время я уже насмотрелся на торты, пирожные и ножи за столом.

Он смотрит на меня пристально, так что на секунду мне кажется, будто я — его врач, а он — мой пациент в психиатрической больнице. До этого я не думал, что у меня может быть такой жутковатый взгляд.

— Излагай, — говорит он. — Хотя нет, подожди, я ведь все знаю! Марциан, я не убивал твоего отца. Болезнь наслал на него бог твоей матери за все, совершенное твоим отцом. Жаль-жаль-жаль! Болезнь убила его, но оказалось, что тело твоего отца крепче, чем его душа. Он умер, и я забрал его обратно, туда, откуда он и пришел однажды. Но когда тело его ожило, я вселил в него нового себя. Как, собственно, и делаю с каждым родившимся и родившимся заново.

— Нового себя?

— А ты как думал? — спрашивает он, и звезды снова говорят со мной. — Вы все и есть — я!

Звон голосов заставляет дрожать чашки, а я удивляюсь, как не лопаются фарфор.

А потом он трогает ручку чашки, снова говорит одним, моим голосом и даже с моими интонациями:

— Но мы не со всеми дружим.

Он берет чашку, потом словно забывает о ней, взмахивает рукой, так что чай выплескивается на скатерть.

— Я бы на твоём месте, а я на твоём месте, потому что ты — кусок меня, со всеми твоими надеждами и чаяниями, и милосердием и глупостью, смирился. Дети и родители, это категории времени! Одни уходят, другие остаются, и так сменяются эпохи. Твое время тоже уйдет. Все переменится, и постоянны только изменения, как сказал еще Гераклит!



Он замирает, чашка в его руке становится такой неподвижной, что кажется, будто она сама по себе зависла в пустоте.

— Но в то же время я и есть тот, кто знает тебя лучше всех на свете! И тот я, который ты, создан не для того, чтобы смотреть, как мимо течет река, будто старое бревно на берегу.

Он подносит чашку к губам, пробует остатки чая.

— Знаешь, что? Здесь не хватает сахара!

Мой бог протягивает руку к ближайшей звезде, отламывает от нее острый луч света, похожий на льдинку, сквозь которую смотрят на солнце. Он неаккуратно, едва не перевернув стол подается ко мне, крошит кусок звезды в руках, и крохотные кристаллы света падают в мою чашку.

Мне хочется, чтобы он выслушал меня, поэтому я беру чашку и пью чай, ведь отказываться от гостеприимства, плохо. Чай оказывается вполне обычным, сладким, с ярким лимонным привкусом, вовсе не звездным, очень земным. И я тоже оказываюсь не в межзвездной пустоте, а в саду у нашего дома.

Я больше не сижу за столом, я вообще не присутствую — нигде не стою, не летаю, как призрак, просто смотрю, словно я камера.

А за столом, точно таким же, как тот, за которым я был, когда выпил чай, сидит моя мама, и скатерть накрыта такая же, и чашечки стоят точно те, из которых пьем мы, только рисунки не скачут: на одной — лошадка, на другой — бабочка, на третьей — охапка цветов, на четвертой — ягоды. И никаких черепов и страшных мотыльков.

Чай налит во все чашки, но мама сидит одна, будто у нее чаепитие с невидимыми людьми. То есть, она не совсем одна — в руках у нее сверток, она тесно прижимает его к себе и смотрит с такой любовью, что я думаю, это ее любимый сверток.

А потом я понимаю, что этот сверток — я или Атилия. Мама покачивает младенца и мурлыкает ему какую-то мелодию. Чай в чашках остывает, стулья отодвинуты. И я осознаю, что на этих местах должны сидеть родственники мамы, а теперь она страшно одинока, и наливать чай для уже несуществующих людей — единственное, что ей осталось.

— Мой мальчик, — говорит она, и я думаю, что сегодня я вижу себя со стороны в самых разных вариантах. — Твои бабушка и дедушка, дядя и тетя умерли, но мне хочется думать, что они здесь, что они могут посмотреть на тебя. Ты никогда не увидишь их, мой милый, потому что мы не окажемся в одном месте после смерти, и это мое великое горе. Но это не значит, что ты не достоин их памяти, ты — их продолжение. Я люблю тебя.

Она мурлычет, нежно, так что ее слова похожи на песню, а я еще не могу узнать, какие грустные вещи она произносит.

А потом я слышу папин голос. Он стоит у куста камелии и трогает розово-красный цветок с удивлением, будто прежде никогда не видел. Мама поднимает на него взгляд, но ничего не говорит, только крепче прижимает меня к себе.

Папа с трудом отводит взгляд от цветов, и я понимаю, что ему больно и стыдно на нее смотреть.

— Он прекрасен, — говорит папа. — Спасибо тебе.

Мама молчит, смотрит на него, качает меня на руках.

— Я могу сесть? — спрашивает папа. Он пытается быть мягче, но у него не получается, голос такой же механический, как и всегда, только более ломкий. Прежде, чем мама отвечает, он отодвигает стул, как будто не сомневается в своем праве. Но мама говорит ему неожиданно резко:

— Нет. Это место сестры.

Папина рука замирает на спинке стула. Он кажется странно незащищенным перед мамой. Ночной ветер путешествует по цветам и листьям. Папа смотрит на меня, и губы его чуть дергаются, улыбка получается только намеком на нее.

— Я хочу назвать его Дарл, — говорит он.

Мама смотрит на папу, и он ловит ее взгляд. Кажется, они без слов говорят друг другу столько, сколько с первой встречи не говорили. Так проходят минуты, но мне кажется, что часы. Наконец, папа говорит:

— Хочу, но не назову. У него должна быть другая жизнь. И здесь его дом. Назови ты.

— Его зовут Марциан. Его так всегда звали.

— Иногда мне кажется, что ты не менее безумна, чем любая из моего народа.

Он смотрит на остывающий в чашках чай, потом на маму.

— Можно взять его на руки?

Мама встает, и они оказываются нос к носу, а я — между ними. На секунду мне кажется, что она сейчас уйдет. Но она медленно, очень осторожно передает меня папе и смотрит, как он бережно меня принимает.

В этот момент все снова меняется, вокруг оказываются звезды и темнота, ни мамы, ни папы, только я напротив меня самого. Я смотрю на звезду, от которой мой бог отломил кусок.

— Папа! — говорю я. Я встаю из-за стола, но он жестом усаживает меня на место, и я не могу сопротивляться, будто что-то невидимое и тяжелое давит мне на плечи.

— Не спеши.

— Это его воспоминание!

— Да. Это в целом он. Та часть меня, которая стала им. Отщепленный кусок моей души, вернувшийся наконец домой. Хочешь еще чаю?

— Ты отломил кусок от души моего отца!

— Я — мазохист!

Он смеется, потом вдруг замирает, лицо становится сосредоточенным и печальным, точно как у меня в зеркале.

— Но это не очень хорошо, — говорит он. — Правда?

Он взмахивает рукой, и стол, и чашки исчезают, я падаю, и мой бог падает, и вот мы лежим и смотрим на звездное небо изнутри него самого.

— Ты представляешь, сколько людей когда-либо умирало и умрет на этой планете?

— Все? — спрашиваю я.

Мне не хочется подниматься, надо мной, как крохотные рыбы, проплывают звезды. Я вижу само время, всех людей моей крови, живших когда-либо на свете.

— Именно! Знаешь, что забавно? История могла пойти по-другому. Например, не случись великая болезнь, вас стало бы слишком много, и вы убивали бы друг друга в войнах, твой любимый город был бы разграблен варварами и пал, история была бы иной, но — не менее кровавой. В конце концов, было бы изобретено все, что изобретено сейчас и написано все, что сейчас написано. Раньше или позже. Историю не изменишь, если все, что делал твой отец было зря — все равно жив он или мертв. Если же все было не зря — так же все равно.

Мне становится так грустно, словно я внезапно понимаю, что оказался на сцене и играю в пьесе, но совершенно к этому не готов, и мои попытки объявить об этом кажутся зрителям репликами.

— Но знаешь, — говорит мой бог, указывая наверх, и я вижу, как над нами пролетает вниз звезда. — Что это?

Я пожимаю плечами.

— Чудо рождения. Я отчуждаю кусок себя. Какой-то части меня больше нет, но она придет ко мне лет этак через семьдесят-восемьдесят. Ты думаешь, твой отец несчастен, вернувшись домой?

— Я думаю, он хотел бы быть с нами.

— Это ты несчастен без него, Марциан. Смерть нельзя изменить. В мире нет ничего вечного. Пойди история по-другому, как мы говорили, все равно погибло бы столько же людей, может, в иной катастрофе. Люди умирают.

— Народ моей подруги вечен.

Он приподнимается, опирается на локоть с детским любопытством смотрит на меня.

— Народ твоей подруги обманут. Они не живут вечно, времени просто сложнее их убить. Но однажды оно убивает всех. Твоя подруга, может, не умрет от старости или свалившись с десятого этажа, однако она, как и все в мире, принципиально уничтожима. Все, что реально — рассыпается. Но ты, ты, Марциан, как и твоя мать, хочешь то, что никогда не покинет тебя. Ты хочешь отыграть его назад.

Я протягиваю руку к звезде, которая есть папа, и она отзывается холодным звоном, но мой бог бьет меня по руке.

— Ну-ну! Это не вежливо.

Все, что папа есть, его стремления, страхи, любовь, воспоминания, привычки и движения, любимые книги и фильмы, талант к военному делу, серьезное выражение лица, страшные сны, почерк, все хранится здесь, в этом сгустке света посреди его небесного дома.

— Даже Вселенная не вечна, — говорит мой бог. — Кажется, у меня началась метафизическая интоксикация.

— Я ничего не понимаю во всех этих штуках про время и смерть, — говорю я.

— И я ничего не понимаю. Я это ведь ты.

— Я просто хочу вернуть папу. Я за этим пришел.

— И ты будешь повторять это, пока мне не надоешь?

Я никогда не думал, что буду лежать с моим богом посреди пустоты, смотря на бесконечные звезды. Мы похожи на двоих друзей, и говорит он очень просто, а на его щеке переливается мое созвездие так красиво, как будто у него под кожей частички лунного камня.

— Да, буду, — говорю я. — Папа нужен мне, моей маме и сестре, Офелле, моей учительнице, ее зовут Дигна, и многим-многим людям. Все это про историю правда, и все, даже я, сможем без папы жить. Но если есть хоть один шанс, что ты его вернешь, я хочу этого всем сердцем.

Он вдруг приподнимается, будто проснулся от кошмара, потом смотрит на меня и глаза у него оказываются спокойными.

— Хочешь всем сердцем?

Я киваю.

— Это самое главное, Марциан. Это то, что может победить все! Желание! Я люблю тех, кто желает невозможного! Чьи желания превышают их возможности! Потому что от таких желаний можно либо сойти с ума, либо стать счастливейшим человеком на свете, совершив невозможное. Но твое желание — особенное, Марциан. Оно превышает не твои

возможности, а возможности самого твоего мира.

— Поэтому я пришел в твой.

Он не кивает, не говорит ничего, но я знаю, что ему нравится, что я нашел выход. Глупый и самонадеянный, но выход. Мой бог поднимается на ноги, он чуть пошатывается, и мне кажется даже, что он здесь упадет. Движение его выходит неожиданно ловким, он как дирижер, только без палочки, взмахивает рукой, и между папиной звездой и еще двумя, тоже папиными, но не такими яркими, не вмещающими такую большую его часть, разгорается серебристая линия.

Папино созвездие, стремящаяся вверх ровная линия, стрела. Смотреть на него невероятно, оно горит в черноте так ясно и так близко.

— Даже если у тебя не получится, побывать здесь лучше, чем в планетарии, правда?

— И добраться сюда сложнее, чем в планетарий.

— Ты просто не бывал там на праздниках. Зато здесь пусто и просторно.

Я вдруг кидаюсь к нему, обнимаю его колени, и от этого мне странно, потому что это и мои колени, расцарапанные ежевикой и падением с Малого Зверя.

— Помоги мне! Дай мне условия, хорошо? Ты, наверное, хочешь чего-то за то, чтобы вернуть его? Так я сделаю!

Он выступает из кольца моих рук, как будто я его совсем не держу, оказывается за моей спиной, и я снова слышу голоса тысяч и тысяч звезд.

— И ты уверен, что можешь дать мне хоть что-то? Мне, сотворившему заново весь твой народ? Мне, дающему вам души?

И я, с трудом подавив в себе желание заткнуть уши или вовсе исчезнуть, говорю:

— Я на многое готов!

— Но не на все? — спрашивают звезды, и эхо длится и длится, удаляясь все дальше от меня пустоту.

Мой бог вздергивает меня на ноги, едва не порвав воротник, разворачивает к себе.

— Хорошо. Давай-ка посмотрим. Мне очень нравятся твои друзья. Я испытывал их, и оказалось, что они верные и честные люди, которые и вправду хотят помочь тебе. Мне это нравится, это я ценю. А все, что я ценю, я хочу уничтожить! Убей их, и я верну твоего отца.

Глаза его, мои, бесцветные, призрачные, впервые кажутся мне чужими. Я ни секунды не думаю, мне достаточно имена их вспомнить, даже не лица.

— Нет. Я не буду никого убивать ради своей или чьей-то жизни. Убийство никогда не выход, мне мама говорила.

— Мама говорила ему то, мама говорила ему это. Как насчет того, что она сама убила бы за тех, кого она любит?

Я качаю головой. У меня есть несколько, как называет их учительница, глубоких убеждений. Одно из них: уступать место бледным людям в транспорте, потому что они могут болеть. Второе: клубничная газировка лучше, чем виноградная. И третье: жизнь, это драгоценность, и ее нельзя отбирать. И если первые два убеждения стоят впереди, то только потому, что в жизни чаще мне пригождались. А это стало нужным в первый раз.

— Я никогда никого не убью. Я люблю людей. Они мне нравятся. И мне нравится, что они живы.

— Даже ради своего отца?

— Это так не работает. Нельзя забрать чью-то жизнь и передать ее папе. Я не буду жестоким ни ради него, ни ради себя.

— Какой ты скучный!

Он нажимает пальцем мне на нос, как однажды Ниса нажала на свой.

— Я так хотел посмотреть, как тырываешь чье-то сердце, не буквально, конечно! Это было бы самое чудесное и самое ужасное зрелище одновременно! Что ж, ты не предатель, тогда кто же ты?

Он отталкивает меня, и я лечу вниз, и это даже приятно, потому здесь нет дна, и я никогда не упаду. Я раскидываю руки, и мне кажется, что еще немного, и я пойму, как это — парить среди звезд. В груди пусто и холодно, и все тело словно ничего не весит. Мой полет прекращается так же резко, как и начался, даже уши закладывает.

Он снова оказывается передо мной. Я вишу вниз головой, а он стоит, и мы почти соприкасаемся носами.

— Я все придумал. Здорово, правда? Марциан, если ты не хочешь убивать других, а я вижу, что не хочешь и не буду упорствовать, убей себя!

— Что? — спрашиваю я и падаю вниз головой дальше, в пустоту всех пустот. Его голос (наш) несется мне вслед.

— Я верю во множество вещей, особенно, как ты мог заметить, в гороскопы. Но превыше всего я ставлю закон сохранения энергии! Ты отправишься сюда, на небо, вместо твоего отца.

Наконец, мое падение заканчивается, я снова приземляюсь на невидимую поверхность, но не встаю. Я думаю. Мысль о том, чтобы убить себя самого не вызывает во мне такой оторопи. Жизнь, это драгоценность, но свою собственную можно выбросить в море, и в этом не будет зла, хотя будет грусть. Надо мной, высоко-высоко, горит созвездие моего отца. Наверное, лучше так: свою драгоценность можно подарить.

— Снова станешь единым целым со мной. Больше никакого сознания, Марциан.

— А мое тело? — спрашиваю я.

— Ты беспокоишься о своей кровяной подруге? Твое тело останется в порядке. В любом случае, тебя это уже волновать не будет.

— А мой папа?

— Какой ты хваткий мальчик! Ты своего не упустишь, Марциан. Твой папа вернется в твое тело. Ты будешь достойным правителем, потому что будешь им.

Я смотрю на него. Он в возбуждении ходит по пустоте, на меня не смотрит.

— Мне нужно подумать, — говорю я. — Совсем немножко.

— Ты не пришел сюда для того, чтобы думать! Действуй!

Впрочем, я знаю, что по-настоящему он не злится, потому что говорит со мной лишь одним голосом. Я сжимаю виски, как когда у меня болит голова, хотя здесь она спокойна. Пульсация звезд надо мной кажется мне отсчитывающей время, как ход часов.

Я думаю: вот, я умру здесь, а папа будет жить. То есть, я даже не умру, а просто останусь там, откуда все мы приходим однажды и уходим туда тоже однажды. Но я сделаю то, что должен был сделать. Мои друзья и мама будут грустить, и я не увижу папу, как хотел. Зато у Офеллы, и еще многих других, будет будущее.

Папа оставит после себя намного больше, чем я бы смог. А после меня все равно ничего не осталось бы, потому что я дурак.

Я хочу сделать хорошее и важное дело, спасти своего папу и всех, кому он может помочь. И умирать будет не страшно, потому что я буду знать, зачем. И не больно. Я никуда не исчезну, а просто стану частью этого огромного и красивого места.

Конечно, я пытаюсь обмануть себя. Мне страшно не существовать или существовать не тем, кем я был двадцать один год. Мне страшно раствориться в этом огромном, бесконечном пространстве, стать звездой среди звезд и больше никогда не пить клубничную газировку, и не читать книжку на берегу моря.

Я хочу к маме, хочу в Анцио, хочу увидеть моих друзей, ведь они столько для меня сделали.

Но я пришел сюда, и еще больше я хочу быть сильным, благородным и смелым. Не должен быть, а хочу. Я мог бы уйти ни с чем и сказать, что мой бог не дал мне шанса. Я могу жить дальше, могу даже забыть о том, что мог спасти папу и не спас. Потому что это тяжело — отдать свою жизнь за чью-то, и очень страшно, и никто не осудил бы меня.

Но я хочу быть сильным, я хочу оставить после себя что-то важное, пусть даже никто об этом не узнает. Я не хочу исчезнуть дураком, я хочу исчезнуть дураком, который спас своего папу.

И исчезну. Я поднимаюсь на ноги, чувствую себя необычайно сильным, каким прежде никогда не был. Я стану сосудом для папы. Я стану им, он станет мной. Однажды папа дал мне жизнь, а теперь я дам жизнь ему.

— Ты все равно сделан из звездной пыли, Марциан, как и все в вашей крохотной, смертной Вселенной.

А я качаю головой. Мне не страшно и не нужны утешения. И состою я не из пыли, а из решимости (хотя на самом деле из пыли, а решимость — вообще не материал).

— Ты готов, Марциан? — спрашивает мой бог. — Ты за смертью шел сюда все это время?

Я говорю:

— Нет, я шел, чтобы спасти моего отца.

И у меня все получилось.

— Протяни руку, Марциан. Коснись звезды, и все закончится.

Я думаю, что звезда от меня далеко-далеко, но стрела папиных звезд оказывается очень близко, так что от ее сияния больно глазам, оно проникает в голову, и от него снова становится страшно.

Но папа говорил: страх сопровождает человека всю жизнь, остается действовать несмотря на него.

Я буду действовать, несмотря на страх. Меня утешает то, что все закончится от моего прикосновения к сущности папы, вроде как родной человек, мой отец, рядом.

А если покопаться в самой глубине моих мыслей, наверное, меня и вообще утешает, что все закончится. Каждый из нас немножко хочет посмотреть, что будет дальше. Меня ведет не отчаяние, а любопытство и радость от того, что я умру не напрасно.

Огромное сознание моего бога разбито на куски, и я вернусь на свое место, как часть головоломки. Это не делает смерть менее страшной, но делает ее более правильной.

Я медленно тянусь к звезде, и он не торопит меня, знает, что я сделаю это. Он ведь это и есть я. Наконец, я касаюсь звезды, она острая и твердая, и я ожидаю боли, но боль не приходит, только пустота в груди растет.

Я хочу подумать о маме, папе, сестре, Нисе, Офелле и Юстиниане, и о моей учительнице, обо всех, кто мне дорог. Но успеваю подумать только о том, что я теперь не дурак. И не я.

А потом все растворяется в неудержимой белизне абсолютного света.



Я весь мокрый, и мне холодно, как никогда еще не было. Я открываю глаза и вижу ночное небо, оно снова очень далекое. Звенит ручей, и его говор еще мелодичнее, чем раньше. Я не сразу понимаю, что это потому, что я лежу посередине ручья, в самом его центре, и вода обходит меня. Голове неудобно, камни острые и впиваются в кожу с жадностью, как зубы Нисы.

Я ощупываю себя, ощущаю себя. Я это я, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, раствориться среди звезд в сознании моего бога, значит, что тебе вечно будут сниться сны, похожие на твою прошлую жизнь? Вряд ли.

Я щипаю себя, хотя это делать без надобности, и так больно от камней. Я не сплю, я жив.

Когда я сажусь, а сил подняться сразу у меня не хватает, я слышу приглушенные голоса. Мои друзья зовут меня, но до ручья долетает лишь мое имя. Ручей обтекает меня, занятой и громкий, и снова сливается в единый поток у моих ног.

Я смотрю на свое изменчивое отражение в текущей воде и ничего не понимаю. Где я?

Я должен быть моим отцом. Это он должен проснуться сейчас, а не я. Я вглядываюсь в отражение, пытаюсь убедиться в чем-то, хотя и не понимаю, в чем. И хотя вода течет слишком быстро, чтобы я мог увидеть выражение своего лица, это определенно я. Я начинаю рыдать, и голоса моих друзей тонут в шуме воды, которая течет подо мной и воды, которая течет из моих глаз.

А потом я слышу, очень отчетливо, собственный голос:

— Иногда намерение намного интереснее, чем действие.

Я не вижу, шевелятся ли мои губы, но мне не нужно думать, кто говорит. Я бью рукой по воде, больно ударяюсь о камень.

Он меня обманул, ничего не случилось. Я здесь, а папы нет. Я нащупываю в намокшем кармане холодный ключ. Мне хочется сломать его, но надо вернуть ключ Хильде. Я поднимаюсь и бреду к воротам. Мои друзья прыгают, машут мне, они взволнованные, но радостные.

Они радуются, что я жив. А я хочу, чтобы жив был мой папа. Если даже мой собственный бог обманул меня, я точно дурак. Я выхожу за ворота, закрываю их на ключ, а вокруг меня прыгает Ниса, говорит что-то Юстиниан, спрашивает Офелла. К тому времени как я снова научаюсь их слушать, они уже волнуются.

— Ты в порядке?

— Мы думали, что ты мертв! Но мы не могли туда попасть!

— Я не думала, — говорит Ниса. — Я бы почувствовала. Я и им говорила, чтобы не переживали.

— Это все Офелла, она слишком любит невротизировать.

Они обнимают меня, теплые и взволнованные, и я радуюсь им, но в то же время мне все еще грустно. Атилия была права. Я дурак и должен был сидеть дома, и помогать маме справиться со всем, и со страной, и с папой.

Нельзя было мечтать, а я мечтал. Нельзя думать, что ты все можешь, а энтропия только растет.



— Марциан? Ничего не получилось?

— Ничего не получилось, — говорю я.

Еще ночь, значит времени прошло не слишком много. Я говорю:

— А вы в меня никогда не верили?

Юстиниан говорит:

— Разумеется, нам казалось, что это сумасбродный план. Но если бы мы в тебя не верили, мы бы не были в этом лесу.

— Мы не были бы в этом лесу, если бы не потерялись, — отвечаю я.

Офелла говорит:

— А мы, оказывается, не потерялись. Прислушайся.

Я сосредотачиваюсь и понимаю, что вокруг правда не тишина глубокого леса. Где-то совсем недалеко раздается шум проезжающих по дороге машин, и мы идем на него. На самом деле лес вовсе не был таким густым, как нам казалось.

— Ты расскажешь нам, что случилось? — мягко спрашивает Ниса. Я киваю. Когда я заканчиваю свой рассказ, они тоже молчат. Через некоторое время Юстиниан говорит:

— Чудовищно. Пожертвовать всем, подготовиться к смерти и остаться в живых. Это, наверное, худшее наказание. Может, твой бог злится на тебя?

— Наш бог не наказывает нас, — говорю я. — Просто он меня обманул. Вот так вот. Все было зря. Простите меня.

Ниса обнимает меня и кажется мне теплее чем обычно, хотя на самом деле она больше не может быть теплой.

— Все будет хорошо. Я с тобой.

— Но я не знаю, что делать.

Она высказывает передо мной, заглядывает мне в глаза, как я ей заглядывал.

— Мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем. Помнишь, ты говорил мне? Мы с тобой всегда будем что-нибудь придумывать.

Я улыбаюсь ей, и все становится чуточку лучше. Офелла дергает меня за рукав.

— Посмотри на меня, Марциан. Когда я увидела тебя, я подумала, что ты умственно отсталый. Но тем не менее, ты один из самых хороших, смелых и сильных людей, которых я когда-либо знала. Ты похож на своего отца, каким я его представляю. И даже несмотря на то, что твой план показался мне идиотским, я хотела тебе помочь. Потому что ты умеешь верить так, что и другим хочется верить. И это самое главное. Если ты придумаешь еще что-нибудь, даже более сумасбродное, я пойду с тобой.

А Юстиниан просто обнимает меня, и это намного важнее, чем все слова, которые он мог бы сказать. И я чувствую, что все это, в любом случае, не зря. Под ногами у нас хрустят ветки, и лес больше не кажется жутким, даже редкие ночные птицы не удивляют нас.

Мы просто идем, усталые и грязные, но я чувствую себя отдохнувшим от того, что сказали мне мои друзья.

Ночная темнота не рассеивается, и я понимаю, что ночь будет еще долгой.

— Знаете, я безумно хочу есть, — говорит Юстиниан. — Надеюсь, в Бедламе есть хотя бы продуктовые магазины. Я слышал, тут водится мороженое с шоколадом и беконом.

— Оно и в Городе есть, — говорю я. — Но отсюда пришло.

И мне странно, что потеряв надежду, я все еще могу поддерживать разговор о мороженом. Лес становится все реже и реже, а шум машин все громче. Наконец, мы выходим на дорогу, и где-то перед нами маячат рыжие огни Бедлама. Наверное, за полчаса

дойдем. Нужно будет положить ключ Хильде в почтовый ящик, если только они есть в ее подъезде, и взять билеты домой.

Или даже в Анцио, потому что вряд ли я могу чем-то помочь, но могу не мешаться.

Офелла говорит:

— Ничего, скоро дойдем до города.

Наверное, она пытается меня успокоить, и я говорю:

— Конечно! Здорово!

— Тебе уже пора становиться невидимой, — говорит Юстиниан, а Ниса просит их обоих помолчать. И мы идем в сторону туманных золотых огней, разрозненных между множеством деревьев, к городу и лесу, к Бедламу.

Иногда мимо нас проезжают машины и обдают нас ночной пылью. И когда я, наверное, раз в тридцатый думаю, что все было зря, в моем кармане начинает звонить мобильный телефон. Я-то думал, я его потерял, еще он совершенно точно должен был утонуть или разбиться.

Но телефон в порядке, хотя и мокрый, и это, наверное, единственное чудо, которое мне доступно.

На экране слово "мама", и я думаю, что сейчас снова расплачусь, хотя я вообще-то не люблю плакать, потому что слезы неприятные. Я не сразу решаюсь взять трубку, а когда все-таки прикладываю ее к уху, слышу мамино нежное дыхание и ласковый голос.

— Марциан, мой милый, ты в порядке?

— Да, мама.

Я снова слушаю ее дыхание, и связь между нами, которая была и которая стала, кажется еще осязаемее.

— Папа пришел в себя! Папа очнулся!

Голос у нее дрожит от радости так сильно, что сначала я ей даже не верю, а когда верю, то чувствую, словно кто-то разжал тиски, в которых я все это время находился, и теперь можно дышать, двигаться, жить дальше.

— Папа в порядке?!

— Да, Марциан! Он в порядке! Возвращайся домой, милый. Папа еще слабый, но к твоему приезду, я уверена, ему станет намного лучше.

Она снова молчит, а потом шепчет:

— У тебя все получилось?

И я понимаю, она верила мне все это время. Она знает, что это я.

— Я думал, что нет! А на самом деле оказалось, что да! Я думал, что бог меня обманул, но он сделал даже лучше, чем мы договорились! Я люблю тебя!

Ниса хватается меня за руку, у Офеллы светятся глаза, и только Юстиниан насвистывает, как ни в чем не бывало.

— Дай мне хоть слово ему сказать!

Она не отвечает мне, а потом я слышу папу.

— Марциан? — говорит он, и это его голос, его интонации.

— Тебе лучше? — спрашиваю я.

— Намного. Возвращайся домой.

— Я так тебя люблю! Я очень люблю тебя! Я люблю вас всех! Я люблю весь мир! И вообще все люблю! Хотя весь мир, это и есть все.

Тишина в трубке становится неестественной, и это пугает меня, но когда я смотрю на

экран, то вижу, что он просто погас. Я думаю, может я себе весь этот разговор выдумал, но выражения лиц моих друзей такие же радостные.

Я говорю:

— Без вас бы у меня никогда ничего не получилось! Спасибо вам! Спасибо большое!

Телефон не включается, он умер героем, позволив мне перед гибелью поговорить с родителями. Ниса говорит:

— Это чудо!

— Дуракам везет, — говорит Юстиниан.

— Ты спас множество жизней! — говорит Офелла.

А я ничего не говорю, потому что я спас своего папу, и это сделало меня таким счастливым, что в словах моя радость не уместится.

Я смотрю на небо, полное глаз моего бога, и моя звезда подмигивает мне.

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**